СТАНИСЛАВ ЛЕМ

МАГЕЛЛАНОВО ОБЛАКО

ДЕТГИЗ · 1960

БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
И НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ

МОСКВА — 1960

СТАНИСЛАВ ЛЕМ

МАГЕЛЛАНОВО ОБЛАКО

научно-фантастический роман

Рисунки Л. Дурасова

Перевод с польского *Л. Яковлева*
Под редакцией и со вступительной статьей
Кирилла Андреева

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР

Польский писатель Станислав Лем является в настоящее время одним из самых известных авторов научно-фантастических книг, переведенных на многие языки.

Его романы «Астронавты», о полете на Венеру, и «Магелланово Облако», сборник сатирико-фантастических рассказов «Звездные дневники Йона Тихого» и сборник «Вторжение с Арктура» заслуженно пользуются большой популярностью.

Роман «Магелланово Облако» занимает центральное место в творчестве польского писателя-коммуниста. Это не только научно-фантастический роман о первом полете людей к звездам в XXXII веке, полете к звездам Альфа Центавра, — это книга о будущем обществе, о жизни человечества, навсегда освобожденного от эксплуатации, о людях будущих веков — таких далеких и таких близких нам, об их борьбе со слепыми силами природы, об их героизме и вечном стремлении вперед к другим Вселенным.

СТАНИСЛАВ ЛЕМ

Невысокий человек в свободной спортивной рубашке стоит у книжной полки. За большими очками в светлой пластмассовой оправе блестят умные молодые веселые глаза. Губы тронуты легкой, слегка иронической улыбкой. Высокий, чистый лоб обличает в нем мыслителя, философа, поэта. В руках он держит раскрытую книгу, а за его спиной на простой полке теснятся десятки других книг. Они напечатаны разными шрифтами, на разных языках, но на всех корешках — кожаных, картонных, бумажных — одно и то же имя: Станислав Лем.

Так выглядит на своей последней фотографии известный польский писатель, автор научно-фантастических романов, переведенных на многие языки мира, завоевавший одно из первых мест в соревновании Восточного и Западного полушарий в этом жанре литературы, столь любимом читателями всех возрастов, и в первую очередь молодежью.

Писатель младшего поколения — ему еще нет сорока лет, — Станислав Лем написал немало книг, получивших широкое признание. Это и реалистический роман о молодежи, и философский трактат, и два сборника сатирико-фантастических рассказов. Но главное, конечно, — научно-фантастические рассказы и романы и центральное его произведение — «Магелланово Облако».

Станислав Лем родился в 1921 году во Львове. Здесь он учился в университете и пережил тяжелые годы немецкой оккупации. После репатриации поляков, живших на территории Западной Украины, он переехал в Краков, где и живет до сих пор.

По образованию Лем врач, но круг его интересов необычайно широк. Философия, кибернетика, астрономия, биология, теория информации, техника будущего — его занимает решительно все. И всегда и во всем он ищет ответа на один и тот же вопрос: каким будет коммунистическое общество завтрашнего дня, каким будет человек будущего.

Писать Лем начал рано. Уже с 1946 года в печати стали появляться его рассказы и стихи. Первым крупным произведением был роман «Непотерянное время», посвященный судьбам польской молодежи в трагические годы оккупации. После него Лем становится профессиональным писателем.

В 1950 году вышел в свет его большой научно-фантастический роман «Астронавты», посвященный первой межпланетной экспедиции на Венеру в 2006 году. В нем он дал полную волю своей блестящей фантазии.

«В 2003 году, — начинается одна из глав этой книги, — был закончен частичный отвод Средиземного моря в глубь Сахары, и гибралтарские электростанции впервые дали ток для североафриканской сети. Много лет прошло уже после падения последнего капиталистического государства. Окончилась тяжелая, напряженная и великая эпоха справедливого преобразования мира. Нужда, экономический хаос и войны не угрожали больше великим замыслам обитателей Земли».

Широкими мазками рисует Лем картину первых шагов коммунистического общества. Обводнение Сахары, безлюдные заводы-автоматы, фотохимические преобразователи, в которых углекислота и вода превращаются в сахар, атомные реакторы, управление погодой, климатом и передвижением облаков и, наконец, искусственные атомные «солнца», подвешенные над полюсами, чтобы растопить льды и уничтожить вечную мерзлоту, — вся эта фантастическая техника изображена резкими, но беглыми штрихами: она нужна писателю лишь для того, чтобы показать на этом фоне людей будущего и их приключения на страшной планете смерти Венере.

Фантастика этой книги реалистична. Лем показывает осуществленным то, что планируется и создается сейчас или замышляется в близком будущем.

Многое, о чем мечтал автор десять лет назад, уже осуществлено в нашей стране: атомные электростанции дают промышленный ток, вокруг Земли летают искусственные спутники. Космическая ракета сфотографировала обратную сторону Луны не в 1970, как это писал Станислав Лем, а в 1959 году. Космический корабль вышел в межзвездный простор в 1960 году. Так наша жизнь обгоняет самую смелую фантазию.

Смело рисуя расцвет науки и техники в ближайшем будущем, Лем в романе «Астронавты» почти ничего не говорит о развитии самого общества, о его формах и отношениях людей при коммунизме. В этом романе он идет по следам Жюля Верна, который, мечтая о будущем социалистическом строе, в который он верил, не

нарисовал его в своих произведениях, а показал лишь фантастическое развитие научных и технических идей своего века.

Сборники научно-фантастических рассказов «Сезам» (1953), и «Вторжение с Арктура» (1959) показывают нам Лема совсем с другой стороны. Здесь его можно сблизить скорее с Гербертом Уэллсом, чем с Жюлем Верном.

Термин «научная фантастика», к которому мы так привыкли, не вполне применим к творчеству Уэллса. Бесспорно, что материалом его произведений является наука в ее фантастическом развитии, но далеко не во всех его романах, повестях и рассказах сюжет покоится на строгом научном фундаменте.

Чаще всего это чистый вымысел, смелое предположение, далеко выходящее за пределы наших знаний, прием, позволяющий писателю перенести своих героев в необычную обстановку — в далекое будущее, на другие планеты или в мир, изменивший свои привычные пропорции.

Прием этот вполне закономерен. Ведь любой писатель, пытаясь заглянуть в будущее, всегда минует какие-то промежуточные ступени, пользуется порой не только не вполне научными, но и совсем ненаучными допущениями, вроде уэллсовской «машины времени», чтобы обогнать мысль своих современников и увидеть грядущие дни такими, какими он хочет или страшится их увидеть.

Таков и Лем во многих своих рассказах, вошедших в сборники «Сезам» и «Вторжение с Арктура». Говоря словами Уэллса, такие фантазии «не ставят себе целью изобразить в самом деле возможное, их цель — добиться не большего правдоподобия, чем то, какое бывает в хорошем увлекательном сне. Они захватывают читателя искусством и иллюзией, а не доказательствами и аргументами, и стоит только закрыть книгу, как пробуждается понимание невозможности всего этого...»

В 1954 и 1958 годах вышли два сборника рассказов, объединенных одним героем и единым замыслом, — «Звездные дневники». В этих книгах творческое лицо Станислава Лема открывается читателям еще с одной, новой стороны.

Полное название этих книг — «Звездные дневники Йона Тихого». Это шутливо-сатирические рассказы в стиле «Мюнхаузена» или «Гулливера». Йон Тихий — «знаменитый звездопроходец, капитан дальнего галактического плавания, охотник за метеорами и кометами, неутомимый исследователь, открывший восемьдесят тысяч три мира, почетный доктор Университетов Обеих Медведиц, член Общества по опеке над малыми планетами»...

Смелая сатира, безобидная шутка, остроумная пародия переме-

шаны в этой книге; Лем щедро тратит в ней свою великолепную фантазию. Когда читаешь «Дневники», невольно вспоминается замечательный чешский писатель Карел Чапек и его сатирико-фантастический роман «Война с саламандрами».

В 1958 году Станислав Лем напечатал философский трактат «Диалоги», где попытался приложить методы и термины кибернетики к философии и к поискам синтеза обеих наук.

По многим книгам и особенно по рассказам Станислава Лема видно, что он очень внимательно читал научно-фантастические (и просто фантастические) произведения современных западных, преимущественно американских, писателей. У них он учился динамике развития сюжета, смелому, иногда чересчур смелому, полету фантазии. У них он заимствовал и некоторый налет мрачности, которой окрашены отдельные его произведения. Нет сомнений, что пристальный интерес западных писателей к космической тематике не мог не захватить и Станислава Лема.

Но решающим для его творчества бесспорно было влияние советской научной фантастики. Ее реализм, ее гуманизм, ее стремление к большим обобщающим темам не могли не быть близкими для польского писателя-коммуниста.

Пристальное внимание к человеку, поиски положительного героя, подлинного человека будущего — всем этим нам особенно близок и дорог Станислав Лем.

На скрещении влияний Жюля Верна, Герберта Уэллса и Карела Чапека, западной и советской научной фантастики, на стыке философии и кибернетики, науки и искусства Станислав Лем нашел свое собственное неповторимое лицо, свой стиль. Но его творчество не стало смесью этих разнородных элементов: все составные части пошли на переплав, откуда вышел качественно совершенно новый, чистый и сверкающий благородный металл.

Все богатство своего ума и таланта, все им накопленное Станислав Лем вложил в роман «Магелланово Облако», вышедший в 1955 году.

Книга интересна не только тем, что она является лучшим творением польского писателя, — книга эта новаторская по своему содержанию, по самой своей сути. Это не научно-фантастический или приключенческий роман, это книга о будущем обществе.

О завтрашнем дне пишут у нас, немало пишут и за рубежами социалистического мира, особенно в Западном полушарии. В американской литературе, пытающейся заглянуть в третье тысячелетие нашей эры, много выдумки, есть интересные, талантливые писатели. Но облик грядущего, который рисуют современные писатели Соеди-

ненных Штатов, — это лишь уродливое, искаженное лицо сегодняшней Америки. И это понятно: для того чтобы нарисовать иное общество, не похожее на мир капитализма, нужно в него страстно верить, бороться за него.

Авторы большинства научно-фантастических произведений если и заглядывают в будущее, то не ставят перед собой задачи нарисовать коммунистическое общество, его социальное устройство, новые отношения между людьми, семью, воспитание, быт. Такие романы — лишь проекция на близкий завтрашний день еще нерешенных научных и технических проблем — нерешенных, но уже поставленных и существующих в наше время, а их герои — наши современники, люди сегодняшнего дня.

В авторском предисловии к польскому изданию «Магелланова Облака» автор говорит об иных целях, которые он ставил перед собой в этом произведении. Роман этот посвящен коммунистическому будущему человечества.

Изображая людей XXXII века, автор, естественно, не мог не показать и человеческие дела — развитие науки и техники, полное покорение природы.

Неисчерпаемые источники энергии, подвластной людям, позволили человечеству к этому времени не только открыть и заселить всю солнечную систему, но и перейти к следующему этапу овладения природой — достижению других звезд.

В центре событий, описанных в романе, — полет первой звездной экспедиции к созвездию Центавра на сверхгигантском космическом корабле, символически названном «Гея» (по-гречески — «Земля»). Но «Гея» нужна автору не для того, чтобы по ходу путешествия сообщить читателям целый ряд полезных сведений по астрономии или завязать вокруг полета вихрь занимательных приключений «Гея» — лишь часть Земли, малая ячейка будущего общества.

Роман «Магелланово Облако» — не приключенческий в строгом (старинном) смысле этого слова. Это, скорее, произведение психологическое и философское. И поэтому его можно поставить рядом разве только с такими книгами, как «Люди-боги» и «Облик грядущего» Герберта Уэллса и «Туманность Андромеды» И. А. Ефремова.

Показывая блистательный расцвет науки и техники — автоматики, звездоплавания, кибернетики, медицины, теории информации (этому посвящена необыкновенно интересная глава «Трионы»), — автор не раскрывает перед читателями сущности излагаемых им научных проблем, не рассказывает об устройстве чудесных машин будущего. Для него все это — лишь величествен-

ный романтический фон, на котором он смелыми штрихами рисует людей XXXII века и их отношения.

Мир Лема полон света, движения и жизни. Он одухотворен образами людей будущего — таких далеких и таких близких нам. В его просторных далях видны и прошлое человечества, полное ошибок и поражений, и бесконечное будущее, где так пленительна победа человека над косной природой и своими собственными слабостями.

В первой половине романа показана обновленная Земля — с огромными городами, украшенными великолепными памятниками, пышные леса, раскинувшиеся в бывших полярных областях, согретые висящими над Землей искусственными атомными солнцами тучные поля, созревающие для богатой жатвы.

По этим дорогам, лугам и лесам, где можно пройти босиком, не поранив ног, движутся люди XXXII века. В этом мире уже нет государств — от них осталось воспоминание лишь в названии «Праздника уничтожения границ», уже начинают стираться национальные различия между людьми. Эти люди будущего бесконечно дороги нам потому, что они похожи на нас. Они работают, спорят, любят и отдыхают почти так же, как и мы. Но их окружает новый мир, где у каждого есть свое собственное место, своя любимая работа, свой друг и своя любовь.

Лем утверждает, что даже через тысячу лет останется различие между людьми слабыми духом и более сильными, между ведущими и ведомыми. Очень образно и очень сильно рассказано об этом в главе «Коммунисты» — может быть, лучшей главе романа Лема и, во всяком случае, наиболее волнующей нас.

Когда «Гея», постепенно развивая скорость, достигает «светового порога скорости», у людей с наименее устойчивой нервной системой обнаруживается явление «мерцания сознания». На космическом корабле разражается бессмысленный бунт: люди бросаются к наружным люкам, чтобы выброситься в межзвездное пространство. Но руководители экспедиции, люди сильные духом, возвращают разум обезумевшим.

Тер-Хаар, один из руководителей экспедиции, пробуждает сознание тех, чей мозг охвачен мраком «мерцания», рассказывая о немецком коммунисте Мартине, боровшемся больше тысячи лет назад против фашизма.

«Этого человека мучили, избивали — он молчал. Молчал, когда от него отвернулись родители, брат и товарищи. Молчал, когда уже никто, кроме гестаповцев, не разговаривал с ним. Были разорваны узы, связывавшие человека с миром, но он продолжал молчать. Чем мы заплатим за это молчание?

Тер Хаар поднял руку.

— Мы, живые, донесли до самого отдаленного будущего огромный долг, долг по отношению к тысячам тех, кто погиб подобно Мартину, но чьи имена останутся нам неизвестны. Он умирал, зная, что никакой лучший мир не вознаградит его за муки и его жизнь окончится навсегда в известковой яме, что не будет ни воскрешения, ни возмездия. Но его смерть и молчание, на которое он сам себя обрек, ускорили приход коммунизма, может быть, на минуту, а может быть, на дни или недели — все равно! Мы находимся на пути к звездам потому, что он умер ради этого...»

И потрясенные люди отходят от люков. Они готовы продолжать путь к звездам.

Так Лем утверждает мысль, что и через тысячи лет не только будет существовать коммунизм, но останутся и коммунисты — передовой отряд человечества.

Автор смело рисует будущее общество не розовыми красками: это суровое время, полное борьбы и противоречий. Да, утверждает автор, человек никогда не перестанет бороться — и с косной природой и со своими слабостями. Задачи, которые будет ставить перед собой освобожденное человечество, будут решаться в великой борьбе, рождающей великих героев. Даже через тысячу лет будет существовать неразделенная любовь, останется горечь разлуки с домом, близкими людьми, родной планетой, будут возникать противоречия между людьми слабыми духом и настоящими коммунистами. Больше того: возникнут новые противоречия между поколениями людей далеких друг от друга веков, сосуществующих на одной планете. Но вечным останется движение человечества вперед, на завоевание не только Галактики, но и других Вселенных, и в первую очередь ближайшей из них — Магелланова Облака, являющегося как бы символическим знаменем людей, летящих на «Гее».

Любопытно, что роман И. Ефремова «Туманность Андромеды» писался почти одновременно с «Магеллановым Облаком». Не зная ничего о работе друг друга, русский и польский писатели создали очень похожие книги — не по сюжету, конечно, но по своим социальным идеям. Даже названия их романов сходны: они говорят, что нет предела воле человека, что люди когда-нибудь не только достигнут ближних и дальних звезд, но проложат пути к другим галактикам — Магелланову Облаку и Туманности Андромеды...

«Наши знания в области законов общественного развития, строения материи, формирования и проявления духовной жизни человека неполны, — пишет Лем в предисловии к своему роману, — но

отражают нынешний этап познания. Опираясь на них, мы не можем создать какой-то окончательной, завершенной во всех деталях картины будущего мира. Однако это отнюдь не означает, что наука на нынешнем ее этапе совершенно бессильна в отношении будущего. Известные положения теории исторического материализма, а также основное направление в развитии техники и естественных наук позволяют набросать в общих чертах картину будущего...»

Эти слова полностью применимы и к роману Ефремова. Вот почему эти книги так сходны.

Еще очень мало книг написано о коммунистическом обществе. По-разному представляют себе авторы этих книг облик завтрашнего дня. Картины, нарисованные Станиславом Лемом, в конце концов только личное представление о мире коммунизма. Другой писатель по-иному воспримет очертания грядущего. Все равно это грядущее приближается, оно создается мечтой многих поколений и нашими руками. Пусть читатели, если они не согласятся с автором, поспорят с ним — ведь каждый по-своему представляет себе будущий мир.

Чтобы написать книгу о будущем, мало одного писательского таланта — нужна огромная культура мысли, широкое знание проблем современной науки, владение методом диалектического материализма. И, однако, Станислав Лем не побоялся трудностей и написал умную, страстную и смелую книгу, продиктованную великолепной фантазией, опирающуюся на прочный фундамент современной науки и одушевленную самым передовым мировоззрением нашего времени.

Хочется верить, что, как и подвиг жизни немецкого рабочего и коммуниста Мартина, книга эта, пусть хоть немного, приблизит наступление великой эры бесклассового общества. А читатель, раскрывая страницы этой книги, как сквозь широко распахнутое окно, увидит пленительный облик будущего.

Кирилл Андреев

ВСТУПЛЕНИЕ

Свыше девяти лет назад двести двадцать семь человек, в числе которых был и я, покинули Землю; держа курс за пределы солнечной системы. Мы достигли намеченной цели и теперь отправляемся в обратный путь.

Наш корабль в ближайшее время разовьет скорость, превышающую половину скорости света. Однако пройдут еще годы, прежде чем возникнет из мрака и станет видна в самые сильные телескопы Земля, похожая на голубую пылинку среди звезд.

Мы везем вам дневник экспедиции, содержащий массу фактического материала, накопленного за время путешествия и запечатленного в механической памяти наших автоматов, но еще не систематизированного и не приведенного в порядок.

Мы везем вам научные труды неизмеримой ценности, созданные за время полета. Они открывают невиданные, безграничные перспективы дальнейших исследований в глубинах Вселенной.

Но в этом путешествии мы видели нечто более трудное и прекрасное, чем научные открытия и проникновение в тайны материи. То, что нам пришлось испытать, не в состоянии охватить никакая теория, не сможет зафиксировать ни один самый совершенный автомат.

Я один. В моей каюте полумрак, сквозь который едва различимы очертания мебели и небольшого аппарата. Внутри него мерцает крошечный, как крупинка, кристалл: на нем будет записываться мой голос. Прежде чем начать свой рассказ, я закрыл глаза, чтобы почувствовать себя ближе к вам. Несколько секунд я вслушивался в беспредельную, нерушимую тишину. Хочется рассказать вам, как мы преодолели эту тишину, как, уносясь все

дальше от Земли, становились все ближе к ней; как боролись со страхом, более жестоким, чем страх, вызванный чем-то материальным, — со страхом пустоты, которая низводит до искры и гасит каждое солнце, каким бы огромным оно ни было.

Я расскажу о том, как уходили недели, месяцы и годы нашего путешествия и в памяти стирались самые дорогие, самые властные воспоминания, бессильные преодолеть черную пропасть бесконечности. Как, ища точку опоры, мы в отчаянии хватались за все новые дела и мысли; как исчезло и развеялось в прах все, что казалось бесспорным и необходимым; как в поисках смысла нашей экспедиции мы обратились к минувшим эпохам и лишь там, на трудном пути, пройденном человечеством, нашли себя, а наша эпоха, отделяющая бездну прошлого от просторов неведомого будущего, приобрела такую силу, что мы смогли двинуться навстречу победам и поражениям.

Чтобы вы могли понять это хотя бы приблизительно, я должен заставить вас ощутить хоть малую часть того бремени, которое давило и угнетало нас. Я хочу провести вас за собой через долгие годы, наполненные мраком пустоты, когда мы слышали в глубине корабля самое страшное из всего: бесконечное молчание Вселенной. Видели, как вспыхивают и угасают солнца в небесах, то черных, то багровых, слышали за стальными стенами вой раздираемых атмосфер на встречных планетах. Я проведу вас мимо небесных тел, мертвых, или населенных разумными существами, или таких, на которых только зарождается жизнь.

К кому же из вас обращаюсь я, начиная рассказ о том, что довелось нам испытать, о том, как мы жили и умирали?

Я хотел рассказать историю нашего путешествия моим близким: матери, отцу, друзьям юности, людям, с которыми связан вещами такими мимолетными, но такими весомыми, как шум деревьев, шепот воды, совместные мечты и голубое небо, по которому ветер гнал облака над нашими головами. Однако, пытаясь восстановить все эти образы в своей памяти, я понял, что не имею права ограничиваться ими. Я люблю всех этих людей не меньше, чем прежде, хотя мне теперь труднее выразить это чувство,

но мой рассказ принадлежит не только им: с течением времени, по мере того как увеличивалось расстояние, отделявшее нас от Земли, ширился и рос круг моих близких.

Все эти годы из городов и селений, из лабораторий, с горных вершин, с искусственных спутников Земли, с обсерваторий на Луне и ракет, скользящих в межпланетном пространстве, миллионы глаз устремлялись каждую ночь в сектор неба, где мерцала слабая звездочка, бывшая целью нашей экспедиции.

Когда нас поглотило пространство и, вырвавшись за пределы притяжения солнечной системы, мы каждую секунду удалялись от Земли на десятки тысяч миль, ваша память продолжала сопутствовать нам.

Что представляли бы мы собой в этой металлической скорлупке, окруженные усыпанным звездами мраком, когда наша связь с Землей прервалась в соответствии с законами физики, если бы не вера миллиардов людей в наше возвращение?

Поэтому круг моих друзей охватывает близких и далеких, забытых и неизвестных, родившихся после нашего отлета и тех, кого я не увижу больше никогда. Вы все одинаково дороги мне, и в эту минуту я обращаюсь ко всем вам. Надо было преодолеть расстояния, которые пришлось преодолеть нам, вынести все, что пало на нашу долю, пережить подобно нам эти годы, чтобы понять, как велико то, что объединяет нас, и как ничтожно то, что нас разделяет.

В моем распоряжении немного времени. Я тороплюсь рассказать обо всем случившемся, и мое повествование может быть иногда неясным, хаотичным. Но я буду добиваться одного: показать вам, как события, над которыми, нам казалось, мы были властны, привели нас к необходимости уяснить себе путь, пройденный человеком с начала его истории.

Человек освоил путь к звездам, познал пространство и время, познал и самые звезды, на которых он возник. Ничто не может противостоять ему. И чем больше препятствий встречается на пути человека, тем больше проявляется его величие. Даже звезды стареют и угасают, а мы навеки остаемся. Пройдут годы, минет эпоха быстрого прогресса нашей цивилизации, перед человече-

ством встанут новые трудности, и тогда люди оглянутся назад и вновь откроют нас, как мы открыли великую эпоху прошлого.

ДОМ

Я родился в Гренландии, недалеко от Полярного круга, в той части острова, где тропический климат сменяется умеренным, а пальмовые рощи уступают место высокоствольным лиственным лесам. У нас был старый дом со множеством сверкающих стеклами окон и веранд: такие строения часто встречаются в тех местах. Окружавший его сад сквозь открытые почти круглый год двери и окна проникал в помещения нижнего этажа. Непосредственное соседство цветов, все ближе теснившихся к дому, причиняло нам много забот: отец даже пытался бороться против чрезмерного, как он говорил, засорения цветами, но бабушка, при поддержке мамы и сестер, одержала верх, и ему в конце концов пришлось отступить на второй этаж.

У этого дома была своя долгая история. Построенный в конце XXVIII века, он стоял на автостраде, ведущей в Меорию; но, когда в этом районе воздушные сообщения окончательно вытеснили наземный транспорт, дорога подверглась наступлению со стороны леса, и место, где она когда-то проходила, можно было отличить лишь по тому, что тут росли более молодые деревья.

Каким дом был изнутри, я почти не помню. Закрыв глаза, я вижу его лишь издали, сквозь листву деревьев. Это, впрочем, легко понять, потому что я жил скорее в саду, где проводил большую часть своего времени. Там был искусственный лабиринт из кустарников, у входа стояли на часах два стройных тополя; далее начиналось хаотическое переплетение тенистых тропинок, по которым надо было очень долго идти — вернее, бежать (кто же ходит степенно в четырехлетнем возрасте!), — чтобы попасть в высокую беседку, обвитую плющом. Сквозь просветы между листьями был виден весь лесистый горизонт. А на западе в небо каждые несколько секунд взмывали огненные линии: от нашего дома до ракетного вокзала в Меории было меньше восьмидесяти километров. Еще и сегодня я с закрытыми глазами припоминаю каждый сучок, каждую ветку, которую видел в этой беседке. Здесь я поднимался выше туч, плавал по океанам, открывал но-

вые планеты и живущих на них людей, был капитаном дальнего плавания, водителем ракеты, астронавигатором и путешественником, потерпевшим крушение в межпланетном пространстве.

С братьями и сестрами я не играл: слишком велика была между нами разница в возрасте. Больше всего времени уделяла мне бабушка, и мои первые воспоминания связаны именно с ней. После обеда она выходила в сад, разыскивала меня в самых глухих зарослях и брала на руки. Вместе с ней я всматривался в небо, пытаясь разглядеть маленький, розовый и круглый, как пионы перед домом, самолет, на котором должен был прилететь отец. Я всегда боялся, как бы он не заблудился в пути.

— Не бойся, глупыш, — говорила бабушка, — папа найдет нас: он летит по ниточке, которая тянется из радиоклубка. — И она показывала на антенну, серебряной тростинкой поднимавшуюся над крышей дома.

Я от удивления широко раскрывал глаза.

— Бабушка, там нет никакой нитки!

— Это у тебя еще очень маленькие глазки. Подрастешь — увидишь.

Бабушке было всего восемьдесят шесть лет, но мне она казалась невероятно старой. Я думал, что бабушка была такой всегда. Она гладко зачесывала седые волосы и завязывала их сзади тугим узлом, носила синие или фиолетовые платья и не надевала никаких украшений, кроме узенького перстня, который носила на среднем пальце. Моя старшая сестра Ута сказала мне однажды, что на кристаллике, вделанном в этот перстень, записан голос дедушки, когда тот еще жил, был молод и любил бабушку. Это меня тронуло до глубины души. Однажды, играя, я незаметно приложил ухо к перстню, но ничего не услышал и пожаловался бабушке, что Ута сказала неправду. Та, смеясь, пыталась уверить меня, что Ута говорила правду, а когда увидела, что я все же не верю, поколебавшись немного, вынула из своего столика маленькую коробочку, приложила к ней перстень, и в комнате послышался мужской голос. Я не понял того, что он говорил, но был страшно доволен и очень удивился, увидев, что бабушка плачет. Подумав немного, я тоже заплакал. Тут вошла мама и застала нас обоих в горьких слезах.

При жизни дедушки (это было еще до моего рождения) бабушка занималась разработкой проектов и моделей женских платьев. После его смерти она перестала работать и переехала к своему младшему сыну — моему отцу. От прежних лет у нее остались кипы папок с рисунками платьев. Я любил их рассматривать — среди них попадалось много удивительных, оригинальных рисунков. Время от времени бабушка придумывала какое-нибудь платье маме, ее сестрам, а иногда и себе. Это обычно было модное платье, из материала, менявшего цвет и рисунок в зависимости от температуры воздуха. Я смеялся до слез, пытаясь угадать, какого цвета будет материя и какой на ней появится узор, если ее разостлать на солнце.

Отец мой был врачом, и ему приходилось отлучаться из дому в любое время дня, а иногда и по ночам. Его любимым местом отдыха была веранда, где он лежал, всматриваясь сквозь цветные стекла в облака. При этом *он тихо улыбался, как будто его радовала изменчивость* их очертаний. Когда я играл около дома, он иногда подходил ко мне, рассматривал с высоты своего роста мои постройки из песка и потом молча удалялся. За столом он всегда был немного рассеян, поэтому маме и бабушке часто надо было повторять слова, с которыми они обращались к отцу; когда же собиралось более многочисленное общество, например когда к нам приезжали его братья, он предпочитал не говорить, а слушать других. Только однажды он удивил и даже напугал меня. Не помню точно, при каких обстоятельствах я увидел по телевизору, как папа оперирует больного. Меня немедленно удалили из комнаты, но у меня в памяти запечатлелся какой-то страшный пульсирующий, кровавый предмет и над ним лицо отца с мучительно напряженным взглядом. Эту сцену я потом часто видел во сне и боялся ее.

Отца по вечерам навещали его братья. Иногда они собирались все вместе — это называлось «заседанием семейного совета» — и сидели до поздней ночи в столовой под большим лилиодендроном, осенявшим их своими широкими листьями. Я никогда не забуду своего первого выступления на этом совете. Однажды, проснувшись среди ночи, я со страху начал плакать. Никто не приходил, и я в отчаянии бросился бежать по темному коридору в столовую. Мамы в комнате не было; мне захоте-

лось влезть на колени к дяде Нариану, который сидел ближе всех. Но, когда протянутые мной руки, как через воздух, прошли сквозь фигуру дяди, я в ужасе, с отчаянным криком бросился к отцу. Подхватив на руки, он долго успокаивал меня:

— Ну, ну, сынок, нечего бояться. Дяди Нариана в действительности здесь нет: он у себя дома, в Австралии, а к нам пришел лишь с телевизитом. Ты ведь знаешь, что такое телевизор? Вот он, на столике. Когда я его выключу, то дяди не будет видно. Вот — трак! — видишь?

Отец считал, что, если подробно разъяснить ребенку суть непонятного явления, у него пропадет страх. Однако должен признаться, что до четырех лет я не мог освоиться с телевизитами дядей, из которых Нариан жил в Австралии, близ Канберры, Амиэль — за Уралом, а третий, Орхильд, — иногда в Трансваале, а иногда — на южном склоне лунного кратера Эратосфен. Он был инженером и выполнял какие-то крупные работы в межпланетном пространстве. Четвертый, старший из братьев, Мерлин, жил на Шпицбергене, всего в тысяче трехстах километрах от нас, и еженедельно по субботам являлся к нам собственной персоной.

Теперь я должен рассказать вам об одном семейном предании, сочиненном дедом и переходившем от одного поколения нашей семьи к другому. Моя бабушка при всем богатстве ее ума и сердца отличалась исключительной рассеянностью, что причиняло ей немало огорчений. Дедушка — не знаю, хотел ли он утешить бабушку или сам действительно верил в то, что говорил, — утверждал, что рассеянными бывают только талантливые художники. Исходя из этой теории, бабушка с дедушкой ждали, что у кого-нибудь из их детей обязательно проявятся выдающиеся способности художника, а когда эта надежда не сбылась, дедушка внес в свою теорию поправку: способности передаются через поколение, великими художниками будут не дети, а внуки.

Однако мои сестры не оправдали этого ожидания. Брат уже с детских лет питал особое пристрастие к технике. У нас на крыше и до сих пор сохранилась сконструированная им «воздушная кровать» — система вентиляторов, выбрасывающих вверх такую сильную воздушную струю, что она свободно могла держать на весу тело

человека. Свои изобретения брат испытывал на мне, впрочем — без большого желания с моей стороны: висеть в объятиях воздушной струи, имевшей силу урагана, было нелегко и не позволяло не только отдыхать, но и просто дышать. Было ясно, что мой брат станет изобретателем. Разочарованная бабушка решила, что художником — теперь уж наверное — будет самый младший из внуков, то есть я. Поэтому, хотя я и доставлял родителям немало забот, мне сходили с рук многие проделки, за которые другой получил бы подзатыльник.

Когда мне исполнилось три года, меня привели на склад игрушек; я этого события не помню, но слышал рассказы о нем неоднократно. Ошеломленный огромным количеством сокровищ, которые могли быть моими, я бегал по зеркальному залу, хватал все, что попадалось под руку — модели ракет, воздушные шары, радиоволчки, куклы, — и не только не мог расстаться ни с одной из этих прекрасных игрушек, но набирал всё новые. Наконец я с криком и гневными слезами упал под бременем своего богатства. Бабушка начала что-то говорить об импульсивном темпераменте артистов и художников, но точка зрения отца была более прозаичной:

— Мальчишка просто дик, потому что вырос в лесу.

Высказав этот взгляд, он повернулся ко мне и полусерьезно сказал:

— Если бы ты родился в древности, то стал бы пиратом или конквистадором.

Как я уже говорил, остальные дети в нашей семье были значительно старше меня. Я еще только начинал читать по слогам, когда обе мои сестры окончили курс метеотехники. Старшая, Ута, как-то рассказала мне о чудесных возможностях ее профессии: когда она дежурила на местной климатической станции, от нее зависела хорошая погода.

— А если бы ты не пошла на дежурство, что бы тогда было? — спросил я ее.

— Тогда не было бы никакой погоды.

Не знаю почему, но из этого разговора я сделал вывод, что от Уты зависит не только погода, но и вообще существование мира. Будучи уверен, что, если бы не Ута, с миром произошло бы нечто ужасное, я преисполнился уважением к сестре. Но вскоре она подарила мне прибор

«Молодой метеотехник», при помощи которого я мог управлять движениями небольшой тучки. Тут во мне проснулись смутные подозрения. Я хитро выспросил, зависит ли от сестры еще что-нибудь, кроме движения туч и ветра. Не догадываясь, о чем идет речь, она сказала, что не зависит, и потеряла в моих глазах авторитет могущества.

— Да-а? — протянул я. — Тогда знаешь что? Метеотехника никому не нужна. Не знаю, как вам, женщинам, — великодушно добавил я, — но нам, мужчинам, как раз нужны бури, ураганы, вихри, а не какой-то искусственный сладенький климат.

Брат, который учился уже в четвертом классе, относился ко мне пренебрежительно. А мне было шесть лет, и я горел неугасимой жаждой приключений. В Меорию, во дворец детей, меня, как слишком маленького, еще не пускали одного, хотя от нас до города было недалеко, а давали в провожатые старшего брата. Он с презрением относился к инсценировкам сказок и, когда на сцене происходили неслыханные чудеса, насмешливо подсказывал мне шепотом на ухо, как развернутся дальнейшие события. Меня это очень огорчало.

Бывая в Меории, я останавливался у витрины каждого автоматического магазина. Особенно сильно меня привлекали склады игрушек и кондитерские. Я спрашивал маму, могла бы она взять себе все торты и все чудесные вещи, выставленные в витринах.

— Конечно.

— Почему же ты не берешь все?

Мама смеялась и говорила, что «все» ей не нужно. Этого я не мог понять.

«Вот вырасту, — мечтал я, — тогда возьму себе и игрушки, и торты, и вообще все. У меня будет целая ванна крема!»

Однако прежде надо было вырасти, и я всеми силами старался ускорить этот процесс. Поэтому, когда ничего особенного не предстояло, я с удовольствием уходил пораньше спать.

— И не стыдно тебе, такому большому мальчику, забираться засветло в постель? — спрашивала мать.

Я хитро помалкивал: мне-то было известно, что во сне время проходит быстрей, чем наяву.

На восьмом году я впервые попытался навязать свое мнение близким. Тогда у нас обсуждался вопрос о том, как отметить приближавшийся день рождения отца.

Вычитав в книгах что-то о древних властителях, я предложил построить отцу королевский дворец. Надо мной посмеялись, и тогда я решил выполнить этот план своими силами. Мама попыталась втолковать мне, что отцу дворец не нужен.

— У него не было времени думать о дворце, — возразил я, — однако он, наверное, обрадуется, когда у него будет дворец.

— Да нет же. Подарок не должен быть ни слишком маленьким, ни слишком большим. Давным-давно, в древности, существовал обычай дарить друг другу различные вещи, но теперь их дарят только детям, так как каждый взрослый может иметь все, что захочет.

Я считал такое неравенство очень обидным. Взрослые могли получить все, а что происходило, например, когда я за обедом стал настойчиво просить третий кусочек торта? Однако, не желая противоречить матери, я промолчал.

— Позавчера в саду, — продолжала она, — у тебя на коленях заснула собачка, помнишь? Тебе было неудобно, но ты не пошевелился, потому что не хотел причинять ей неприятности. Тебе доставляло удовольствие то, что ты делал для собачки, правда? Вот и отцу ты должен сделать что-нибудь такое, что ему было бы приятно. Увидишь, как он обрадуется.

— Хорошо, — возразил я. — Но отец ведь не спит у меня на коленях.

— Допустим. Но зачем тебе шуметь и пускать фейерверк у него под окнами вечером, когда он читает?

— Фейерверк я могу и не зажигать, — сказал я, — но этого очень мало.

От мамы я ушел задумавшись. В голове у меня дозревал проект королевского дворца.

У нас, как и в любом доме, было много автоматов. Они производили уборку, занимались хозяйственными делами, работали на кухне и в саду. Садовые автоматы, которые ухаживали за цветами и деревьями, назывались монотами. Монот первый был у нас еще при дедушке. Он часто сажал меня на шею и носил, чего терпеть не могла наша

овчарка Плутон. Впрочем, собаки вообще не любят автоматов. Бабушка говорила, что все животные, как правило, боятся автоматов, потому что не понимают, как может двигаться неживой предмет.

Мне тоже было неясно, почему автоматы двигаются и выполняют различные поручения. Поэтому, прежде чем приступить к строительству дворца — а вести его должны были наши автоматы, — я забрался с обоими монотами в самую глушь сада и приказал одному из них разбить живот у другого, чтобы посмотреть, что у него внутри. Автомат отказался повиноваться мне. Весьма рассерженный, я разыскал самый большой молоток, какой только мог найти дома, и сам принялся за работу, но не смог ничего поделать с металлической оболочкой автомата. Увлекшись работой, я совсем забыл, что наступило время послеобеденного отдыха отца, и бил молотком так, что грохот разносился далеко вокруг. Вдруг я услышал над собой чей-то голос. Красный как рак, еле живой от усталости, я поднял глаза и увидел отца, горестно качавшего головой.

— Если бы хоть часть этой энергии ты тратил на занятия! — сказал он и отошел от меня.

Дворец отцу я так и не подарил.

Весной 3098 года мне должно было исполниться девять лет. Мама сказала, что, если я буду вести себя хорошо, меня возьмут на Венеру. Первое межпланетное путешествие! В оставшееся время я был примерным мальчиком. Вечером накануне отъезда к нам собрались все дяди. Мама ознаменовала это событие чудом кулинарного искусства — лунным тортом, изготовленным по секрету от всех. Когда его поставили на стол, он зашумел, из кратера появился крем и потек по шоколадным склонам.

Я втайне надеялся, что во время путешествия на Венеру с нами произойдет катастрофа и мы, потерпев крушение, высадимся на какой-нибудь встречный астероид. Чтобы не быть захваченным врасплох, я решил запастись на всякий случай продовольствием: самым подходящим для этого мне показался торт. Я стащил из кладовой огромный кусок его и спрятал на дно чемодана.

На следующий день рано утром мы отправились на ракетный вокзал в Меорию. Полет на Венеру продолжался недолго и обошелся без всяких катастроф, на ко-

торые я надеялся. Мне надоело глазеть на черное небо со смотровой палубы. Разочарованный до крайности, я забился в угол каюты и, чтобы не допустить порчи запасов, стал поедать свой торт до тех пор, пока мегафоны не сообщили, что мы приближаемся к аэропорту Венеры. Последствия были печальны: из всех впечатлений на Венере мне запомнились лишь боль в животе, разрисованный цветочками и птичками кабинет детской поликлиники и толстяк доктор, который, подходя ко мне, уже издали смеялся и спрашивал, как мне понравилось у них на планете.

На другой день надо было возвращаться домой. Меня, заливавшегося слезами, посадили в ракету. Я изо всех сил старался не показать, как тяжело переживаю случившееся несчастье, над которым — этого я больше всего боялся — будут смеяться брат и сестры. Поэтому на обратном пути я хранил таинственное, мрачное молчание, которого, впрочем, никто не заметил. Так закончилось мое первое космическое путешествие.

Не буду останавливаться на различных беспорядочно перемешанных событиях, сохранившихся в памяти, как ненужные безделушки, с которыми трудно расстаться. Я их хорошо помню, но не могу отыскать в себе ничего от ребенка, которым я был когда-то. Что осталось у меня от всего этого? Любовь к сказкам? Отвращение к тортам? Вот, пожалуй, и все. Но в этих мелочах, случайно сохранившихся, скрыта тень затерянного где-то на самом дне моего существа непонятного и недосягаемого мира, который изредка, вызывая улыбку сожаления, возвращается ко мне с каким-то оттенком вечернего неба, с шумом дождя, забытым запахом или видом затененного уголка.

Когда много лет спустя я вернулся домой, наш сад поразил и почти испугал меня. Я узнавал каждую клумбу, каждое дерево, но там, где прежде передо мной открывались целые страны, в которых происходили волнующие события, теперь не было ничего. Обычный сад — с цветами, беседкой, яблонями, кустарником... И каким маленьким было все это! Каким волнующим путешествием был когда-то путь от дома до калитки, — куда более захватывающим, чем теперь полет вокруг земного шара! А теперь, за несколько лет вся Земля стала для меня меньше сада,

в котором я провел детство. Исполнились затаенные мечтания: я вырос и мог получить все, что хотел. Но об этом после.

МОЛОДОСТЬ

Мой мир расширялся. В него вошли братья моего отца. Как мне давно было известно, самый старший из них, дядя Мерлин, изучает камни. Я сомневался, в своем ли он уме: что интересного могло быть в камнях? Однако впоследствии оказалось, что он умеет рассказывать о многом в тысячу раз более интересном, чем сказки. В его устах плагиоклазы магмовых скал, хризолиты и меловые мергели приобретали таинственные, романтические черты. При помощи яблока и салфетки он умел показать, как возникают горные хребты, а когда рассказывал о свитах лавы, которыми покрыты остывающие планеты, я видел небесных гигантов, одетых в развевающиеся плащи из багрового пламени. Другой дядя, Нариан, тот самый австралиец, который когда-то перепугал меня во время телевизита, создавал искусственный климат на больших планетах, был властелином метановых ураганов и повелителем бурь, вздымающих океаны леденеющего углеводорода. А какие миры раскрывались в его рассказах! Он говорил о летающем континенте Гондвана, об удивительном небе Юпитера, похожем на опрокинутую чашу, в которой маленькое солнце светит днем и ночью, об экваториальных пространствах Сатурна, на которые бóльшую часть года падает тень гигантских вращающихся колец, о своих юношеских экспедициях на холодные спутники этой планеты, носящие имена, похожие на заклинания: Титан, Рея, Диана.

И все же, хотя и с тяжелым сердцем, я изменил им обоим и решил пойти по стопам третьего дяди — Орхильда. Зная, что дядя Орхильд бомбардирует атом, я представлял его склонившимся где-нибудь в межпланетной лаборатории и пытающимся поймать эту мельчайшую частицу материи. Что же оказалось в действительности? Этот исследователь бесконечно малого занимался как раз тем, что строил объекты, по своим размерам во много раз превосходящие любое сооружение на Земле и даже самую Землю. Разве не было поразительно, что путь в глубь Космоса, как и в глубь атома, одинаково приводил

к бесконечности? Дядя Орхильд строил машину для бомбардировки атомов. Это было кольцо из труб; магнитные поля ускоряли в нем нуклоны — снаряды, стрелявшие в ядра атомов. Самый большой ускоритель XXX века представлял замкнутую окружность диаметром в три тысячи километров: его изогнутая труба бежала по туннелям, проложенным сквозь горные цепи, по мостам, пересекающим долины. Следующим этапом мог быть, пожалуй, только ускоритель, опоясывающий весь земной шар. Значит ли это, что конструкторы дошли до предела, через который невозможно перешагнуть? Нет, возник совершенно новый замысел: было решено построить новый гелиотрон в космическом пространстве. Мне казалось, что гелиотрон должен был представлять собой кольцеобразную систему труб, плавающую где-то между Землей и Луной. Но дядя Орхильд вывел меня из заблуждения: основной материал для конструкции — отличного качества пустота — имелся в избытке в космическом пространстве. Ракетами были доставлены с Земли многие тысячи магнитных установок. Они были так расположены в пространстве, что образовали идеальную окружность. Что же делал дядя? Может быть, следил за этой работой? Нет, он как раз занимался тем, что было между магнитными установками, то есть пустотой. Значит — ничем? Вовсе не так. Из того, что он говорил о ней, вытекало, что нет более богатого возможностями объекта, чем эта «пустота», через которую проходят электромагнитные поля — гонцы и посланники далеких миров.

Он не наносил нам телевизитов, потому что при этом нельзя было влезать на деревья, что́ он очень любил. Зато, когда он приезжал, мы взбирались на одну из самых высоких яблонь в саду, усаживались в развилине между сучьями и, грызя твердые яблоки, вели ожесточенные споры о фотонах — самых быстрых и невесомых частицах материи. Было бесповоротно решено, что я стану энергетиком космического пространства.

Но наступили летние каникулы 3103 года, и все изменилось. Мне исполнилось четырнадцать лет и было разрешено совершать самостоятельно экскурсии на расстояния в несколько сот километров.

Однажды я полетел на Гельголанд. Знаете ли вы этот маленький островок в Северном море, древнюю базу и

одновременно музей космических кораблей? Там, среди стройных елей и выветренных доломитных скал, высится огромный ангар с высокими окнами. В центре ангара, под сводами, нависшими над скоплением подъемных кранов, напоминающими позвонки и ребра допотопного кита, стоят рядами на покое огромные корабли.

Хранителем музея был краснолицый старик с окладистой бородой, в которой, словно забытые, сверкали кое-где золотистые волосы. Я обнаружил его в реакторном отделении одной из ракет. Он стоял в полной темноте над кварцевыми ваннами, в которых некогда бурлил жидкий металл. Теперь здесь царил запах пыли и ржавчины. Казалось, что во всем огромном сооружении, кроме меня, нет никого. Я вздрогнул, увидев его, и спросил, что он тут делает.

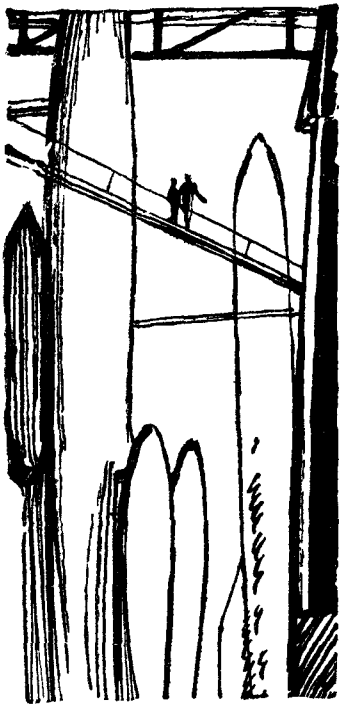
— Да вот смотрю за ними... чтобы не улетели, — ответил старик после столь длительного молчания, что я начал сомневаться, ответит ли он вообще.

Он постоял надо мной — я слышал его напряженное, тяжелое дыхание — и молча спустился по трапу.

С тех пор я стал все чаще посещать музей. Некоторое время отношения между нами никак не могли наладиться: я пытался сблизиться со стариком, но он, казалось, избегал меня, скрываясь в лабиринте кораблей. Потом он стал отвечать на мои вопросы, вначале лаконично, с примесью сарказма, которого я не понимал, но, по мере того как мы знакомились ближе, стал все более разговорчивым. Постепенно я изучил биографии судов, находившихся в зале, и многих других звездных кораблей, потому что он — я непоколебимо верил в это — знал историю всех судов, какие когда-либо курсировали в пределах солнечной системы за последние шесть веков.

На Гельголанде я гостил в семье дяди. По мере того как старик все больше углублялся в недра своей, как мне казалось, неистощимой памяти, для меня оставался загадкой лишь он сам: о себе он не рассказывал никогда. Я предполагал, что он был капитаном межпланетного корабля или руководителем крупных экспедиций, но не спрашивал об этом: мне нужен был именно такой окруженный ореолом тайны человек.

У самого входа в зал, между колоннами, стояли четыре древние ракеты, построенные на судостроительных



верфях тысячу лет назад, — длинные тупоносые веретена, хвостовое оперение которых напоминало стрелу. Первые две ракеты лежали на покатой бетонной площадке; третья стояла, откинувшись назад. Ее правый костыль касался края фундамента; левый, выпущенный лишь наполовину, торчал в воздухе, подогнутый, как лапа мертвой птицы. Этот старейший межпланетный корабль высоко задирал клюв, словно готовый к старту, который почему-то откладывался, хотя его время уже наступило. Дальше лежали похожие на трехгранных рыб ракеты, изготовленные в XXII и XXIII веках. Я вначале думал, что все они выкрашены в черный цвет, но оказалось, что их заботливо окутывал мрак, как бы стремясь из жалости скрыть ржавые пятна и вмятины на боках.

Я хотел было сказать, что старик руководил моим осмотром ракет, но это было бы неправдой. Мы вместе поднимались по крутым лестницам на узкую металлическую галерею, откуда были видны ряды темных хребтов с зияющими колодцами люков. Корабли освещались изнутри искусственным светом. Перед нами открывались створки проходов, круглые люки, каюты, багажные отсеки и межпалубные трапы. По ним мы спускались до самого дна трюмов, в которых, по-старинному сверкая рубиновой смазкой, находились похожие на ножницы подъемники шасси. По темным суживающимся туннелям, разделенным свинцовыми предохранительными перегородками, мы добирались до атомных камер. У почерневших стен, шероховатых от высокой температуры, развивавшейся в этих камерах, стояли согнутые скелеты магнитов. Между

ними когда-то проносились осколки атомов, рождая силу и движение, теперь же все было покрыто пылью.

Во время наших прогулок старик становился хмурым и даже печальным. Иногда он переставал замечать меня.

И, лишь когда, осмотрев все закоулки ракеты, мы возвращались в ее центральные помещения, роли наши менялись.

Как я понял значительно позднее, он ждал, чтобы я, удовлетворив самое поверхностное, крикливое любопытство, пожелал узнать вопросы более важные, чем особенности древних атомных конструкций. Когда я познакомился со всеми кораблями и побывал в их самых укромных уголках, настало время моего учителя.

Старик как бы случайно встречал меня у входа. Мы проходили пустой, обширный ангар, миновали неподвижные корпуса судов, возвышавшиеся на несколько этажей с раскрытыми настежь люками, из которых веяло холодом, и поднимались по гулким металлическим ступеням внутрь длинноклювого серебристого гиганта, великого Астронавта, на поверхности которого время не оставило следов. Подходя к центральной штурманской кабине, где на возвышении между посеревшими экранами телевизоров и распределительными щитами находилась рулевая аппаратура, старик как бы случайно останавливался и начинал говорить — отрывисто роняя фразу за фразой, вначале с невыносимо долгими паузами, затем все более быстро и плавно. Потом он открывал двери кабины управления, на потолке автоматически вспыхивали лампы, и тогда начиналась одна из тех невероятных историй, которые на всю жизнь западали в мое юношеское сознание.

Это был отрывистый рассказ о событиях, происходивших в древности, когда полет на ближайшую планету был экспедицией в неизвестное, полной недомолвок драмой с запутанным сюжетом, которая разыгрывалась в бесконечных пространствах Космоса, между двумя мирами: Землей, оставленной, быть может, навсегда, и таинственным, загадочным миром другой планеты. Это была легенда о кораблях, которых сила притяжения заставила обращаться вокруг неизвестных, не отмеченных на небесных картах астероидов, об отчаянной борьбе с мощным

притяжением планеты-гиганта Юпитера, о пределах выносливости экипажей и прочности кораблей, сага о борьбе, о полетах в глубины Космоса и возвращении оттуда.

Я помню рассказ об одном корабле. В его машинное отделение ударил осколок распавшейся кометы, и корабль потерял управление. Двигаясь вслепую, он уходил в бесконечное пространство, посылая по радио отчаянные сигналы о помощи. На Землю эти сигналы поступали, отражаясь от Луны или какого-то другого космического тела. Они были искажены и не давали возможности точно запеленговать корабль. Шла неделя за неделей, сигналы становились все слабее, пока, наконец, не умолкли навсегда.

Другой рассказ был о том, как пассажирская ракета прямого сообщения линии Марс — Земля, возвращаясь в свой порт, не смогла миновать встреченное на пути скопление космической пыли и по выходе из него была окружена обращающимся вокруг нее пылевым облаком. Во время полета этот своеобразный ореол не причинял ракете вреда, но стоило ей войти в пределы земной атмосферы, как туча окружавшей ее пыли вспыхнула, и в несколько мгновений ракета сгорела со всеми пассажирами и грузом.

Рассказывая эти истории, старик время от времени вставал с удобного кресла, приближался к рычагам рулевого управления, протягивал руки, словно намереваясь положить их на черные рукоятки. Иногда он умолкал и мрачнел, его глаза рассеянно блуждали по каюте, как бы в бесплодных поисках того, что должно было появиться именно в этом месте рассказа; и я вместе с ним начинал видеть предметы, еще теплые от прикосновения рук астронавтов, пломбы гравитационных предохранителей, торопливо сорванные в минуту опасности рукой рулевого, слышал шаги вахтенного и, как и он, испытывал одиночество среди звезд, мерцающих на черных дисках экранов. Раза два мной овладевало беспокойство: мне показалось, что старик, излагая историю некоторых экспедиций, отступает от установленной историей хронологии, но это скоро прошло. Я поддавался его влиянию, закрывал глаза на неточности и невероятность событий, о которых он рассказывал. Я верил ему, потому что хотел верить. Я неясно ощущал, хотя и не умел этого выразить,

что он изменяет некоторые подробности только для того, чтобы более яркой стала правда о тех, кто первым отправился в область вечной ночи.

Я решил стать астронавтом. Меня удивляло, как могло случиться, что я до сих пор не замечал всей прелести этой чудесной профессии. Я думаю, что причина этого лежала главным образом в том, что один из разделов межпланетных сообщений изучал мой брат, а наши отношения, выражаясь его языком, языком инженера-электрика, были всегда «несколько перенапряженными».

Когда я сообщил старому капитану о своем решении, он вначале не обратил на это внимания. Его молчание больно задело меня. Однако через некоторое время он сухо сказал, что таким астронавтом, какими были герои прошлых эпох, я уже не смогу стать. Теперь нет доблестных экипажей, которым приходилось бы бороться против метеоритных туч — этих лавин межпланетного про-

странства; нет штурманов, прочерчивающих каждую ночь отрезок пройденного пути на картах неба. Нет уже капитанов, без устали шагающих по металлическим палубам в тот час, когда измученная команда забывается сном; нет вахтенных и рулевых, устремляющих поверх звездных компасов свой взгляд к звездам. Десятки тысяч автоматически управляемых ракет кружат без людей по орбитам нашей солнечной системы. Эти длинные поезда межпланетного пространства перевозят с планеты на планету сырье, минералы, руду, машины. Если же на них и находятся люди, то это пассажиры, привыкшие к чудесам путешествий и пользующиеся услугами машин, которые следят за безопасностью полета.

Я робко заметил, что брат мой изучает астронавтику.

— Э, — пренебрежительно махнул старик рукой, — он учится строить пилоты-автоматы. Это все равно, что назвать композитором человека, который делает трубы для оркестра.

Я поспешил повторить это изречение брату.

— Сам ты труба! — ответил тот.

У отца был друг, профессор-астроном Мурах, с которым я поделился своими сомнениями. В моем представлении он был на короткой ноге со звездами.

— Я не хочу строить роботы, управляющие ракетами. Хочу быть настоящим астронавтом, рулевым или капитаном космического корабля.

— Романтика старины! — воскликнул Мурах, терпеливо выслушав меня, и печально покачал головой. — Читал ли ты книгу Руфуса «Атмосферы планет и звездоплавание»?

Этой книги я не знал. Профессор был очень доволен.

— Великолепно! Вот возьми и прочитай. Замечательная книга. Она полна неясностей, как туманный вечер. Огромная свобода для фантазии, для воображения! Да, да, астронавтика когда-то была очень трудным делом. Сколько в этой книге великолепных страниц, описывающих героизм победы человека над самим собой! Как красиво сказал Руфус: «Наш мир очень хорош для астронавтов: на каждые сто триллионов частей пространства приходится одна часть твердой земли, есть где развернуться межпланетным сообщениям. Да к тому же есть столько звезд — этих больших портовых огней среди океана

тьмы!» Но знаешь ли ты, мой дорогой, почему именно астронавтика была таким трудным делом?

Этого я не знал.

— Как же так? — удивился Мурах и взглянул на меня сверху вниз.

Там, где у других людей бывают брови, у него были два маленьких реденьких кустика седых волос, которые живо шевелились, будто участвовали в беседе. Они часто смешили меня, отнимая силу доказательности у слов профессора.

— Я попробую объяснить, мой недозрелый звездоплаватель, твою ошибку. Известно ли тебе, что в свое время люди плавали по морям?

— На так называемых пароходах? — поспешил ответить я.

— Правильно. Но еще раньше, в древности, они плавали на парусниках, используя движущую силу ветра. Так вот, пока они не усвоили точно гидростатику, гидродинамику, теорию волнообразования и другие науки, они строили корабли, понимаешь ли, на глазок, поэтому созданные ими суда обладали индивидуальностью. Нельзя было найти двух кораблей, которые были бы абсолютно схожи между собой, а самая незначительная разница в устройстве мачт, киля, в форме корпуса приводила к тому, что суда по-разному слушались руля. Испытывая опасности, приключения, терпя катастрофы, мореплаватели накапливали опыт, из которого возникло великое искусство кораблевождения. Это было, понимаешь ли, искусство, а не наука, потому что оно включало, помимо действительно научных данных, немало сказок, преданий, предрассудков. Чтобы водить суда, нужны были не только знания, но и личная храбрость, мастерство и талант. Однако позднее наука вытеснила все это, и для искусства оставалось все меньше места. Подобная же история повторилась сто лет назад в звездоплавании.

— Значит, человек уже не может управлять ракетой? — спросил я. — Но я хочу управлять ею! Неужели это кому-нибудь повредит?

— Да, повредит, — возразил профессор, и его брови задвигались, как бородки невидимых гномов. — Повредит, потому что ты выполнял бы это медленнее и не так точно, как автомат, а значит — хуже автомата, не говоря

уж о том, что человеку неприлично заниматься работой, которую могут выполнить автоматы. Впрочем, ты сам знаешь, что это не годится.

— Но во время экскурсии или в горах мы часто сами пилим дрова, разводим костры, варим пищу, а ведь ее можно приготовить при помощи кухонного автомата!

— Во время экскурсий мы делаем то, что полезно для здоровья и доставляет человеку удовольствие. А если ты поведешь ракету, то этим подвергнешь опасности груз, не говоря уже о самом себе.

— Большое дело — одна ракета! — вырвалось у меня.

Профессор рассмеялся:

— Видишь ли, ты сам сделал невольное признание — мечтая о звездоплавании, ты не думаешь про труд и ответственность, тебе важна лишь их видимость, такая их доля, которая придаст самому полету «серьезность» и тем увеличит удовольствие. Двести лет назад звездоплавание было большим и трудным искусством, достойным настоящих мужчин, требовавшим всей жизни тех, кто ему отдавался, и имена великих астронавтов стали достоянием истории. Но то, что было тогда необходимостью, сегодня в лучшем случае будет забавой, а в худшем — бессмыслицей.

Я был зол и на профессора с его непререкаемой логикой, и на старого хранителя кораблей, и на брата, словом — на весь мир. Однако от своего намерения я не отказался: буду астронавтом, что-нибудь и для меня осталось. Профессора я попытался обмануть тем, что ничего ему не ответил, но он, очевидно, догадался о моих мыслях по скромно опущенным глазам.

— Значит, ты все-таки хочешь стать капитаном дальнего звездоплавания? — настойчиво спросил он.

И я, несмотря на данную себе клятву молчать, невольно выпалил:

— Хочу!

Профессор сначала широко раскрыл глаза, потом долго смеялся. Наконец заговорил серьезно:

— Верно ли, что ты недавно перегрыз зубами свинцовый кабель?

— Верно, — мрачно ответил я.

Хотя никто из взрослых не выразил ни малейшего

энтузиазма по поводу этого поступка, я все же гордился им.

— Зачем же ты это сделал?

— Побился об заклад, — ответил я, еще больше мрачнея.

— Ты очень упрям... Я слышал об этом от других, а теперь сам вижу. Гм!.. Что ж, может, со временем успокоишься... А пока пойди почитай Руфуса.

Мурах смотрел на меня строго, но подвижные брови ясно говорили, что он на моей стороне.

Это были годы горячих споров, годы активной подготовки к первому полету за пределы солнечной системы. По всему земному шару возникали специальные учреждения, в которых добровольцы подвергались тяжелым и опасным испытаниям: никто не знал, как будет воздействовать на человеческий организм скорость, превышающая десять тысяч километров в секунду. А ведь ракета, которая полетит на ближайшую звезду, должна будет двигаться по крайней мере в десять раз быстрее.

Я отправился в институт скоростных полетов, расположенный в ближайшем городе, и предложил свои услуги в качестве добровольца. Ребенком я часто встречал одетых в белое работников таких институтов. На левом рукаве у них была нашита эмблема института — маленький серебряный луч. Они обычно пользовались большим уважением, подобно самым видным ученым и артистам.

В институте ко мне отнеслись с несколько официальной любезностью: вероятно, добровольцев, подобных мне, приходилось принимать по нескольку десятков в день.

Помимо горячего желания, у меня, пожалуй, не было никаких других данных, поэтому меня отправили домой, сказав, что если я буду хорошо учиться, то через пять лет могу явиться вновь и тогда меня допустят к вступительному экзамену.

Так я и отправился ни с чем. Жестоко разочарованный, я строил самые фантастические планы. Мечтал взять одноместную ракету и полететь на ней в космическое пространство; прежде чем кончатся все запасы, я повстречаю какое-нибудь судно, которое окажет мне, как потерпевшему бедствие, помощь. Потом стал обдумывать следующий план. Я тайно проберусь на одну из ракет, совершающих рейсы на самые отдаленные планеты, а когда

она оставит позади, скажем, орбиту Марса, выйду на палубу. Пораженный моим энтузиазмом руководитель экспедиции сделает меня по крайней мере своим помощником. Я даже приготовил подходящую к случаю речь в нескольких вариантах.

Все эти проекты отнимали у меня много времени. Я читал запоем космические романы, учился плохо, а когда меня в классе выводили из «космической» задумчивости каким-нибудь вопросом, отвечал невпопад. Мне и в голову не приходило, что добрая бабушка весьма своеобразно толкует мое поведение. И, когда я за обедом, поднеся ложку ко рту, внезапно устремлял взгляд в пространство, это в ее глазах было несомненным признаком созревающего таланта художника.

Полная самых радужных предчувствий, она подарила мне ко дню рождения прекрасный белый генетофор, на котором сама упражнялась одним пальцем. Я попробовал на нем свои силы, чтобы доставить бабушке удовольствие, а также потому, что меня действительно заинтересовала видеопластика. Это искусство возникло из сочетания так называемого кино, литературы, объемного и цветного телевидения. При помощи генетофора художник, для которого этот аппарат является тем же, чем для композитора фортепьяно, может воспроизвести все, что возникает в его воображении. Он может создавать драмы и комедии, подлинные истории или сказки, действие которых развертывается в придуманных мирах, может конструировать любые воображаемые существа, полурастения и полуживотные. Все это происходит в результате комбинации световых полей, возникающих при игре на генетофоре.

Первые попытки игры меня весьма обрадовали. Я запирался в комнате и усаживался перед широким экраном, положив руки на клавиатуру, состоящую из нескольких рядов клавиш. Пройдясь пальцами по десятку-другому клавиш, я нажимал спуск, и вот в глубине экрана появлялся созданный мной образ. Но он редко нравился мне, и я, нажав на педаль, убирал его и вызывал всё новые образы.

Конечно, каждый начинающий художник, упражняясь, терпит много неудач, создавая неполноценные образы, но я в этом отношении побивал рекорды. Должен признаться,

что мне даже во сне являлись целые толпы созданных мной лиц, страшные, дышащие местью за неумелое оживление и грубое устранение из этого минутного бытия.

Видеопластика нисколько не отличается от различных форм искусства древности, и генетофор представляет как бы усовершенствованную палитру или перо. Но мне кажется, что видеопластика больше похожа на музыку: видеопластик смешивает различные психические черты, как музыкант — звуки; у музыканта возникает мелодия, а у видеопластика появляется герой драмы. Композитор, оркеструющий симфоническую тему, прежде чем записать на нотной бумаге хотя бы один знак, заранее слышит в своем воображении общее звучание всех инструментов. Так и у видеопластика самая трудная, самая творческая часть работы осуществляется до того, как он нажмет на первый клавиш генетофора: он должен раньше создать героев в своем воображении, только тогда могут возникнуть образы, которые подчинятся его воле и судьбы которых будут волновать зрителей. Однако этому никто не может научить, если человек лишен таланта. А одно лишь умение бегло играть на генетофоре создает дергающихся кукол, действующих по искусственному сценарию. Именно это и произошло со мной.

Многие лишь несколько лет спустя после начала занятий видеопластикой понимают, насколько обманчив мираж творческого всесилия, которым их соблазнило это искусство; какой огромной ложью становится оно, когда человек забывает о подлинных судьбах человечества ради мечты о воображаемых мирах! К счастью, отсутствие таланта у меня было столь явным, что я ни минуты не подумал о том, чтобы стать видеопластиком. Дело кончилось тем, что я разобрал генетофор, чтобы ознакомиться с его устройством. Бедная бабушка, увидев результаты моих стараний, испытала горькое разочарование, на этот раз — последнее, поскольку ни на кого в семье она не могла больше надеяться.

Обычно молодой человек, закончив среднее образование, проводил по нескольку месяцев в различных добровольно избираемых им институтах и университетах, где в тесном контакте с учеными, инженерами и техниками выявлял свои симпатии и склонности. Окончив школу в семнадцать лет, я долго колебался, не зная, куда идти,

пока не поступил в меорийский филиал Института планирования будущего. Здесь я снова встретился с людьми, работавшими над проектами экспедиции за пределы солнечной системы.

В те времена еще не достигли таких скоростей, которые позволили бы преодолеть расстояние от Земли до отдаленных звезд на протяжении одной человеческой жизни. На космических кораблях должна была происходить смена поколений, то есть цели могли достичь лишь внуки и даже правнуки людей, отправившихся с Земли. Это казалось в то время неизбежностью, продиктованной уровнем звездоплавательной техники. Но такое положение вызвало резкие нападки со всех сторон. Было что-то унизительное и недостойное в длящемся десятки лет животном прозябании людей, запертых в металлической скорлупке и брошенных в бездну космического пространства. Помимо аргументов, основанных на чувствах, против такого положения восставал и разум.

«Какими, — говорили участники споров, — будут люди, вынужденные десятки лет соприкасаться с Великой пустотой? Не превратятся ли они в морально и умственно неполноценные существа? Как унизительна роль насекомых, которую должны будут, по существу, играть так называемые «промежуточные» поколения, вынужденные провести всю свою жизнь, от рождения и до смерти, в ракете! Чему научат, как воспитают они тех, кто в конце концов доберется до звезд?..»

«Все это верно, — говорили другие. — Трудности и опасности такого путешествия исключительно велики. Однако лететь к звездам необходимо. Мы освоили солнечную систему, подчинили себе природные богатства близких, а потом, во второй половине третьего тысячелетия, и далеких планет, вплоть до последней из них — Цербера и его спутников. Теперь человечество должно осуществить следующий шаг вперед — прыжок через океан пустоты, отделяющий нас от ближайшего солнца другой системы. Можно на некоторое время отложить экспедицию, но предпринять ее необходимо; если мы от нее откажемся, неизбежен застой, а через несколько веков и гибель человеческой цивилизации».

Открытие новых видов атомного горючего и методов высвобождения атомной энергии из любого вида материи

сделали технически возможным разрешение проблемы полетов со скоростью, близкой к скорости света, но вместе с тем поставили новый вопрос: может ли человек вообще, применяя любые средства предосторожности, передвигаться со скоростью ста или двухсот тысяч километров в секунду?

Оптимисты допускали, что эту задачу можно будет сравнительно легко решить в пространстве, удаленном на большое расстояние от полей притяжения планет, и в том случае, если ракеты будут ускорять ход постепенно. Они напоминали, что уже давно возникали теории, будто пределом биологических возможностей человека являются скорости сначала в тридцать, затем в сто, а впоследствии в тысячу километров в час. Из одного столетия в другое эта граница отодвигалась все дальше.

Более осторожные люди говорили, что при скоростях, приближающихся к скорости света, начнут действовать определенные последствия теории относительности, влияние которых на жизненные процессы совершенно неизвестно и может быть выявлено лишь на основе опыта.

Так возникли Институты скоростных полетов, разбросанные по всей Земле и другим планетам, и филиалы Института планирования будущего.

Сотрудники этих институтов обнаружили таинственное явление, известное под названием «мерцание сознания»: человек, находящийся в ракете, скорость которой достигает ста семидесяти — ста восьмидесяти тысяч километров в секунду, испытывает особое помутнение сознания, которое при дальнейшем ускорении приводит к обмороку, грозящему смертью. Скорость сто семьдесят тысяч километров в секунду получила название «околосветового порога»; с такой именно быстротой должна была лететь ракета, направляемая на ближайшую звезду.

Таково было положение в науке, когда я впервые столкнулся с коллективом Института планирования будущего.

Ошеломленный перспективами, какие открывала работа этих людей, я решил любой ценой быть принятым в институт. Для этого надо было окончить одну из специальных школ: по кибернетике, звездоплаванию или медицине. Подумав немного, я решил начать занятия в известном своими замечательными традициями Институте

кибернетики в Меории Занятия шли хорошо, но через год я стал жалеть о том, что избранный мной предмет не имеет ничего общего с полюбившимся мне звездоплаванием, и после некоторых колебаний дополнительно записался на курс космодромии. Нагрузка моя была тем больше, что над кибернетикой я корпел в Меории, а лекции по звездоплаванию слушал в университете, расположенном у подножия Лунных Апеннин. Хотя я легко мог попасть в любое из учебных заведений Земли, но тот факт, что мне ежедневно приходилось летать на Луну, поднимал меня в собственных глазах. Ежедневно я проводил два часа в ракете и лишь в ней имел время утолить голод. Все это было, конечно, чистым безумием. Я недоедал и недосыпал, стараясь выполнить взваленные на себя обязательства, но вместе с тем мне было так хорошо, что об этом периоде моей жизни я не могу подумать без улыбки. Я считал себя человеком разносторонним, наделенным большими способностями и, главное, загадочным и принимал все меры к тому, чтобы никто из моих коллег на Луне не знал о моих занятиях в Гренландии, и наоборот.

Прошло два года. Завершив начальный цикл занятий кибернетикой, я неплохо сдал экзамены по теории ракетных полетов и отправился на летние каникулы домои. Я прилетел поздно вечером. Мама сказала, что я разминулся с отцом, которого только что вызвали на операцию. Мы долго сидели на веранде, всматриваясь в падающие звезды на июльском небе Время от времени с восточного края горизонта навстречу им устремлялись огненные перпендикуляры. Это ракетный вокзал в Меории, казалось, салютовал вспышками стартующих ракет посланцам Космоса — метеоритам.

Далеко за полночь отец сообщил, что вернется поздно, и просил не ждать его Мама устроила мне постель в комнате, где когда-то была детская, и, едва улегшись, я уснул как убитый Проснулся я, когда уже был белый день Во всем доме царила тишина. Я направился в сад и в дверях столкнулся с отцом Комнату заливал зеленый, похожий на подводный, свет, проникавший сюда сквозь завесу вьющихся растений В своем длинном сером халате отец казался старше, чем обычно. Бледный, с темными кругами под глазами, он как бы еще не

вышел из ночи· так чужд он был веселому, солнечному дню. Он казался ниже, чем всегда, — впрочем, может быть, это вырос я? В голове промелькнула мысль, что он на пороге старости, и сердце у меня сжалось от нежности и сожаления. Кем он был? Он не создал ничего — не провел ни одной выдающейся операции, не создал ни одного нового, не применявшегося до него лекарства, не сделал ни одного открытия, он не был даже знаменитым хирургом. О нем говорили: «хорошие руки», «хороший глаз», но ничего особенного· обычный врач-хирург. Его братья изменяли климат планет, создавали гигантские конструкции в космическом пространстве, оставляли осязаемые, прочные следы своей работы. А он? Молча, украдкой я поцеловал его в небритую щеку и хотел выйти в сад.

Он остановил меня:

— Ты, кажется, хочешь поступить в Институт планирования будущего?

Я подтвердил это.

— Прежде ты хотел получить все, а теперь хочешь стать всем..

На лице отца не было улыбки. Он стоял, ожидая ответа. Я вздохнул, словно собираясь говорить, но промолчал. Он легко дотронулся до моей груди и ушел в свой кабинет. Я остался один, взволнованный и, пожалуй, немного рассерженный Вышел в сад, но мне уже не хотелось слоняться по местам детских игр Я лег на теплую траву и через минуту перестал думать об отце, подставляя лицо лучам светившего над Гренландией искусственного атомного солнца, стоявшего в зените и излучавшего яркий платиновый свет, и солнца настоящего, бледный диск которого поднимался над горизонтом.

Тень промелькнула по моему лицу, за ней вторая, третья. К нам кто-то прилетел· геликоптеры приземлялись на лужайках в глубине сада. Приподнявшись на локтях, я увидел первых гостей, выбиравшихся из машин, а высоко над домом заметил стайку новых машин, сверкавших винтами. Несколько минут спустя с запада прибыли еще десятка два машин. Опустившись, они остановились над вершинами деревьев. Группа гостей все росла некоторые что-то прятали за спиной. Все более удивляясь, я встал. На лужайках продолжали приземляться геликоптеры. Наконец гости направились к дому.

Я настолько опешил, что, когда они приблизились ко мне, вместо ответа на приветствия пробормотал:

— Что... что тут будет?

— Мы прилетели на юбилей, — ответило несколько голосов сразу. — Пятидесятилетие работы доктора.

— Ты его сын? — спросила низкорослая седая женщина.

Ее волосы в лучах солнца отливали живым серебром. У меня возникло безумное желание нырнуть в кусты, но ноги словно приросли к земле. Значит, сегодня пятидесятилетний юбилей врачебной деятельности отца, а я об этом ничего не знал... А он?.. Помнил ли он?

Около дома собирался народ, по саду по-прежнему пробегали тени идущих на посадку геликоптеров. Этот звездный слет продолжался. Теперь машины приземлялись уже за пределами сада, потому что на дорожках и газонах не было места. Отовсюду доносился приглушенный говор. Вдруг открылись двери, и на пороге показался отец. Он инстинктивно запахнул полы халата и замер с непокрытой головой и растрепанными волосами; на щеке у него отпечатался узор ткани — он, вероятно, дремал, прислонившись к спинке кресла. Он смотрел на море голов, а вокруг воцарилась такая тишина, что слышен был замирающий шелест опускающихся машин. Внезапно отец рванулся вниз, как бы собираясь броситься навстречу всем, но на середине лестницы остановился. Люди подходили к лестнице, подавали ему цветы — небольшие букеты, — но вскоре он уже не мог удержать их, и новые гости клали цветы на ступеньки. Там были маки и васильки из австралийских пшеничных заповедников, белые магнолии, африканские лотосы, орхидеи, букеты маргариток, цветущие яблоневые ветки из Антарктиды, где только начиналась весна, и крупные белые розы, которые росли лишь в оранжереях Луны. Тот, кто положил свой дар, молча отодвигался в сторону, и отец провожал его взглядом, в котором иногда мелькало смутное воспоминание. Тогда его губы начинали беззвучно шевелиться, но к нему подходил уже другой, а над садом, как тяжелая птица, взмывал геликоптер, увозивший того, кого отец узнал. Толпа уменьшалась; груда цветов на лестнице росла.

Вдруг в глубине сада появились девять стариков в

блестящих белых скафандрах; они шли обнажив седые головы, с явным трудом справляясь с тяжестью межпланетной одежды, от которой давно отвыкли. У меня замерло сердце: на груди у каждого из них я увидел значок пилота с Нептуна. Отец когда-то, еще до того, как познакомился с матерью, был врачом, обслуживавшим ракеты, хотя об этом никогда не говорил. Пилоты шли с пустыми руками, но, подойдя к веранде, отцепили серебряные значки и один за другим ударом ладони вбивали их острием в доску нижней ступеньки, так что эта доска, потемневшая и вытертая тысячами ног, вдруг засверкала, как бы украшенная серебряными гвоздями.

Потом мы остались одни в пустом, залитом солнцем саду. Отец, все стоявший неподвижно, сделал шаг назад. Цветы посыпались из его рук. Найдя ощупью дверь, он скрылся в доме.

А я все вслушивался в шум удаляющихся машин. Через несколько мгновений появилась еще одна, пролетела с мягким шумом над деревьями и села на землю. Из нее выскочил человек в комбинезоне; быстро оглядевшись вокруг, он подбежал к веранде, бросил что-то на груду цветов и так же быстро вернулся в геликоптер.

Я отличался хорошим зрением и издали увидел этот последний подарок: связку красноватых сухих и колючих веток ареозы — единственного цветущего растения на Марсе.

МАРАФОНСКИЙ БЕГ

«Люди славили мудреца за его любовь к ним, однако, если бы они не сказали, мудрец так и не знал бы, что любит их». Эти слова древнего философа характеризуют моего отца лучше, чем любая фраза, какую я мог бы придумать. Многие спрашивают себя: «Правильно ли я избрал профессию, счастлив ли я, хорошо ли мне жить?» — и немедленно отвечают: «Да». Отец никогда не задавал себе подобных вопросов: они не приходили ему в голову, и он, наверное, счел бы их такими же бессмысленными, как вопрос: «Живу ли я?»

Его братья служили обществу своими знаниями. Он делал то же, а когда наука оказывалась бессильной и битва за жизнь больного была проиграна, он оставался

при умирающем, но уже не как врач, а как человек. Его братья испытывали то радость успехов, то горечь поражений. Отец всегда оставался самим собою, ощущая никогда не покидавшую его тяжесть ответственности, бывшую для его души тем, чем для наших тел является земное тяготение, которое заставляет мускулы совершать усилие, постоянно напрягаться, преодолевать тяжесть тела, но без которого жизнь была бы немыслимой.

После глубоко врезавшихся мне в память летних каникул я ушел со старшего курса Института кибернетики и стал заниматься медициной. Это новое решение, принятое с такой же головокружительной быстротой, с какой я принимал предыдущие, вытекало, однако, из других побудительных причин: это была попытка проникнуть в смысл основных ценностей жизни и хоть немного искупить свою вину перед отцом.

Я окончил медицинский факультет и в то же время не оставил главной своей цели: участвовать в звездной экспедиции. Годы занятий медициной остепенили меня. Бабушка нашла известное утешение в том, что хоть я и не стал художником, однако у меня появился талант: в университете меня стали считать восходящей звездой в беге на длинные дистанции. Я завоевал звание чемпиона континента среди студентов, а к концу занятий — чемпиона Северного полушария.

Получив диплом, я поступил в хирургическую клинику. Полгода спустя руководство экспедиции к созвездию Центавра объявило о наборе экипажа, и я стал добиваться должности ассистента профессора Шрея, назначенного первым хирургом межзвездного корабля. Меня беспокоило отсутствие профессионального опыта, но, поскольку в экспедицию подбирали людей, имеющих разностороннюю подготовку, я рассчитывал, что при решении вопроса будет иметь значение то обстоятельство, что я занимался звездоплаванием и кибернетикой. Когда я выдвинул свою кандидатуру, один из астронавтов заявил мне, что ответа придется ждать долго, поскольку наплыв желающих очень велик и каждое заявление рассматривается весьма тщательно. «Однако, — тут он усмехнулся, — такой урок терпения может оказаться крайне полезным на будущее, потому что нам придется много лет ожидать в ракете, пока мы достигнем цели...» «Нам придется», — так сказал

он, и, хотя это был лишь случайный оборот речи, я жил этим словом четыре месяца.

Дома я не мог найти места и надолго уходил в лес. Была осень, деревья с голыми ветками, резко выделявшимися на фоне голубого неба, неподвижно стояли в желтоватых лучах словно постаревшего солнца. Так ходил я целыми часами, пока не наступала ночь и на небосклоне не высыпали звезды; я останавливался, поднимал голову и долго вглядывался в звездное небо. Уже ударил первый мороз, под ногами шуршали сухие листья, отовсюду доносился холодный терпкий запах гниения, запах разложения мертвых растений, но ни в одну весну у меня не билось сердце так сильно, как этой поздней осенью в безлистом лесу.

Какими странными путями идет история человечества! Как часто то, что вчера казалось непонятным сплетением запутанных, противоречивых обстоятельств, в которых люди с трудом продвигаются вперед и отступают назад под влиянием ошибок, потомкам в перспективе времени представляется очевидной необходимостью, а повороты, подъемы и спуски на пройденном пути становятся такими же понятными, как строки письма, составленные из простых и ясных слов!

Много веков назад, задолго до эры звездоплавания, люди считали, что межпланетные путешествия не удастся осуществить, не построив промежуточных станций за пределами земной атмосферы — так называемых искусственных спутников. Затем с развитием техники было доказано, что такая точка зрения ошибочна: звездоплавание развивалось в течение семисот лет совершенно независимо от искусственных спутников, на которых теперь размещаются лишь астрономические обсерватории и пункты регулирования погоды Однако вновь возникла необходимость создания опорных пунктов на искусственных спутниках, удаленных на значительное расстояние от Земли для преодоления вредного влияния ее притяжения. На этих спутниках удобнее было изучать влияние огромных скоростей на человеческий организм. Потом, когда было начато строительство корабля для межзвездных полетов, оказалось, что его надо строить за пределами Земли; он должен был обладать большими размерами, не позволяющими ни стартовать, ни приземляться на нашей пла-

нете. Раньше крупные океанские корабли не могли входить в небольшие порты и становились на якорь далеко от берега, сообщаясь с портом при помощи маленьких судов. Подобно этому и «Гея», первый межзвездный корабль, построенный в межпланетном пространстве на расстоянии ста восьмидесяти тысяч километров от Земли, не был рассчитан на то, чтобы приземляться на какой-нибудь планете. Он должен был лишь снизиться до верхних слоев атмосферы и, как бы плавая в них, выбрасывать из себя стаи ракет связи.

Именно так уже в мое время в безвоздушном пространстве возникла первая верфь, где строили корабли для межзвездных полетов.

Как-то я прилетел посмотреть, как строится звездный корабль. Наблюдать работы можно было с четвертого искусственного спутника. На остекленной палубе, на вершине металлического корпуса, стояла толпа любопытных. Ракеты прямого сообщения доставляли сюда всё новых туристов.

Верфь была покрыта тенью, которую отбрасывала Земля. Место строительства освещали колебавшиеся подобно маятникам юпитеры; каждый отбрасывал двенадцать лучей, сверкавших молниями далеко внизу, отражаясь от стальных плит, уложенных слоями на корпусе корабля. На поверхности корабля работали автоматы: одни без устали двигались вперед и назад подобно челнокам гигантского ткацкого станка, другие ежеминутно поднимались над корпусом, то вспыхивая в лучах прожекторов, то исчезая во мраке. В бинокль можно было рассмотреть различные элементы конструкций, которые эти маленькие создания легко переносили с места на место — все предметы здесь были лишены тяжести. Над всей строительной площадкой вились разноцветные полосы дыма, вылетавшие из-под сварочных аппаратов. Длинные хвосты цветных искр, свисая по бокам строящегося корабля, лениво собирались в облака, пронизанные в разных направлениях десятками лучей. Симфония света гасила бледные звезды, мерцавшие на плоском фоне постройки. Вся площадка совершала по отношению к нашему наблюдательному пункту, отстоявшему от нее в тридцати километрах, величественно-медленное вращение.

Прошло одиннадцать месяцев непрерывных работ, и

автоматы исчезли: они вползли внутрь корабля, если принадлежали к его механической прислуге, или же удалились на одну из своих баз, и «Гея», освобожденная от лесов, двигалась подобно искусственной Луне вокруг Земли, огромная, серебристая, молчаливая. В ее бездонных соплах еще ни разу не сверкнули вспышки атомного огня.

Отец мой любил поэзию, но эта любовь проявлялась довольно своеобразно. Он называл стихи своей помощью и очень редко читал любимых поэтов. Лишь иногда ночью в окне его комнаты загорался свет: отец брался за томик стихов. Такой же помощью для меня в течение многих месяцев ожидания были альпинистские экскурсии.

Когда мне становилось очень не по себе, я просил друзей заменить меня в клинике и совершал в одиночку восхождение на труднодоступные горные вершины.

Вдруг как-то неожиданно над моей головой разразился ливень событий: я получил от первого астронавигатора экспедиции извещение о включении меня в состав экипажа, увидел свое имя в списке участников летних олимпийских игр и познакомился с Анной.

У нее были ясные, умные глаза; она изучала геологию, любила музыку и старые книги — больше о ней я почти ничего не знал. Оставаясь один, я был уверен, что очень люблю ее; когда мы встречались, я терял эту уверенность. Сознательно и бессознательно мы причиняли друг другу мелкие, но чувствительные огорчения, между нами непрерывно происходили недоразумения — сегодня трагические, завтра пустяковые. Но я страдал от них, а страдания — об этом я знал из книг — всегда сопутствуют большому чувству. Так путем логических рассуждений я приходил к выводу, что люблю Анну. А она? Я не знал об этом ничего определенного. Когда мы бывали вместе, ее взгляд часто уходил куда-то вдаль, открытый и отчужденный, словно она любовалась невидимым мне зрелищем. Это сердило меня. Когда она была уступчивой, становился покорным и я. Наши отношения были какими-то туманными, полными недомолвок, предположений и ожиданий, невыносимыми и вместе с тем очаровательными.

Все это происходило весной. Мы ходили по садам, слушали, как птицы учатся петь песни, сидели на скамьях у кустов, осыпанных зелеными почками; я рвал их, вертел в пальцах и бессмысленно крошил, как будто собирался придать еще неразвернувшимся, склеенным почкам очертания будущих цветов. Нам не хватало того, что позволило бы созреть нашим чувствам: времени. Только время могло выяснить все, связать нас или оттолкнуть друг от друга. Но у нас его не было. Срок отлета приближался. Я неоднократно собирался окончательно поговорить с Анной и каждый раз откладывал этот разговор.

А тут еще близились олимпийские игры. То и другое гнало от меня сон. Я знал, что мой первый марафонский бег на олимпийских играх является последним: возвратившись из экспедиции, я буду слишком стар. Победить перед отлетом — каким бы это было великолепным про-

шанием с Землей! Отправиться к звездам с лавровым венком на челе!

Мне было двадцать пять лет, я был склонен к философским обобщениям. Я сказал себе: вот у тебя есть все, чего ты хотел, — диплом об образовании, участие в космической экспедиции, олимпийские соревнования и любовь, — и все же ты не удовлетворен. Действительно, какое мудрое изречение: «Дай человеку все, чего он желает, и ты погубишь его».

В таком настроении я приступил к тренировке. Я бегал по круглой дорожке стадиона и по покрытым травой холмам прибрежья, по широким аллеям университетского парка, под непрерывный, неустанный шум недалекого океана. Я тренировался только по утрам; пробежав двадцать километров, я направлялся в отборочный лагерь, где уже месяц жили будущие участники экспедиции. Он находился рядом с населенным пунктом, расположенным среди старых кедровых лесов у подножия горного хребта Каракорум. Местность эта называлась Кериам, однако к ней пристало неизвестно кем пущенное в обращение название «Чистилище»: для его обитателей лагерь был промежуточным пунктом между Землей и палубой ракеты.

Нелегко описать атмосферу, царившую в Чистилище. Много времени уходило на занятия и лекции по самым разнообразным отраслям знания. Целью этих лекций была всесторонняя подготовка участников экспедиции к предстоящему путешествию. Одновременно проводилось обследование будущих звездоплавателей: физиологи, биологи и врачи в ослепительно белых халатах сновали по лабораториям, из которых вырывался свист вращающихся скоростных кабин. Время от времени среди сияющих лиц попадались и опечаленные: это врачи вынесли кому-то безапелляционный приговор, закрывавший бедняге дорогу к звездам.

Жизнь с силой стучалась в ворота городка. Хотя многие отправлялись в экспедицию вместе с женами и детьми, но у каждого на Земле оставался кто-то близкий, и радость ожидания смешивалась с горечью разлуки.

Мне приходилось бывать то на стадионе, то в Чистилище, поэтому я не встречался с Анной несколько дней. Лишь вырвав минутку перед сном, я наносил ей телеви-

зит. Во время последнего свидания совершенно случайно и неожиданно дело дошло до решительного объяснения. Как я и опасался, Анна заявила, что ее специальность в экспедиции не нужна и что она могла бы работать только на Земле. Я стал говорить о силе чувства, могущего отмести все препятствия. В ответ на это она спросила: если бы я был в ее положении, смог ли бы отказаться ради нее от медицины? Что мог я ответить? Чувствуя, что все рушится, что Анна потеряна для меня, я стал упрекать ее. Если бы она действительно любила меня, говорил я, она бы переменила профессию и вообще перестала бы работать... на некоторое время, поспешно добавил я, заметив, как побледнела Анна.

— Ты хотел причинить мне боль? — сказала она. — Ну что ж, тебе это удалось.

Есть такое старое выражение: человек хотел бы провалиться сквозь землю. Во время телевизита это можно осуществить почти буквально. Взбешенный и пристыженный, я нажал выключатель, и комната Анны, ее лицо, глаза, голос — все исчезло, как по волшебству. Я твердо решил больше не видеться с ней, но уже на другой день нашел предлог—извиниться за вчерашнее поведение. Она не сердилась на меня. Мы уговорились встретиться на следующий день после состязаний. Честно признаюсь: я мечтал о том, что она переменит свое решение. Пока же я вернулся на беговую дорожку, где тренировался в одиночестве. Я бегал с секундомером, и, когда движение его стрелки совпадало с ударами моего пульса, у меня возникало впечатление, что мое усилие толкает вперед время, которое иначе остановилось бы, и что, финишируя изо всех сил, время несется прямо к трем великим дням: двадцатого июля мне предстояло принять участие в марафонском беге, двадцать первого утром увидеться с Анной, а вечером двадцать второго подняться на палубу ракеты.

Я все больше интересовался возможными победителями в беге. Самыми страшными из моих соперников были Гергардт, Мегилла и Эль Туни. Особо пристально смотрел я, как бежит Мегилла: благодаря высокому росту его легкий шаг был шире моего почти на пять сантиметров. У Мегиллы был излюбленный прием: между двадцатым и тридцатым километром он обычно отрывался от

своих соперников и, не оглядываясь, устремлялся вперед легкими длинными бросками, как бы плыл в воздухе, становясь все более невесомым. Я один раз бежал с ним на полную дистанцию, и, хотя я выжал из себя все, он пришел к финишу, обогнав меня на шестьсот метров. Помню, как в тот вечер, принимая ванну, я мрачно смотрел на свои ноги, ощупывая глазами узлы мускулов на бедрах и икрах, подобно музыканту, который доискивается, в чем недостатки и скрытые возможности его инструмента. У меня были совсем не плохие ноги, но они не могли сравниться с ногами Мегиллы.

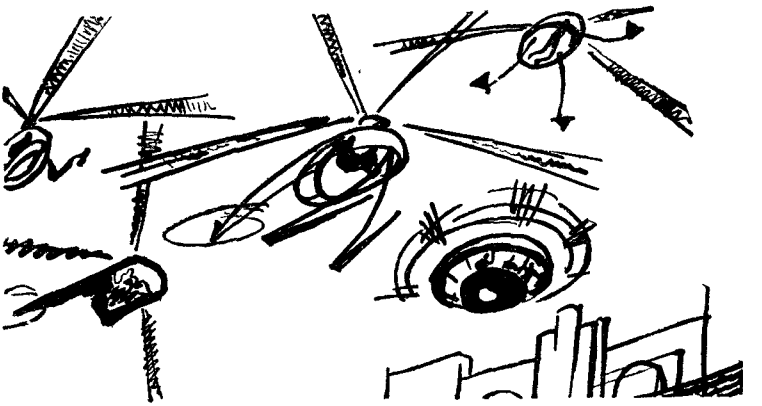
Приближался день старта. Друзья не скрывали от меня своих сомнений: утешение, подобное обману, у нас было не в почете. То ли выявилось скрытое до той поры беспокойство или же в последние дни я перетренировался, но спал я очень плохо. В ночь накануне состязания я поднялся рано, чувствуя себя усталым и измученным еще до начала состязаний. Отказаться от участия в них мне и в голову не приходило. Я поехал на стадион, повторяя себе, что надо научиться проигрывать.

Солнце над стадионом затмевали десятки тысяч геликоптеров. Распорядители на маленьких быстроходных красных самолетах показывали места, где геликоптеры могли остановиться неподвижно над землей. Наконец все успокоились; над стадионом слышался лишь легкий гул многих тысяч вращающихся винтов, а по обеим сторонам беговой дорожки в воздухе неподвижно висела разноцветная масса геликоптеров, образовавших правильный четырехугольник. Над овальным полем стадиона проносились лишь одноместные самолеты судей и арбитров. Из закрытого деревьями здания стали выходить участники состязания. На этот день метеотехникам была заказана мягкая погода; кучевые облака должны были закрыть солнце. Трасса со стадиона пересекала, извиваясь, обширные парки и сады института, доходила до приморского пляжа и возвращалась по восемнадцатикилометровой аллее, окаймленной по обеим сторонам пальмами и итальянскими каштанами.

В состязании участвовали восемьдесят спортсменов По знаку стартера мы рванулись вперед. Тучи геликоптеров с обеих сторон беговой дорожки взвыли одновременно, дрогнули и двинулись вслед за нами до границы, обо-

значенной двумя рядами красных воздушных шаров. Дальше нас сопровождали лишь контрольные и санитарные машины.

Очень старый принцип гласит, что тот, кто ведет марафонский бег на первой половине дистанции, проигры-



вает. До десятого километра участники соревнования бежали тесно сбившимися группами, и все происходило почти так, как я предполагал: возникла ведущая группа, в которой было около восемнадцати спортсменов; разрыв между этой группой и остальными медленно увеличивался.

Я бежал одним из последних в головной группе, стараясь следить за тремя спортсменами из нашей школы, о которых я говорил раньше, и, кроме того, за Джафаром и Элешем, воспитанниками других школ. Худощавый, светлокожий Джафар напоминал Мегиллу, хотя ему недоставало собранности этого бегуна; Элеш, плотный, черноглазый, бежал, как машина, равномерно выбрасывая локти. Я решил между двадцатым и тридцатым километрами идти непосредственно позади этой пятерки, потом вырваться из цепочки и выйти в головную группу.

Я вспомнил о своих тренировках на холмах над

взмерьем. Обычно я бегал на солнцепеке; солнце, казалось, прожигало насквозь прикрытую белой шапочкой голову. Во время бега я совсем не пил и все более густой и соленый пот заливал мне глаза. Тогда я говорил себе: «Вот тебе, вот тебе, мало тебе еще?» — и, преодолевая сравнительно медленно ровные участки, ускорял бег, когда дорога шла в гору, словно я ненавидел себя и хотел измучить свое тело.

Эти тренировки дали мне выносливость, которая оказалась крайне необходимой в критический день. Метеотехники, как обычно, рассчитали хорошо, а выполнили значительно хуже; до одиннадцати часов, когда мы миновали километровый столб с цифрой «19», по голубому небу плыли большие кучевые облака, но, когда вытянувшаяся цепочка бегунов начала спускаться по широкому виражу дороги к приморскому пляжу, где не было ни кусочка тени, облака поредели. Я бежал то последним, то предпоследним в головной группе и чувствовал себя удовлетворительно, хотя плохо спал ночь. Однако по временам у меня возникало ощущение, будто мои ноги преодолевают среду более густую, чем воздух. Я старался бежать по возможности шире и плавнее. Сердце и легкие работали безотказно, весь мир немного покачивался в такт равномерному ритму бега, пульс был правильный, небыстрый и полный, но его толчки все больше отдавались в голове. Я дышал носом, закусив в зубах платок.

Когда последнее большое облако скрылось за горизонтом, солнце обрушило на нас всю мощь своих отвесных лучей, и уже через пять минут в головной группе произошли перемены. Первым отстал Элеш; казалось, его плотная фигура отступила под прикрытие бегущих рядом спортсменов. Вскоре после того, как он поравнялся со мной, я потерял его из виду. Затем я сосредоточил внимание на Гергардте и Эль Туни. Эль Туни, смуглый, великолепно сложенный спортсмен с широкой и емкой грудью настоящего стайера, последние восемь километров шел впереди. Он и сейчас держался в голове, однако по тем трудно уловимым, но очевидным признакам, которые мне удалось заметить, я понял, что лидерство стоит ему с каждым шагом все большего напряжения, что он отказался от экономии усилий, а это было началом кон-

ца. Вдруг его желтая майка как бы заколебалась, а затем начала отодвигаться назад, пропуская вперед цепочку бегунов, сохранявших прежний темп. Джафар шел позади, я не мог его видеть, а оглядываться не решался, боясь выбиться из ритма. Солнце палило все сильней. Я чувствовал, как оно обжигает мои голые плечи и бедра, но невыносимый жар наполнял меня радостью: то, что было плохо для меня, было еще хуже для моих соперников.

Трасса шла мимо песчаных холмов и около последнего из них, самого большого и пологого, описывала широкую дугу. Тут, по раскаленному добела песку, над которым воздух переливался и смазывал отдаленную линию горизонта, я начал пробиваться к центру головной группы. На вершине холма кончался двадцать первый километр. У километрового столба я был девятым; до меня доносилось тяжелое дыхание соперников. Несколько секунд я шел рядом с Джафаром. Он делал судорожные вдохи, обнажая сжатые зубы. Мне удалось обойти его, и я даже удивился тому, как это оказалось легко.

Дорога уходила в сторону, приближалась длинная аллея, затененная развесистыми каштанами. Все, словно сговорившись, одновременно усилили темп.

Я боялся, что такой убийственной скорости не смогу долго выдержать. Однако я должен был бежать — под тенистыми деревьями у меня было меньше шансов, чем на открытом месте. Я выплюнул платок, сделал резкий вдох и ускорил бег. Как это легко сказать! Хотя ноги стали двигаться быстрее, под сердцем зародилась слабая боль, которая начала пронизывать внутренности. «И не думай сдать», — приказал я себе.

Я поднял голову, так было легче бежать. Эта перемена давала по крайней мере на минуту иллюзию облегчения. Над нами проплывали целые этажи холодной зелени; сверкающие заливы голубизны вклинивались между кронами пальм. Дорога пошла под гору.

Кончился двадцать шестой километр. Я бежал то восьмым, то девятым. За моей спиной разыгрывалась борьба за места, я ничего не знал о ней; в нагретом воздухе до меня доносились лишь ритмичный топот, удары подошв о поверхность земли и судорожное дыхание. Иногда с вершины каштана медленно слетал листок да птица

срывалась с ветки и неуклюже хлопала крыльями над головами бегунов.

Сонный, жаркий покой этих мест, дышащий полуденной тишиной, составлял поразительный контраст с молчаливой яростью нашей борьбы.

Как прошли шесть следующих километров, я почти не помню: все мое внимание было сосредоточено на мне самом.

Когда я пришел в себя, впереди меня бежали трое: Гергардт, какой-то совсем незнакомый блондин в голубой майке и легконогий Мегилла. Гергардт продолжал держаться хорошо, но отталкивался от земли уже не так эластично, как раньше. Юноша в голубой майке постепенно, сантиметр за сантиметром отодвигался назад. Когда он поравнялся со мной, я услышал судорожный свист, вырывавшийся из его легких. Он еще раза два сделал рывок и отказался от борьбы. Я не обращал ни на что внимания. Чем слабее становились мускулы, тем большее психическое усилие требовалось мне. Километр уходил за километром, дорога разматывалась пологими извилинами, холмы лениво передвигались вдали, закрывали друг друга и отступали назад под неустанный топот ног. Передо мной в десяти—двенадцати метрах бежал Гергардт, а далеко впереди то появлялась на солнце, то уходила в тень белая майка Мегиллы.

Гергардт несколько раз оглянулся, мне почудилось, что на его лице мелькнуло что-то похожее на удивление, однако это, вероятно, было просто моим воображением: что может выражать на сороковом километре марафонского бега лицо человека, залитое потом, засыхающим на коже соленой пыльной маской!

Когда Гергардт оглянулся вторично, мне показалось, что он улыбнулся, как бы говоря: «Постой, ты увидишь сейчас, как я могу бежать!» И вдруг все вокруг потемнело. У меня было такое ощущение, будто на ресницах осела пыль. Это было, вероятно, переутомление или перебой в питании сетчатки, но я потерял какую-то долю секунды, безрезультатно пытаясь стереть туман с глаз. Меня охватила ярость.

«Ладно, — подумал я, — все равно буду продолжать бег!»

Когда я открыл глаза, Гергардта уже не было. Огром-

ные пальмы передвигались назад, подошвы хлопали по беговой дорожке, вокруг было пусто и безлюдно, и лишь в ста метрах впереди белела майка Мегиллы, который, казалось, не бежал, а летел совсем низко над землей, взмахивая жилистыми руками. Он по-прежнему был далеко и удерживал разделявший нас интервал с таким холодным равнодушием, с каким отодвигался горизонт. И, когда я пытался ускорить бег, он сделал то же, не повернув головы. Топот далеко разносился в чистом воздухе.

Вдруг я перестал ощущать ноги. Мне пришлось посмотреть вниз, чтобы убедиться, что они по-прежнему продолжают двигаться, хотя я не замечал этого. Лишь воздух, проникавший в легкие сквозь широко раскрытый рот, казалось, резал горло, как раскаленный нож. В глазах прыгали какие-то фигуры и круги. Впереди мелькало и раскачивалось белое пятно; я уже не соображал, что это майка Мегиллы, — я не мог думать: мозг сжался подобно мускулам и застыл.

В этот момент послышался пронзительный, высокий звук: фанфары у входа на стадион возвестили о приближении первых бегунов.

Меня словно ударили металлическим бичом. Шагах в десяти-одиннадцати передо мной бежал Мегилла. Майка у него взмокла, он шатался, как пьяный, и лишь ноги неутомимо отбивали такт. Я рванулся вперед. Под пилонами у входа на стадион он оглянулся, и я успел схватить выражение ужаса на его лице. Он споткнулся и сбился с шага. У меня снова потемнело в глазах. Передо мной росло мутное белесое пятно. Я уже ощущал тепло тела

Мегиллы. Грудь в грудь мы вбежали на стадион. Тогда с неба ударил железный гром, послышались звуки труб: это все, кто сидел в переполненных до отказа гондолах геликоптеров, пустили в ход сирены, аварийные свистки и открыли глушители моторов. Я продолжал бег, нырнув в этот вой, словно на дно океана. Казалось, какие-то пальцы хватают мускулы ног и заставляют их сокращаться все быстрее. Вдруг вспыхнули прожекторы, и я увидел белую ленту. Подняв руки, я рванулся к ней, ноги сами несли меня дальше. На последних метрах меня безжалостно подгоняла моя воля, в эти секунды действовал железный приказ, отданный телу. Я продолжал бежать. С обеих сторон ко мне подскочили темные фигуры, я увидел какие-то крылья — это были трепещущие на ветру одеяла, которыми меня обмахивали.

Тогда я понял, что пришел первым, и, потеряв сознание, упал, будто кто-то подрезал мне ноги.

Позднее, придя в себя, я узнал, что́ именно поразило на финише Мегиллу до такой степени, что он сбился с шага: это было мое лицо.

ПРОЩАНИЕ С ЗЕМЛЕЙ

После соревнований я жил как во сне: видел толпы людей и залитое по́том лицо целовавшего меня Мегиллы, чувствовал объятия, пожатия рук, слышал возгласы, но так, будто это меня совершенно не касалось. Потом сидел высоко на трибуне и смотрел вниз на стадион; что происходило там, не знаю. Вечером меня окружила группа студентов-болельщиков: они улетали в Азию, и я не помню, как оказался вместе с ними в ракете; возможно, я сам вызвался проводить их. Потом начался длинный, бессвязный разговор, мне приходилось отвечать на несколько вопросов сразу, было много шума и смеха, ракета приземлялась и вновь отправлялась в полет, менялись спутники, а я продолжал оставаться в центре всеобщего внимания.

Вдруг я заметил, что в кабине осталось четыре пассажира. Я встряхнулся, как бы прогоняя сон. Заговорили репродукторы: ракета шла на посадку. Мы подходили к небольшой сибирской станции Калете. Растерянный, не

понимая, как я дал завезти себя в эту часть света, я быстро вышел на пустой перрон: вместе со мной на этой станции сошел и молодой астронавт, с которым я познакомился в пути. Он посмотрел на часы, подал мне руку и сказал, что отправляется завтра на Фобос, а сейчас хочет попрощаться с другом, который живет неподалеку. Его последним словом, звучавшим в моих ушах, было «прощай». И я остался один.

Были тихие теплые сумерки, в воздухе стоял запах мокрых листьев — только что перестал идти дождь, — а я не знал, что делать здесь, среди покрытых мглой полей этой надвигавшейся ночью.

И тогда я совершил еще один необдуманный поступок. Я не хотел этой ночи — нет, я не боялся ее, а просто не хотел — и спустился на нижний этаж вокзала, где помещалась станция наземных сообщений. Несколько минут я ходил по пустому перрону, скользя взглядом по зеркальным плитам стен, в которых смутно отражалась моя фигура. Вдруг рука случайно нащупала в кармане какой-то маленький сухой и хрупкий предмет: это была веточка из моего олимпийского венка.

С низким, пронзительным воем из туннеля выскочил аэропоезд, сверкнул сталью своих вагонов, взвыл тормозами и замер на месте. Двадцать секунд спустя я ехал на запад, догоняя солнце, скрывшееся недавно за горизонтом. Вагон еле заметно колебался и, набирая скорость, обгонял вращение Земли. В купе, кроме меня, не было ни души, и я включил радио. После заключительной фразы вечернего выпуска последних известий я услышал первые, величественные звуки «Прощальной симфонии» Крескаты.

— К черту прощанье! — вырвалось у меня.

Я выключил радио.

Поезд уже не колебался и не вибрировал, а мчался с огромной скоростью, поглощая пространство. Колея дороги вынырнула на поверхность земли; свет за окнами стал ярче, живее: я догонял уходивший на запад день. В тишине, не нарушаемой звуками радиопередачи, еще яснее всплыли в сознании четыре медленных такта вступления «Прощальной симфонии», похожие на фанфары. Я встал и начал ходить между рядами кресел. В жемчужных глазках стенных информаторов поминутно загора-

лись названия станций, которые мы проезжали, потом вновь стало темно: поезд достиг берега Европы и нырнул в глубь проложенного под Атлантическим океаном огромного туннеля, направляясь в Гренландию.

Когда в информаторах загорелись первые знакомые названия, я подумал, что надо увидеться с отцом. Конечно, именно за этим я и ехал сюда! Я справился о самом удобном маршруте и вскоре вышел на станции, расположенной в открытом поле, а поезд нырнул в прозрачную трубу. Она уменьшалась по мере удаления и на востоке была погружена во мрак, в то время как на западе ее еще освещал багряный отблеск зари. Из нее доносился все удалявшийся и слабевший высокий звук, подобный тому, который издает звенящая струна; этот звук вновь напомнил мне симфонию.

На лужайке уже ждал геликоптер, который я вызвал. Высокая трава была покрыта росой, и я замочил брюки до колен. Ругаясь про себя, я сел в кабину и полетел прямо домой. Когда моя машина опускалась на площадку нашего сада, день, который я нагнал в неустанном беге на запад, вновь начал угасать, но я не обратил на это внимания. Даже не захлопнув за собой дверцу, я бросился в дом. Бабушка и мама были в городе, а отец принимал участие в съезде врачей в Антарктиде. Я решил немедленно найти его. Геликоптер, конечно, был слишком медленным способом сообщения, поэтому я отправился на ракетный вокзал, расположенный в северном предместье Меории. Уже издали я увидел его купол, сверкавший в последних лучах заходящего солнца. Оставив геликоптер на верхней платформе вокзала, я направился к эскалаторам, близ которых на стеклянном глобусе информатора мелькали цветные светлячки. Прямого сообщения с Антарктидой в ближайшие минуты не было, и мне надо было лететь на третий искусственный спутник и там пересесть на ракету, отправлявшуюся на Южный полюс. Я стал на лестницу, спускавшуюся вниз, к перронам. На стенах первого яруса я прочитал светящиеся надписи:

ТАЙМЫР — КАМЧАТКА — НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ — четыре минуты.

БРАЗИЛИЯ — ОГНЕННАЯ ЗЕМЛЯ — семь минут.

Я сообразил, что мог бы лететь в Патагонию, а там

воспользоваться местным сообщением с Антарктидой, но не тронулся с места. Эскалатор продолжал двигаться вниз, я миновал второй, третий и четвертый ярусы. Людей становилось все больше. Сверкнула надпись:

МАЛАЙСКИЙ АРХИПЕЛАГ — ОТПРАВЛЕНИЕ,

и одновременно послышался приглушенный шум, который сразу же стих; откуда-то сверху донесся свист удаляющейся ракеты, брякнули захлопнутые люки, издали послышался голос, объявлявший: «Ракета прямого сообщения Марс — Деймос — Земля — опоздание на восемь секунд». За прозрачными перегородками двигались непрерывным потоком люди, а я спускался все ниже. Вот уже белый свет, заливавший перроны местного сообщения Земли, сменился голубым: мы были на перроне, откуда отправлялись ракеты на спутники. Вместе с толпой, спешившей на посадку, я направился к ракете, но где-то по пути растерял всю свою энергию: она словно исчезла с последним лучом света, проникавшим в глубь зала сквозь стеклянные стены.

Вот прилечу на Антарктиду, разыщу место, где происходит заседание, и вызову отца из зала; он обрадуется и удивится, спросит, не нужно ли мне чего-нибудь, — что ответить ему? Сказать, что мне было необходимо видеть его? Но для этого не нужно лететь: существуют же телевизоры! Сказать, что хотел прикоснуться к его темному костюму, почувствовать тепло его рук? Но это придется говорить в каком-нибудь коридоре; из-за дверей будет доноситься голос докладчика, отец будет делать вид, что не спешит вернуться в зал, а я буду стоять и молча смотреть на него: что же я могу сказать? Ведь «Гея» отправляется в полет лишь через два дня, к чему же такая спешка, эти прыжки с ракеты на ракету, какие я проделывал сегодня ночью?

Это было ясно. Отказываясь от намерения ехать в Антарктиду, я поступал в согласии со здравым смыслом. Но, когда я стал медленно удаляться от площадки, откуда отправлялись ракеты, меня охватило жгучее сожаление. Я оперся о балюстраду и смотрел, как зеленые сигнальные огоньки выскакивают на телефорах, как набирают скорость ракеты, и серебристые буквы на их боках сливаются в мелькающие полосы, как ракеты с пронзи-

тельным свистом втягиваются в стартовую трубу и на полной скорости вылетают из нее на высоте двенадцати этажей, оставляя позади полосы огня. Секунда — и ракета исчезла в темнеющем небе. В лицо мне повеяло душным запахом нагретого металла. Потом гул умолк, и я остался в одиночестве. Вдоль перронов у входа на эскалаторы ярко горели указатели, за стеклянными стенами все больше сгущались сумерки — вторые сумерки для меня за сегодняшний день.

На свободные пути подавались межпланетные ракеты: длинные, похожие на рыб с приплюснутыми головами, а в глубине зала засверкали надписи:

ЛУНА: МОРЕ ДОЖДЕЙ — АПЕННИНЫ — МОРЕ ОБЛАКОВ — ЮЖНЫЙ ПОЛЮС — четыре минуты.

Начался новый приток людей. Группа девушек бежала по медленно двигавшейся вниз лестнице; у той из них, что была позади всех, раскрылась сумочка, разноцветные безделушки рассыпались по ступенькам. Девушка сделала отчаянный жест, как бы намереваясь вернуться, но подружки закричали на нее, она махнула рукой и побежала к ракете. Минуту спустя в телефорах вспыхнул зеленый свет, а в воздухе послышался гул: ракетный поезд на Луну отправился в путь. Платформы почти совсем опустели. Блуждая взглядом по залу, я увидел дату, светившуюся над глобусом информатора. Ведь сегодня Праздник уничтожения границ! Потому-то мама отправилась в город! Любопытно, надела ли бабушка свое новое платье или, всполошившись, по обыкновению, в последнюю минуту, оделась в фиолетовое, которое носит каждый день? Видели ли они марафонский бег? Вот какие мысли мелькали у меня, когда я двигался к выходу.

Вдруг я споткнулся о какой-то предмет. Это был шарик, золотистый с голубыми крапинками, — его потеряла одна из девушек с Луны. Мне стало жаль этот шарик, сиротливо лежавший в огромном зале, полном музыки непрерывного движения. Я спрятал его в карман, где лавровая ветка напомнила о себе мягким шелестом листков. У самого выхода я увидел человека. Он не сел почему-то в кресло, а, вытянув ноги, отдыхал на ступеньках, рядом с большим свертком, и, скрестив руки на груди, громко и фальшиво насвистывал «Прощальную симфонию».

«Пришло же чудаку в голову давать здесь концерт»,— подумал я. Наши взгляды встретились, и мы одновременно вскрикнули от удивления: это был Пеутан, мой коллега по занятиям кибернетикой. Началась бессвязная беседа; мы дергали друг друга за рукав, то приближались, то отступали один от другого, хлопали по плечу и непрерывно повторяли: «А помнишь, как профессор?..», «А помнишь?..», «А помнишь?..»

— Ну и сюрприз! — сказал я наконец. — Однако, позволь, что ты тут делаешь в такую пору, да еще в праздник?

Он торжествующе рассмеялся:

— Ожидаю Ниту. Она сегодня возвращается. Меньше чем через час будет здесь. Я уже поговорил с ней, знаешь?

Нита была его девушка. Она окончила занятия год назад и находилась на шестимесячной практике на звездоплавательной станции на Титане, одной из самых отдаленных во всей солнечной системе.

— Очень рад, — сказал я, чувствуя, что эти слова никак не соответствуют действительности.

Веселое настроение, вызванное неожиданной встречей, сразу покинуло меня. Пеутан этого совсем не заметил.

— У меня для нее сюрприз.—Он легко толкнул ногой сверток. — Это Ниагара, ее кот. Он родился как раз в день ее отъезда. Но теперь он уже большой. Он мог удрать, и я на всякий случай упрятал его в коробку.

— Так ты взял с собой на свидание кота? — сказал я, с трудом подавляя раздражение. — На твоем месте я пришел бы с цветами.

— Там есть и цветы. — Пеутан вновь толкнул ногой сверток; в ответ раздалось нервное мяуканье. — Ну, а ты-то зачем здесь, олимпийский победитель? Ты себе не представляешь, как мы все кричали, когда ты финишировал, хотя и сожалели, что ты выступаешь не от нашей команды. Ну-ка, повернись на свет, дай посмотреть на тебя, ведь я...

Его тираду прервал возглас удивления, перешедший в протяжный свист.

— А это что такое? Значит, ты летишь на созвездие Центавра? Звезды покорять? Ах ты, марафонский победитель! И ни единым словечком не обмолвился!

Осторожно, словно это была очень хрупкая вещь, он дотронулся до маленькой белой эмблемы «Геи», приколотой на моей груди. Теперь надо было начать длинный рассказ, но я не был в состоянии это сделать и лишь спросил:

— Завидуешь?

— Еще как!

— Знаешь, я тебе тоже завидую! — вырвалось у меня. Я сказал это таким тоном, что Пеутан ни о чем больше не спрашивал. Несколько секунд мы молча глядели друг на друга, наконец он протянул руку и как-то торжественно пожал мою:

— Ну что ж, простимся, пожалуй. Будешь наносить нам телевизиты?

— Конечно, пока будет можно.

— Смотри, не забывай!

Мы еще раз взглянули друг другу в глаза, и я двинулся к выходу. Воздух снова наполнился шумом стартующих ракет, а когда этот шум утих, далеко за спиной послышалось насвистывание Пеутана.

От вокзала в разные стороны расходились целые ярусы движущихся тротуаров. Я выбрал тот, который вел к парку на берегу реки, и, опершись о поручни, смотрел на проплывавшие мимо меня огни большого города.

В широких аллеях сверкали стоящие далеко друг от друга огромные здания, окруженные кольцом садов. На фоне ярко освещенных белых стен резко выделялись черные, как уголь, ветки деревьев. Внизу расстилались улицы — гладкие, широкие, прозрачные, как лед, с пульсирующей под землей сетью туннелей. Каждую площадь, каждую улицу наполняли спешащие машины, сливавшиеся от быстрого бега в длинные разноцветные полосы. Это напоминало кровообращение в сосудах гигантского организма. Свет, проникавший из хрустальных подземелий города, смешивался с водопадом красок, изливавшимся сверху. Золотые и фиолетовые фейерверки реклам взлетали ввысь по стенам, на самых верхних этажах алмазными огнями сверкали вывески. Люди выходили из магазинов, нагруженные свертками, вскакивали в ожидающие их геликоптеры, которые взлетали в лучах света и повисали у домов подобно пчелам, клубящимся у гигантского улья. На перекрестках воздушных магистралей мигали телефоры, под матово-зеленой поверхностью улиц прото-

сились лавины поездов, всюду царила возбужденно-торопливая атмосфера праздничного вечера.

Уличные фонари стали встречаться реже, движение сократилось, вместо гигантских башен появились дома, затем — домики. Зато все шире раскидывались сады; они занимали все бóльшую площадь, и наконец движущийся тротуар кончился. Оставив далеко позади зеленоватый фонарь его конечной станции, я пошел вперед, с удовольствием ощущая под ногами мягкую влажную землю. За воротами парка меня окружили деревья. В центре города при ярком свете уличного освещения мне казалось, что уже наступила глубокая ночь. Теперь я увидел темно-синее, но еще беззвездное небо. На западе догорала, остывая, красноватая заря, припорошенная серебристой мглой. Был час, когда в садах, выбрав поукромнее места, сидят на скамейках пары и шепчут друг другу слова, которых никто в мире не знает. Ведь если даже их будешь говорить неоднократно, содержание таких бесед странным образом улетучивается из памяти так же незаметно, как испаряется эфир. После этого остается лишь одурманивающий сладковато-горький осадок, воспоминание о наполнявшем душу ожидании больших темных глаз, широко раскрытых рядом с твоим лицом, да о шепоте, который, кроме аромата дыхания и тона слов, не значит ничего, подобно музыке.

Я шел через парк. Вдали над черневшими во мраке ночи деревьями возникали сверкающие силуэты высотных домов. По аллеям гуляли пары, усаживались на скамейки, прижимаясь друг к другу, а я шагал мимо, чувствуя кулаки в карманах, как два тяжелых камня, и отводя взгляд. Я прошел весь парк и вышел на огромную, пустынную набережную, украшенную ожерельями многочисленных фонарей, отражавшихся в черной воде. В моем мозгу вновь зазвучали высокие ноты все тех же четырех тактов вступлéния симфонии Крескаты.

Я остановился у берега. Река описывала широкую дугу, охватывавшую пылающий город; внизу подо мной беззвучно текла вода, гладкая, молчаливая, покачивая словно с бесконечной нежностью отражения фонарей. Я вынул руку из кармана, раскрыл ладонь. Из нее выпал смятый лавровый листок.

В нескольких стах метрах от меня у реки высился па-

мятник Неизвестному астронавту. Эта старинная скульптура, возвышавшаяся над городом, в детстве была местом, где кончались все мои прогулки. Почти наугад я направился к эскалатору, который поднимался к подножию скульптуры. Эскалатор беззвучно тронулся, унося меня вверх; город плавно и решительно уходил все дальше из-под ног, вырастая на горизонте цепочкой светящихся домов-башен. Эскалатор остановился; я стоял на плоской усеченной вершине пирамиды у памятника Неизвестному астронавту.

На гигантском осколке метеорита, таком черном, будто на нем запекся мрак бездны, в которой он кружил нескончаемые века, лежал навзничь человек. Днем этот упавший колосс виден из самых отдаленных пунктов города. Обломок ракетного оперения пронзает его грудь. Сейчас, в отблесках зарева отдаленного города, гигант утратил свои очертания. Складки его каменного скафандра темнели, как расселины скалы. Человеческой была лишь голова — огромная, тяжело закинутая назад, касающаяся виском выпуклой поверхности камня.

Позади Неизвестного господствовал полный мрак. Я обошел статую кругом и остановился против лица человека. Оно было так велико, что я не мог окинуть его одним взглядом. В разлитой вокруг глухой тишине я вновь услышал звуки «Прощальной симфонии». Я сказал себе: «Вот твой товарищ на эту ночь», и, подойдя к краю метеорита, сел у глаза гиганта. Позади меня, на расстоянии вытянутой руки, слабо и таинственно мерцало опущенное на глаз веко.

Внизу под нами лежала Меория. Над безбрежным морем света возвышались два мощных его источника. В центре старинного научного квартала сияло здание университета, построенное еще в конце XXI века, — огромное сооружение, с прямыми, устремленными вверх линиями. В этих линиях ощущался какой-то неукротимо-радостный бунт, вызов, брошенный силе тяжести архитекторами, стиль которых формировался под влиянием наступившей эпохи ракет, каплевидных самолетов, летавших быстрее звука, и кривых, по которым они совершали взлеты. Против этого тысячелетнего колосса, как бы выстреленного в небо своими хрустальными колоннами и смеющегося над земным тяготением, стояло другое, уже современное зда-

ние Дворца кибернетики. Университет казался примитивным по сравнению с его сосредоточенной простотой, представляющей собой луч света, застывший в почти невесомой конструкции. Контуры здания свидетельствовали о том, что нашим архитекторам удалось преодолеть манеру своих предшественников, напрягавших строительный материал до последних пределов сопротивления. Десять веков отделяют друг от друга оба эти произведения строительного искусства на Земле. Но каким ничтожным был этот отрезок времени по сравнению с возрастом ме-

теоритного камня, на котором я сидел! На его поверхности, остекленевшей от жара, сейчас отдыхали двое людей. Один, каменный, воплощал всех, кто не вернулся из бездны. Другой, живой, должен был направиться в бездну. Что за встреча! Какой круг истории замыкался здесь! Какой круг, обращенный в неведомое, открывался вновь! Так думал я, положив голову на руки и устремив взгляд во тьму. Вдруг поверхность метеорита выступила из мрака, озаренная трепещущим светом. Над Дворцом кибернетики в воздухе возник огненный занавес, погасивший звезды: с земли в небо серебряным водопадом поднялось искусственное полярное сияние; на его волнистом фоне невидимая рука писала огненные буквы: «Бал начинается!»

И вдруг город, вздрогнув, выбросил в небо сотни, тысячи, десятки тысяч фейерверков, ракет, бенгальских огней. Они взрывались и трепетали над самыми высокими зданиями, а из парков, им навстречу, поднимались воздушные шары, сделанные в виде паяцев и фантастических масок. В наполненном серебряным полумраком пространстве между дворцом и университетом задрожали мириады синих, голубых и фиолетовых колец — это студенты устроили воздушный хоровод, и стайки украшенных лампочками геликоптеров описывали сверкающие круги. Я был оскорблен: Земля могла бы дать мне возможность подумать о бесконечности, но в такую минуту она приглашала на эту шутовскую карнавальную игру! Ветер донес

отзвук отдаленных криков толпы. Я еще пытался сохранить трагическое одиночество, но при мысли о том, какой шумный прием оказали бы мои друзья победителю марафонского бега и исследователю звезд, заколебался. Мне становилось все более досадно, что я не с ними. Я боролся с искушением еще минуту, затем вскочил, спрыгнул на плоскую вершину пирамиды и вызвал геликоптер. Минуту спустя он вынырнул из тьмы и медленно опустился около меня, увитый гирляндами цветов, с гостеприимно освещенной пустой кабиной. Однако, не успел я сесть в нее, как мне в голову пришла новая мысль: а что, если я встречу там Анну и она увидит, как я, радостный, смеющийся, танцую накануне завтрашнего прощания?

Я поспешно переменил направление полета, и вскоре лишь серебристый отблеск на тучах указывал место, где скрылась из виду Меория.

Не знаю, как долго я летел. По временам внизу подо мной проплывали города, похожие на огненные пятна, от которых в темноте отходили тонкие, освещенные нити дорог; моя машина иногда попадала в воздушную яму, стекла мутнели от оседавшей на них влаги, несколько раз я видел над собой звезды. Потом впечатления этой ночной поездки стали смешиваться с сонными видениями. Когда я очнулся, за стеклами громоздились огромные тучи, вверху черные, внизу ярко освещенные. Я решил, что приближаюсь к какому-то городу, и начал опускаться. Тучи расступились, я увидел землю, залитую светом, но это не был населенный пункт. Со слабым толчком геликоптер приземлился.

Выйдя из машины, я очутился в аллее пустого парка, наполненного голубым сиянием. Группы елей пламенели подобно холодным факелам, а возвышавшиеся надо мной кроны каштанов излучали свет, как звездные скопления. Это под воздействием невидимых источников ультрафиолетовых лучей светились зеленые части растений. Каждый лист, каждый побег, каждый стебель травы был источником фосфорического излучения. Я двинулся вперед по тропинке, темневшей в море света, как черный поток в расплавленных берегах. Мертвыми, темными были лишь стволы и, как бы наперекор празднику, чашечки цветов. Вездесущий, льющийся отовсюду свет придавал всему сказочный характер; при малейшем ветерке непо-

движные гроздья света распадались, над кустарником бились волны пламени, а высокие кроны деревьев качались, как охваченные огнем корабли.

Я дошел до фонтана, окруженного цветочными клумбами. Тысяча радуг отражалась в его струях. У бассейна стояла каменная скамья. Я сел на нее и стал рассматривать парк. Его серебряные массивы были прочерчены черными кружевами веток. Вновь мной овладело сонное состояние. Я принял его, как благодеяние, каменная скамья показалась мне вожделенным ложем, и я закрыл глаза.

...Я лежал на горячем песке пляжа. Солнце стояло высоко, был час отлива, море удалялось от берега, и лишь одинокие волны возвращались с шумом, обливали меня и вновь отступали, пока, наконец, не ушла последняя, оставив меня одного на сухом берегу.

Я открыл глаза. Откуда-то донесся слабый плач. Я поднял голову — плач слышался где-то близко. Совершенно разбитый, с затекшими ногами, я встал и обошел круглый бассейн. На такой же каменной скамье по другую сторону фонтана, свернувшись калачиком, лежал маленький ребенок — мальчик лет четырех. Увидев меня, он перестал плакать. Оба хмурые, мы в недоумении долго смотрели друг на друга. Ему первому надоело это.

— Ты что тут делаешь? — спросил он меня.

— А что ты тут делаешь? — сказал я, стараясь придать голосу серьезность.

— Я заблудился.

— Где же твои родители?

— Не знаю.

— Как ты попал сюда?

— Прилетел.

Задав еще несколько вопросов, я узнал, что он приехал с родителями на экскурсию и обязательно хотел посмотреть коня.

— Какого коня?

— Разве ты не знаешь? А я думал, ты тоже смотрел коня.

Оказалось, что рядом с парком был зоологический сад. Мальчик побывал в нем с родителями, но до коня они не дошли. Отец сказал: «Пора возвращаться. Садись в самолет. Во время полета ты посмотришь коня по телевизору».

Но мальчик хотел погладить коня. Поэтому, войдя в самолет, он тут же вышел из него в другую дверь. Никто этого маневра не заметил. Свой наручный телеэкран, соединенный радиоволной с телеэкранами родителей, чтобы те всегда могли знать, где он находится, мальчик снял с руки и спрятал под кресло. А потом пошел к коню. В сумерки вернулся в парк, но родителей там не было. Он долго ходил по аллеям парка и кричал, но не нашел никого. Наконец увидел эту скамью. Попытался уснуть на ней, но не мог.

— Боялся?

Он не отвечал. Что мне было делать с ним? Я спросил, где он живет. Этого он не знал.

— Сколько солнц светит над твоим домом? — спросил я, подумав немного.

— Два.

— Точно — два?

— Нет, одно.

— Значит, не два, а только одно?

— Одно.

— Это верно?

— Может быть, верно.

С такими сведениями многого не сделаешь. Отвезти его в ближайший порт воздушных сообщений? Вдруг он перебил мои размышления:

— Ты тоже заблудился?

— Нет. Почему это тебе пришло в голову?

— Просто так.

— Взрослые никогда не могут заблудиться, — сказал я энергичным тоном.

Мальчик посмотрел на меня внимательно, но ничего не ответил. Он громко раскашлялся. Это определило дальнейшее. Хотя мне никогда не приходилось прибегать к тревожному сигналу, я знал, что делать в этом случае. Я укутал ребенка в пиджак и достал свой телеэкран. Вытаскивая его из кармана, я обнаружил еще какой-то круглый предмет: золотистый шарик с крапинками, который я поднял на ракетном вокзале. Я дал его мальчику и нашел на краю телеэкрана кнопку, на которую мне никогда еще не приходилось нажимать. Вокруг нее краснела надпись: «Общий вызов». Я нажал на кнопку, и в аппарате послышался шум: человеческие голоса,

свист автоматических станций, сигналы далеких судов, гул ракетных передатчиков, отрывки слов, музыки, песен, — все это, слившееся в миллионоголосый шум, доносилось из небольшого плоского ящичка. Я наклонился над аппаратом и тихо — мне не хотелось, чтобы меня услышал мальчик, — сказал:

— Внимание! Человек в опасности!

Я повторил это трижды и стал ждать. В глубине маленького репродуктора что-то затрепетало. Там росла тишина, охватывающая все более широкие круги, словно кто-то бросил камень на бескрайную водную поверхность. Десятки тысяч голосов умолкали, раздались сигналы ожидания.

— Прием! — слышалось в репродукторе. — Внимание, прием!

Еще кто-то о чем-то спрашивал, кое-где еще были слышны быстрые группы импульсов передающих станций, а мои слова передавались трансляционными станциями все дальше и дальше; казалось, что я слышу эхо собственного голоса, который в течение малой доли секунды облетел весь земной шар и затем через направленные передатчики был послан в бесконечные пространства. Вот через секунду ответили космодромные станции на искусственных спутниках и Луне; они приняли вызов и перешли на прием. Вся сфера, в которой господствовал человек, замерла, и легкий шум репродуктора в телеэкране прерывался лишь никогда не прекращающимся тиканьем атомных часов обсерваторий. Вдруг один пилот с Луны задал вопрос: «Что случилось?» Какой-то голос приказал ему немедленно выключить передатчик; воцарилась тишина. Это было на пятой секунде моего вызова. А через шесть секунд я начал, как полагалось, коротко, по-деловому, рассказывать: найден ребенок, зовут его Пао, трех с половиной лет, глаза карие. Потом вновь наступила тишина, простреливаемая короткими сигналами трансляционных станций, и вдруг одновременно ответили две из них. Они сообщили, что есть заявление родителей, они уже пять часов ждут сообщений о ребенке. А потом, на двадцать второй секунде, все прерванные связи были возобновлены, все станции кораблей и ракет заработали вновь, автоматы закончили прерванные было фразы, люди стали смеяться и

разговаривать, и снова в миниатюрном репродукторе послышался, то усиливаясь, то замирая, привычный шум.

Родителей мы ожидали еще два часа. Сначала мы с мальчиком играли в мячик: я бросал ему, а он — мне, серьезно, без малейшей улыбки, почти печально, и я заметил, что он собирается плакать. Тогда я вспомнил, что одержал победу в марафонском беге. Это была замечательная идея! Я рассказал ему все с начала и до конца самым подробным образом; он вначале выразил некоторые сомнения, но лавровая ветка убедила его. В самый драматический момент я сделал паузу, но дальше говорить не пришлось: мальчик спал, положив голову мне на плечо. На его щеках были грязные пятна — следы размазанных слез, время от времени он всхлипывал.

Когда над холмистым, покрытым лесом горизонтом заалела розовая полоска зари, сад внезапно угас, словно на него дунули. Почти одновременно я услышал отдаленный гул: это летели родители Пао. Тогда при мысли, что придется разговаривать с ними, может быть даже объяснять, как я очутился здесь, что они будут благодарить меня и приглашать к себе, я почувствовал испуг. Как можно осторожнее уложив мальчика на каменной скамье, я подложил ему под голову свернутые рукава куртки, вложил в руку шарик и помчался к своему геликоптеру, словно за мной гнались. Когда я поднимался в воздух, прямо в глаза мне сверкнул первый луч восходящего солнца.

21 июля 3114 года я в последний раз увиделся с Анной. Мы встретились на маленькой станции Порсангер, расположенной над фиордом того же названия, на линии прямого сообщения Евразия — Америка. По круто поднимавшейся вверх извилистой тропинке мы взобрались на вершину прибрежной скалы, время от времени останавливаясь, чтобы перевести дух. Снизу доносился ропот невидимого моря. На самой вершине скалы нас охватил порывистый ветер. Опустив руки, мы остановились с бьющимися сердцами. Внизу происходила непримиримая битва двух стихий. Скала застыла, как бы в предчувствии поражения, море неустанно атаковало ее шеренгами черно-белых волн, которые с грохотом бились о ее подножие.

— Ты попрощался с Землей? — не глядя на меня, вполголоса спросила моя подруга.

— Прощаюсь, — ответил я также негромко.

Анна легкой походкой приблизилась к нагромождениям скал и нашла место, словно специально созданное для нее и ожидавшее ее много веков. Я всегда со скрытым удивлением замечал, что она умела без труда находить в самой дикой глуши удобные местечки.

— С кем ты виделся? — спросила она.

— Я побывал сегодня дома, у профессора Мураха, у друзей. Я оставляю всех здесь, Анна.

Эти слова прозвучали как жалоба, хотя я не собирался жаловаться.

— Так все получилось... — добавил я, как бы оправдываясь.

— А я — последняя, — сказала она.

Мы смотрели не друг на друга, а на белые гряды волн, надвигавшиеся из черного океана. Казалось, будто приближается горизонт, будто море замерло на месте, а мы несемся через него, стоя неподвижно на вершине скалистого обрыва, и волны расступаются перед нами.

Она спросила, сколько времени протянется путешествие. Я удивленно посмотрел на нее: об этом уже говорилось несколько раз.

— Около двадцати лет, — сказал я.

— Скорость «Геи» будет превышать половину скорости света?

— Да.

Казалось, что она вглядывается в даль, но мое внимание было привлечено еле уловимым движением ее губ. И мне стало понятно: она считала.

— Путешествие продлится около двадцати земных лет, — сказала она, — но благодаря скорости движения корабля вы станете старше лишь на... — И она замолкла, как бы сомневаясь в своих подсчетах.

— ...на пятнадцать или на шестнадцать лет... — И я замялся, увидев ее непонятную улыбку.

— Когда ты вернешься, я буду старше тебя, — объяснила она.

Я не знал, что ей ответить. Устремив взгляд на непрерывно шумящий океан, я чувствовал, как разделяет нас молчание, которое недавно соединяло.

— Анна!—в отчаянии воскликнул я.—Кажется, я был честен в отношениях с тобой, нам было хорошо вместе, и мы могли...

— Зачем ты это говоришь? — спросила она, продолжая смотреть вперед, как бы в полусне. Ее спокойствие усугубляло мое одиночество.

— Я говорю то, что чувствую сейчас: мне кажется, что мы чужие, Анна, но ведь это же неправда? Это не может быть правдой...

— И, однако, это правда, — печально улыбнулась она.

— Анна!

Я хотел обнять ее, но она мягко отстранилась.

— Если бы я была другой, то ты, наверное, не прощался бы со мной последней...

— Может быть, ты и права, но разве об этом нужно говорить сейчас?

— Ты хотел бы каких-нибудь слов, нежных или печальных, которые были бы своеобразным симфоническим финалом нашего знакомства? — сказала она с легким оттенком насмешки. Она уже не улыбалась. — А если бы я сказала тебе сейчас, что хочу...

— Перестань, пожалуйста, шутить! — возразил я.

Она рассмеялась.

Ее смех заставил меня смутиться, но это продолжалось одно мгновение. Потом пришла мысль, которая часто возникала у меня, когда Анна была рядом. «Вот, — думал я, — другой человек, огромный и замкнутый мир, открывшийся мне одному. И теперь этот мир уходил от меня, нас уже разделяет пропасть, которую наша близость не в состоянии преодолеть».

Я прикоснулся к ее руке, она посмотрела мне в лицо. В ее глазах вспыхнул огонек — теплый, мягкий, ласковый.

— Анна, — прошептал я, — я так мало знаю о тебе, а ты — обо мне. Но я хочу, чтобы ты знала, как много благодаря тебе...

— Какой ты глупый и упрямый! — сказала она. — Опять эти гладкие фразы?

— А что же делать? — спросил я, как ребенок.

Она коротко рассмеялась, но сразу же стала серьезной и, откинув голову, сказала:

— Не знаю. Пожалуй, поцеловать меня... Другого выхода я не вижу.

Я обнял ее. Мы смотрели друг другу в глаза. Я без труда мог бы среди всех оттенков небосклона найти цвет ее глаз, в которых, как в маленьких небесах, отражались сейчас два крохотных солнца.

Она встала и внимательно, как бы недоверчиво, осмотрела себя в маленькое зеркало, причесывая волосы моей гребенкой. При мысли, что я вижу ее в последний раз, бесконечное сожаление, которого я не мог высказать, сдавило мне горло.

— Уже вечер, ты опоздаешь на самолет, — сказала она.

А когда я поднялся, взяла меня под руку маленькой, но сильной рукой:

— Осторожней, медведь, а то как бы вместо звезды не полететь в воду...

«ГЕЯ»

В древние времена люди были узниками пространства. На Земле они знали лишь одно место — где родились, жили и умирали. Первым путешественникам пришлось преодолевать густые леса, ревущие реки, непроходимые горные цепи. Континенты, разделяемые океанами, были так же далеки друг от друга, как отдаленные планеты. Как были изумлены финикийцы, когда, очутившись на своих кораблях в Южном полушарии, увидели, что солнце движется справа налево, а серп луны поднимается из-за горизонта за тропиком Козерога двумя красноватыми рогами вверх.

Пришло время, когда на картах земного шара стали стираться белые пятна, время длительных, тяжелых и героических путешествий на утлых парусных суденышках — эпоха Колумба, Магеллана, Васко да Гамы. Но Земля продолжала оставаться огромной, и, чтобы объехать на корабле вокруг нее, иногда нужна была целая жизнь. Многие из первых путешественников, отправившись вокруг света, так и не увидели больше родины. Лишь в эпоху машин наша планета начала уменьшаться. Кругосветное путешествие стало длиться месяцы, недели, потом дни, и тогда оказалось, что, завоевывая про-

странство, человек затронул то, что всегда казалось ему самым нерушимым: время.

Теперь каждому из нас приходится во время путешествия догонять угасающий день, удлинять или сокращать ночь, а при полете против вращения Земли внезапно перескакивать день недели. Это стало настолько обычным, что никто не задумывался над такими фактами; люди, работающие на искусственных спутниках, привыкают к их местному времени с ритмом сна и бодрствования, более коротким, чем земные сутки, но без труда меняют привычки, возвратившись на Землю. Да, сократилось пространство, перестало быть абсолютным время, но завоеванная благодаря этим обстоятельствам свобода пока еще незначительна. Даже на кораблях звездоплавателей, возвращающихся из далеких экспедиций к орбитам Сатурна или Плутона, время разнится по сравнению с земным на три, четыре, самое большее на пять дней.

На корабле, отправлявшемся за пределы солнечной системы, на звезду Проксима Центавра, должно было возникнуть двойное время. Одно, протекающее с постоянной скоростью, оставалось на Земле, другое, измеряемое на «Гее», должно идти тем медленнее, чем быстрее будет двигаться ракета. Разница, накопившаяся в течение всего путешествия, составит несколько лет. Какое это странное и великое событие: теории и факты, проверенные лишь по отношению к явлениям, происходящим на звездах, начинают управлять человеческой жизнью! Мы должны будем вернуться на Землю более молодыми, чем наши сверстники, которые оставались там, поскольку в мельчайших молекулах всего, что понесет с собой «Гея» — вещей, растений и людей, — время будет двигаться медленнее, чем на Земле. Трудно сказать заранее, каковы будут результаты этого, когда путешествия за пределы солнечной системы станут обычным явлением.

Так рассуждал я на маленьком аэродроме, расположенном в сухой, покрытой травой впадине, среди березовых и ольховых рощ. Меня уже ожидала ракета с «Геи», один из тех занятных реактивных снарядов, которые, приземляясь, расставляют в воздухе три ноги и садятся на них вертикально, образуя нечто похожее на древнюю амфору с горлышком, превращенным в носовую часть ракеты.

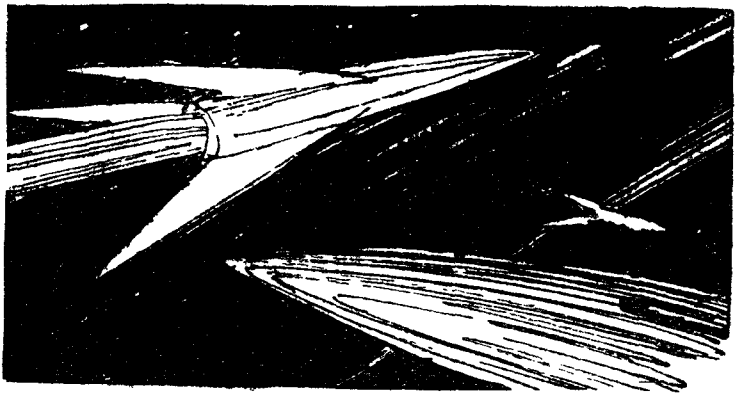
Я уже простился со всеми людьми, памятными местами и предметами. Внешне веселый и спокойный, но чувствуя глубоко скрытое волнение, я был готов к путешествию и все же отодвигал мгновение отлета. Укрывшись в длинной тени, отбрасываемой ракетой, я смотрел на группу елей, синевших невдалеке в лучах солнца. Все вокруг было неподвижно в этот тихий теплый вечер. Пушистые головки цветов, усталые от жары, склонялись на стеблях; какая-то птичка запела поблизости и, напуганная собственным голосом, замолкла. И мне надо было одним движением оттолкнуть все это как пловцу, который отталкивается от берега! Рядом со мной благоухали фиолетовые цветы, названия которых я не знал; я наклонился, чтобы сорвать их, но выпрямился с пустыми руками. Зачем? Ведь они увянут! Пусть лучше останутся такими, какими я их видел в последний раз. Я поднялся на ступеньки и обернулся еще раз: стройные ели уходили в небо, их темную хвою в тысячах мест пронизывал красный отблеск заката. Мне хотелось улыбнуться, но весь я был словно налит какой-то странной тяжестью и не смог этого сделать.

— Можно лететь,—машинально проговорил я, наклоняя голову у входа в ракету.

— Можно лететь,— сказал или, вернее, прошипел пилот-автомат.

Ракета вздрогнула и рванулась вверх. Сквозь иллюминаторы я видел, как быстро уходила вниз Земля. В кабине стало светлее: солнце еще раз взошло для меня в этот день и величественно поднималось все выше и выше. Однако это продолжалось недолго: небо вначале побледнело, словно раскаленное, затем посерело и почернело. Показались звезды. Я не хотел теперь смотреть на них и, положив руки на спинку стоявшего впереди пустого кресла, сидел неподвижно.

Далеко внизу, за иллюминатором, пылал ослепительный шар в ореоле лохматых языков пламени — Солнце. Впереди, среди мириадов неподвижных звезд, засверкали и стали быстро приближаться разноцветные ожерелья огоньков: это были световые маяки, расположенные спиралями вокруг «Геи». Они отмечали пути движения грузовых, пассажирских и индивидуальных ракет, подобных той, на которой летел я. Целые рои таких ракет ви-

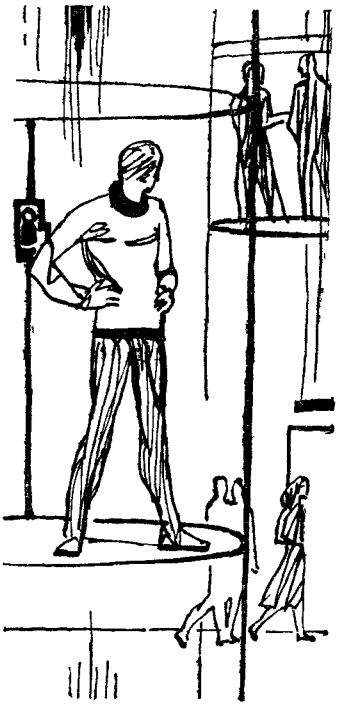


лись вокруг корабля. Мы пролетели над ним дважды: очевидно, ракетодром «Геи» был перегружен. Наконец я принял сигнал, разрешающий посадку. Ракета описала положенную окружность, и меня ослепили серебристые лучи: это был свет наших собственных прожекторов, отраженный оболочкой «Геи». Висевший неподвижно корабль рос, как будто кто-то надувал гигантский баллон из чистейшего серебра. Потом он перестал сверкать и потемнел: наша ракета обогнула его. Гигантский корпус корабля рос с огромной быстротой, закрывая собой небо. Легкий толчок, мгновение мрака, и снова запылали огни, но уже с другой стороны.

Я вышел из ракеты, и эскалатор понес меня вверх, на боковую неподвижную террасу, выступавшую над лестницей. Под ней, тремя ярусами ниже, находился грузовой ракетодром. Среди матовых стальных лент транспортеров двигались, стучали, трещали и скрипели шагающие погрузчики и краны, передвигавшиеся утиным шагом по мосткам, где приземлялись ракеты.

Круглые входные люки непрерывно открывались и закрывались, как рты судорожно дышащих рыб; грузовые ракеты вылетали из туннелей, выбрасывали груз на бесконечные конвейеры; в глубине зала у стен искрились синие, красные и зеленые лампочки сигналов. Все огромное помещение наполнял глухой, монотонный грохот. В различных местах зала виднелись похожие на улитки

звукопоглотители, благодаря действию которых шум здесь был сравнительно невелик.



Я вошел в лифт. В его стене виднелся микрофон информатора; я спросил, где находится технический руководитель экспедиции инженер Ирьола. Он был на девятой палубе, и я отправился туда. Стены колодца, по которому двигался лифт, были из прозрачной стекловидной массы, и, поднимаясь, я видел лифты, сновавшие вверх и вниз в соседних колодцах. В них можно было рассмотреть фигуры людей, окруженные молочным ореолом, настолько туманные, что узнать их было невозможно. Рядом промелькнула освещенная клетка лифта-экспресса. Он шел вверх, обгоняя тот, в котором поднимался я. В нем стояли двое; один спиной ко мне, другого я смог сравнительно хорошо рассмотреть: это был крупнейший ученый нашего времени, участник экспедиции Гообар.

Лифт остановился. Я очутился в просторном коридоре. Слева, в нескольких метрах от меня, виднелись дверные ниши, справа тянулась стеклянная стена. От нее, казалось, исходил тусклый свет, какой исходит от пасмурного неба. Идя по коридору, я заметил, что свет то усиливается, то ослабевает. Мне казалось, будто я иду по опушке огромного леса.

«Смешная иллюзия», — подумал я и подошел ближе к стене.

Но внизу действительно расстилался огромный парк. С возвышения, на котором я находился, были видны кроны дубов и буков, лениво раскачиваемые ветром, ярко-зе-

леные газоны, кустарники, цветочные клумбы, аллеи и пруды, в которых отражалось небо и тучи, рощи и лужайки, покрытые молодой, еще желтоватой зеленью, а вдали, посреди моря лиственных деревьев, темнели отдельные группы елей. Этот лесной пейзаж тянулся до самого горизонта, закрытого облаками. Меж хребтов темно-синих скал бежал пенистый поток, на берегу над обломками порфира стояло несколько кипарисов. Первое поразившее меня впечатление рассеялось.

«Видеопластическая панорама», — подумал я.

В это время кто-то положил мне руку на плечо. Передо мной стоял высокий, сутуловатый человек с темно-рыжими вьющимися густыми волосами. У него было молодое сухощавое лицо, большой тонкогубый рот. При улыбке лицо его покрывалось множеством мелких морщинок и обнажались очень белые, острые зубы. Я узнал его раньше, чем он заговорил.

— Я Ирьола, — сказал он, — конструктор. Мы немного знакомы.

Он крепко пожал мою протянутую руку, а потом легко разжал ее и пощупал ладонь.

— Гребец? — спросил он с сердечной улыбкой.

Я кивнул головой.

— С этим делом у нас будет плохо. Но ведь ты, доктор, еще и бегун?

Этот спортивный допрос развеселил меня.

— Бегаю, — ответил я, — но боюсь, что там, — и я показал рукой за стекло, — бегать нельзя. Там ведь нет ничего, правда?

— Почему же? — ответил он. — Это настоящий сад. Разве только поменьше, чем кажется отсюда.

Ирьола вновь улыбнулся. В его лице, в сияющих глазах было что-то привлекательное; в нем чувствовалась хитринка, лукавый юмор. Он смотрел на меня, часто мигая, словно обдумывая те немногие слова, которые услышал от меня.

— Доктор, — сказал он, — «Гея» — дьявольски большая и сложная штука, а наше путешествие еще более сложное дело. Знаешь что? До того, как принять власть над своим королевством, удели-ка мне пятнадцать минут, ладно?

Удивленный таким вступлением, я еще раз кивнул го-

ловой. Он взял меня за руку и повел к ближайшей нише. Мы спустились на лифте. Я считал ярусы: лифт остановился на втором. Двери открылись. Прямо перед нами в густом полумраке свисали переплетенные листья плюща. Под подошвами заскрипел песок, повеяло свежим запахом хвои. Я остановился в изумлении. Во все стороны тянулось холмистое пространство, покрытое густым кустарником, среди которого живописно возвышались известняковые скалы, уходившие к самому горизонту, где синеватыми пятнами выделялись лесные массивы.

— Хорошо сделано! — вырвалось у меня.

Ирьола посмотрел на меня. Лицо его помрачнело.

— Постой, — сказал он, — ты обещал уделить мне пятнадцать минут.

Мы спустились по маленькой полянке, покрытой зеленью; дорогу преграждали кусты цветущей сирени. Мой проводник без колебаний нырнул в них. Я двинулся за ним. Кусты обрывались над ручьем, пенившимся в каменистых берегах. Ирьола перескочил через него. Я последовал его примеру. На противоположном берегу инженер легко взобрался на большой обломок скалы и показал мне место рядом с собой.

Мы молчали довольно долго. Здесь ветер был сильнее; он приносил запах смолы и, казалось, усиливал прохладу ручья, рассыпавшегося брызгами у наших ног. На другом берегу, в излучине, стояли величественные и мрачные канадские сосны, а подальше — огромная северная ель с серебристо-голубой хвоей; ее корни, похожие на медвежьи лапы, извиваясь, скрывались в расселинах скалы. Я стремился открыть место, где настоящий парк переходит в видеопластический мираж, созданный хорошо укрытой аппаратурой, но не мог заметить ни малейших следов такого перехода. Иллюзия была полной.

— Доктор, — тихо сказал Ирьола, — не знаю, слышал ли ты, что я являюсь одним из конструкторов «Геи». Пожалуйста, не считай ее сборищем хорошо спроектированных машин. Подумай, разве, вычерчивая ее будущие формы, предусматривая необходимые и полезные приборы, находящиеся в ней, мы не планировали самого важного: того, что «Гея» будет единственной частицей Земли, которую мы уносим с собой?..

Ирьола говорил так тихо, что я вынужден был напря-

гать слух. Порывы ветра и шум воды, бурлившей в обломках скал, иногда заглушали его слова.

— Это не обычный корабль. Твой взгляд будет останавливаться на его стенах, как только ты проснешься, здоровый или больной, за работой или в часы отдыха, — день за днем, ночь за ночью, много лет подряд. Его машины, стены, вот эти камни, вода и деревья будут единственным зрелищем для твоих глаз; этот воздух будет единственным, который смогут вдыхать твои легкие. Эта бедная, тесная, ограниченная со всех сторон, но все же настоящая часть Земли будет не твоим кораблем, а твоей страной, доктор. Твоей родиной.

Он помолчал.

— Так должно стать... иначе тебе будет очень тяжело. Очень плохо и тяжело. Я знаю, что если даже ты испугался, то никогда не скажешь мне об этом и не откажешься от участия в путешествии. Впрочем, ты и не смог бы этого сделать. Поэтому только от тебя самого зависит, станет ли это путешествие, вернее — жизнь, самой полной свободой или же самой тяжелой необходимостью. Я уже кончил, хотя пятнадцать минут еще не истекло. Я сказал это тебе потому, что... Продолжать, или ты в душе посылаешь меня ко всем чертям?

— Говори, Ирьола.

— Это ты победил Мегиллу?

— А какое это имеет отношение...

— Прямое. Ты победил всех, правда?

— Да.

— Дай-ка руку.

Взяв мою руку, он потянул меня за собой. За скалой, на которой мы сидели, высилась другая, третья. Мы поднялись на вершину. Сбегавший по долине ручеек сверкал серебристой змейкой. Ирьола коснулся моей рукой склона скалы. Я приготовился встретить его холодную шероховатую поверхность, но пальцы прошли сквозь камень и уперлись в гладкий металл. Я понял: именно здесь проходила граница сада, тут кончались настоящие деревья и скалы и начиналось виденье, вызванное волшебством видеопластики: далекие леса, пасмурное небо, горы над нами...

— А этот ручей? — спросил я, указывая на змейку, которая, казалось, разбивалась внизу, на камнях.

— Под нами самая настоящая вода: ты можешь купаться в ней сколько угодно, — ответил Ирьола, — а там, выше... что ж, скажу твоими же словами: хорошо сделано!

Он отпустил мою руку, и рука до самого локтя вошла в скалу, которой в действительности не существовало. Зрение лгало осязанию.

Я поднял руку, и иллюзия восстановилась.

Выходя из парка, я спросил инженера:

— Откуда ты меня так хорошо знаешь?

— А я тебя совсем не знаю, — возразил он.

— И все же ты знаешь обо мне...

Он улыбнулся так, что я не закончил фразы.

— Кое-что, конечно, я о тебе знаю, но это совсем не то. Ведь мне все надо знать: для машин я хозяин, но для людей — товарищ.

— Ты говорил о состязаниях по бегу. Разве здесь можно бегать?

— А как же? Вокруг парка идет беговая дорожка, и неплохая к тому же. Будем бегать... и, может быть, ты сумеешь победить меня, хотя я в этом совсем не уверен. Я бегаю на более короткие дистанции: на три и на пять километров. — Он посмотрел на меня, хитро усмехнулся и добавил: — Но, если ты очень захочешь, то победишь и меня...

Мы умолкли. Выходя из лифта на четвертом ярусе, Ирьола заговорил вновь:

— Все это слова, и больше ничего. Мы говорим — будет трудно. А догадываемся ли мы, что это значит? Цивилизация расслабила нас, как тепличные растения. Мы полненькие, румяные, но не закалены достаточно, не прокопчены в дьявольском дыму.

«Что это ему все дьяволы в голову лезут?» — мелькнуло у меня в голове, но вслух я сказал:

— Ну, не такие мы тепличные растения, как ты говоришь, а полненьким тебя и вовсе никак нельзя назвать.

— Будем делать свое дело, правда?

В знак согласия я закрыл глаза, когда же вновь открыл их, Ирьола уже исчез, словно его украл один из дьяволов, которых он поминал.

«Исчез, как будто и сам он не что иное, как видеопластическая иллюзия», — подумал я.

Я спросил информатора, как пройти в больницу, и отправился туда.

Вновь короткая поездка в лифте сначала вверх, затем по длинному наклонному колодцу с опаловыми стенами. В больницу вел широкий коридор. На его золотисто-кремовые стены падала голубая тень листвы. Окон не было. Тени на стене явно колебались. словно от ветра. «Что-то многовато сюрпризов, и кое-какие — слишком театральны!» — подумал я

Я быстро осмотрел предназначенное мне помещение: несколько небольших светлых комнат, рабочий кабинет с окнами, открывающимися на море — видеопластический мираж, конечно. Я подумал, что этот вид будет вызывать у меня тоску.

От больничных палат мое жилье отделял сводчатый коридор, посредине которого в майоликовом горшке, вделанном в паркет, стояла тяжелая темная араукария. Ее иглистые лапы были разбросаны далеко по сторонам, как будто она стремилась схватить того, кто проходит мимо, и тем напомнить ему о своем существовании. Двойные двери закрывали вход в малый зал. В нем много стенных шкафов, радиационных стерилизаторов, вытяжных труб; в боковых нишах, закрытых стеклянными дверцами молочного цвета, — химические микроанализаторы, посуда, реторты, электрические нагреватели. В следующем, большом зале — еще более безупречная белизна, сверкающие, как ртуть, аппараты, кресла из эластичного фарфора. Высокие, расположенные полукругом окна смотрят на широкое поле, покрытое зреющей пшеницей, по которому ходят тяжелые волны.

В другом конце зала покатый пол упирается в матовую стеклянную стену; я не пошел туда, догадываясь, что за этой стеной расположена операционная. Сквозь стеклянные плиты молочно-белого цвета рисовались еле заметные очертания различной аппаратуры и похожего на однопролетный мост хирургического стола.

Подойдя к следующим дверям, я услышал за ними легкие, частые — несомненно женские — шаги и остановился как вкопанный: «Там Анна!»—мелькнула безумная мысль. Но я немедленно прогнал ее и вошел в комнату. У большого окна стояла женщина в белом. За ее спиной тянулся ряд белоснежных кроватей, отделенных друг от

друга матовыми голубыми перегородками. Женщина, очень молодая, была такого же роста, как Анна; ее темные волосы спадали кудрями.

— Анна... — одними губами прошептал я.

Она никак не могла расслышать моего шепота и все же обернулась. Это была не Анна, а другая, незнакомая девушка, более красивая. И все же, подходя к ней, я продолжал искать в этом незнакомом лице черты Анны.

— Ты врач? — спросила она.

— Да.

— Значит, мы товарищи по работе. Меня зовут Анна Руис.

Я вздрогнул и внимательно посмотрел на нее. Но разве это имя носит одна-единственная женщина на свете?..

Плохо поняв наступившую короткую паузу, она улыбнулась и поморщилась:

— Ты удивлен, доктор?

— Нет... то есть... нет, нет, — сказал я, прикрывая замешательство улыбкой. — Просто я слышал раньше твою фамилию, и мне казалось, что она принадлежит мужчине.

Мы помолчали.

— У нас нечего делать, правда?

— Правда,—ответила она немного застенчиво, потом, подойдя к кровати, стала разглаживать и без того гладкое покрывало.

— Что ж, остается лишь желать, чтобы и впредь так было, — сказал я.

Вновь оба умолкли. Одно мгновение я вслушивался в глубокую тишину, которая, казалось, царила здесь повсюду, однако вспомнил, как шумно было на ракетодроме. Значит, тишина объясняется лишь хорошей звуковой изоляцией.

— А судовой больницей руководит профессор Шрей? — спросил я.

— Да, — ответила она, довольная, что наконец найдена подходящая тема беседы. — Но его сейчас нет здесь: он отправился на Землю и возвращается сегодня вечером. Я разговаривала с ним несколько минут назад.

Откуда-то с огромной высоты донесся тонкий, переливчатый стеклянный звук, похожий на чириканье механической птички.

— Обед! — радостно воскликнула моя собеседница.

«Кажется, ей скучно... уже теперь!» — мелькнула у меня мысль.

Анна жила на «Гее» целую неделю и поэтому взялась быть моим проводником по лабиринту коридоров. Широкая движущаяся лестница подхватила нас и понесла над стеклянным потолком центрального парка. Я заметил, что «небо», если смотреть сверху, было совсем прозрачным. Внизу, как под крылом самолета, простирались лесистые холмы.

В фойе столовой я увидел знакомое лицо: это был историк Тер-Хаар, которого я узнал несколько месяцев назад. Он запомнился мне благодаря одному смешному случаю. На приеме у профессора Мураха соседкой Тер-Хаара оказалась семилетняя дочь одного из гостей. Он попытался было позабавить ее, но добился лишь того, что ребенок разразился неудержимыми рыданиями, и мать девочки вынуждена была вывести ее. Оказалось, что историк рассказывал ребенку о том, как в древности люди убивали животных и поедали их. Когда позднее мы остались наедине в саду, Тер-Хаар с обезоруживающей искренностью рассказал мне, что он совершенно теряется при детях. «Стоит мне поговорить с ними пять минут, — сказал он, все еще не оправившись от смущения, — как пот прошибает меня от напряжения, я начинаю искать тему для беседы, и дело обычно кончается примерно так, как сегодня».

Теперь, глядя на массивную, медвежью фигуру, я улыбнулся ему, как старому знакомому. Он меня тоже узнал и потащил вместе с Анной к своему столику в глубине зала. Там уже сидел высокий мужчина. Это был руководитель экспедиции Тер-Акониан.

Когда подошел автомат и, достав из хрустального контейнера горячие кушанья, аккуратно разложил их по тарелкам, я с интересом стал присматриваться к пожилому звездоплавателю. У него была большая, бугристая голова. В коротко подстриженной черной бороде пробивалась седина, придававшая ей оттенок очень старой, закаленной стали.

«Может быть, — подумал я, — отсюда и происходит его кличка «Стальной звездоплаватель».

Столовая продолжала наполняться народом. На ее

лимонно-желтых стенах, окаймленных светло-серебристыми рамами, были изображены сцены из городской жизни в средние века. Сводчатый потолок был, казалось, высечен из огромного куска льда. На столиках горели свечи. Их колеблющийся свет дробился в алмазных гранях и обрушивался на нас лавиной живого пламени.

Тер-Акониан спросил, доволен ли я своим жильем. При этом он поднял голову, и на его лице, заставляющем вспоминать темные, мрачные горы Кавказа, сыном которого он был, неожиданно заблестели голубые глаза ребенка.

— Если хочешь изменить что-нибудь у себя, наши архитекторы в твоем распоряжении, — сказал звездоплаватель, по-своему истолковав мое молчание.

Я сказал, что квартира мне очень нравится. Анне Руис захотелось пальмового вина—она познакомилась с его вкусом на Малайе, где жила довольно долго. Автомат удалился и очень быстро вернулся, неся с ловкостью фокусника две бутылки. От потока людей, вливавшегося через главный вход, отделились и направились к нам еще трое: Ирьола, похожий на него мальчик лет четырнадцати и темноволосая женщина. Издали мне показалось, что ей лет тридцать пять — сорок, но чем ближе она подходила, тем казалась моложе. Я узнал ее: это была Соледад, знаменитый скульптор. Мальчик, подойдя к нашему столику, стал энергично шаркать ногой, и Ирьола сказал:

— Познакомься, доктор, это мой сын Нильс...

Они сели. Нильс Ирьола внимательно посмотрел на меня. Он имел обыкновение так смотреть на соседей, словно те были загадками, требующими немедленного разрешения. Соледад сидела рядом с ним и по временам казалась его ровесницей. На ее маленьком лице выделялись лишь полные губы да сверкающие зубы. Глаза ее были прищурены, обнаженные руки худы, как у девочки, но пожатие ее пальцев было твердым и решительным. Волосы, собранные сзади в пучок, были перевязаны лентой. Иногда она встряхивала ими, как бы желая освободиться от этого раздражающего ее атрибута женственности.

Обед предстоял необыкновенный. В рубиновой рамке светился длинный список блюд, а карта вин напоминала

старинную книжку: ее можно было бы читать часами. На столе стояло столько золотых, синих и зеленых бокалов, чарок, рюмок, тарелочек, что я не понимал, как все это умещается на небольшой шестигранной доске. Анна Руис, профиль которой белел справа от меня на фоне хрустального зеркала, ела с аппетитом. Когда стали разносить жаркое, она испытующе посмотрела в ближайшее зеркало и движением, свойственным женщине с незапамятных времен, поправила волосы. Беседа шла вяло: все внимание обедающих поглощали блюда, в большом количестве подаваемые к столу. В золоте и хрустале сервировки отражались тысячи огней.

Изысканность обеда удивила и даже несколько озадачила меня, однако я молчал, полагая, что надо считаться с местными обычаями, но первый не выдержал Тер-Хаар:

— Уфф! Переборщили! Действовали, должно быть, по пословице: «Что есть в печи, все на стол мечи». Замучили просто!

Мы рассмеялись, сразу создалось непосредственное, веселое настроение. Теперь и Анна и я разом осмелились отказаться от очередного блюда, которое автомат попытался было положить нам на тарелки. Мы завели оживленный разговор о работах по обводнению пустынь на Марсе. Только Соледад в течение всего обеда была рассеянной. Наконец, когда подали замороженный апельсинный мусс, она словно проснулась. Все умолкли, а Соледад, мигая длинными ресницами, обратилась к обслуживающему автомату и спросила:

— *Можно ли достать сухую булку?*

Она получила ее, стала обмакивать в бокал и есть такими мелкими кусочками, словно кормила птичку.

Наклоняясь ко мне, Тер-Хаар прошептал:

— А как тебе нравится вон та фреска на стене? — И он указал на нее вилкой.

Я повернулся в ту сторону, куда он указывал. На картине был изображен город. По бокам улицы возвышались странные дома. Окна у них были пересечены крестообразными перекладинами, а крыши остры, как шапка шута. По бокам улицы шли люди, а посредине по железным рельсам двигался голубой экипаж. Спереди, за стеклом, стоял управляющий им человек в белом па-

рике, одетый в ярко расшитый кафтан; на голове у него была треугольная шляпа со страусовым пером, похожая на пирог, а вокруг шеи — кружевное жабо. Крепко держа руку на рукоятке, он вел свою колымагу, переполненную людьми, высовывавшимися из окон.

Я не вполне понимал, что так рассмешило Тер-Хаара, который беззвучно хохотал, подмигивая мне с видом заговорщика, как расшалившийся мальчишка.

— Ну как, нравится тебе? — вновь спросил он.

Я старался найти какую-нибудь ошибку, анахронизм, думая, что историка именно это могло рассмешить. Я допускал, что он, как специалист, особенно чувствителен к невежеству других в вопросах, связанных с его профессией.

— Мне кажется, — начал я медленно, — что тут дело в окнах... Такие кресты на окнах были только в домах, которые, как бы это сказать, были посвящены религиозным обрядам, не так ли? Потому что крест был...

Тер-Хаар посмотрел на меня, широко раскрыв глаза, затем покраснел и так громко расхохотался, что наступила моя очередь краснеть.

— Милый мой, да что ты говоришь! Окна как окна, этот крест не имеет ничего общего с религиозным мифом! Неужели ты не видишь? Ведь это рельсовый электровагон, так называемый «трамвай», бывший в употреблении на грани XIX и XX веков, а водитель и пассажиры одеты, как придворные французских королей!

— Стало быть, художник ошибся на сто лет. Неужели это так важно? — спросила, беря меня под свою защиту, Анна. — Тогда костюмы менялись почти каждую минуту... Я помню, видела однажды такую картину. Но был ли у них камзол вышитый или нет, а парик белый или темный...

Тер-Хаар перестал смеяться.

— Ладно, — сказал он, — оставим это. Тут моя вина. Мне, во всяком случае, думается, что это невозможно, но вы все, к сожалению, такие полные, такие невероятные невежды в области истории... — Он стукнул вилкой по столу.

— Но позволь, профессор, — возразил я. — Кто же из нас не знает законов развития общества?

— Голый скелет, и ничего больше! — прервал он ме-

ня. — Вот все, что дают вам школы. Вы не проявляете ни малейшего интереса к тому, как жили древние, как они работали, какие у них были мечты...

В эту минуту кто-то из присутствующих в зале встал и спросил, нет ли у кого-либо возражений против легкой музыки. Все хором выразили согласие, и в зале раздалась приглушенная мелодия. Тер-Хаар не проронил больше ни слова до конца обеда. Зал стал пустеть, встали и мои собеседники. Поклонившись, я вышел с доктором Руис, с Анной. Вначале я называл ее этим именем не без известного внутреннего сопротивления, которое, впрочем, скоро улетучилось. Она с необыкновенным энтузиазмом принялась знакомить меня с кораблем.

На нем было одиннадцать ярусов. Двигаясь от носа к корме, мы вначале побывали в небольшой обсерватории, расположенной в носовой части, затем в раскинувшейся на пяти ярусах главной астрофизической обсерватории, где находился сильнейший телескоп «Геи», затем посетили навигационный центр и помещение автоматических аппаратов рулевого управления, разбитых на две группы: одна из них действовала, когда «Гея» двигалась полным ходом, другая вступала в действие, когда корабль попадал в сферу притяжения небесных тел. Потом мы спустились в трюм, где помещались ракетодромы и ангары для транспорта «Геи», осмотрели спортивные залы, детский сад, бассейны, концертный зал, залы видеопластики и отдыха. В конце этого яруса находилась и наша больница. Там, где жилые помещения примыкали к атомным отсекам, занимавшим целую корму, возвышалась мощная металлическая стена, служившая преградой против излучения. Оттуда мы поднялись вверх и обошли по очереди одиннадцать лабораторий: дальше идти я отказался. Анна, заметив, что у меня усталость вытесняет восторг, прикусила мизинец, но подумала мгновение и решила:

— Я знаю, куда мы пойдем теперь! Мы ведь еще не были на смотровых палубах!

Я согласился, и она с торжествующим видом, обрадованная, взяла меня под руку и повела за собой.

В конце широкого коридора виднелся матовый серебристый занавес из плотной материи. Мы раздвинули его и попали в непроглядную тьму.

Довольно долго я ничего не видел. Наконец глаза постепенно стали привыкать к темноте. Мы находились на длинной и широкой палубе. В стене через каждые двадцать — тридцать шагов была дверь, на которую указывала слабая фосфоресцирующая стрелка. Аллея желтоватых стрелок, висевших в воздухе подобно хороводу светляков, уходила так далеко, что последние сливались в сплошную матовую нить. Когда я отвел взгляд от этих светляков и посмотрел в конец палубы, мне в первую секунду показалось, что там ничего нет, но в следующее мгновение я понял свою ошибку: там разверзалась бездна.

Я двинулся вперед к усеянному звездами пространству осторожно, словно опасаясь, что палуба вот-вот оборвется и я полечу вниз головой в бездонную пропасть. Однако мгновение спустя моя вытянутая рука коснулась холодной прозрачной плиты, преграждавшей дальнейший путь.

Я начал различать созвездия. Немного ниже нас сиял, разветвляясь, Млечный Путь. Там мерцали мириады еле видных искр. Кое-где на этом бледном фоне чернели провалами тени мрачных космических облаков. Через несколько мгновений я заметил, что Млечный Путь перемещается, постепенно поднимается вверх, что звезды движутся; внезапно в глубине галереи, в которой мы находились, у самого ее конца ярко засверкал серебристый треугольник. Я стал пристально вглядываться. Светлый участок неба увеличивался и ширился, охватывая все большее пространство и постепенно гася фосфорические стрелки на дверях. Нас озарил яркий свет. Я посмотрел на небо. Внизу сияла Луна — выпуклая, густо усеянная кратерами, огромная, похожая на серебряный плод, изъеденный червями. Погасив близлежащие звезды, она лениво плыла по небосводу. На палубу беззвучно легли густые тени, они все удлинялись, тянулись, как призраки, по стенам и сводам, сталкивались одна с другой до тех пор, пока Луна не дошла до другого полюса «Геи» и не исчезла так же внезапно, как и появилась. В этом не было ничего странного: корабль вращался вокруг своей продольной оси, и на нем создавалось искусственное поле тяготения.

Когда Луна зашла за корму корабля, нас вновь окру-

жил мрак. Вдруг Анна коснулась моей руки и прошептала:

— Смотри... Смотри... Сейчас взойдет Земля...

Земля появилась среди звезд в виде голубого, подернутого дымкой шара, три четверти поверхности которого были затенены. Ее большой серп отливал блеском более мягким, чем лунный: голубым, с едва заметной примесью зеленого. В разрывах туч возникали неясные, как бы размытые очертания континентов и морей. Над невидимым для нас Северным полюсом, обращенным в сторону, противоположную Солнцу, пылала яркая точка: это была собственная звезда Земли, ее полуночное атомное солнце. Снова по палубе побежали, изгибаясь и вытягиваясь, тени; последний луч света, поднявшись к потолку, стал уходить все дальше, и наконец наступила темнота.

— Видел? — совсем по-детски прошептала моя спутница.

Я ничего не ответил. Эта картина была мне хорошо знакома: кто из нас несколько раз в год не совершал полетов в межпланетном пространстве! Но эти полеты были непродолжительны: они длились всего несколько дней, редко — недель, всегда можно было представить себе то, что ждет тебя при возвращении домой. Но сейчас Земля показалась мне недоступной, странно далекой... И, когда стоявшая рядом со мной девушка шептала, прижавшись лицом к холодной плите: «Как красиво!..» — я впервые за долгое время почувствовал себя одиноким.

Во мраке, окружившем нас после захода Земли, медленно двигались, поднимаясь вверх, скопления звезд, и вместе с ними, казалось, величественно восходят огромные, испещренные серебряными искрами скопления мрака, похожие на занавесы, за которыми вот-вот должно открыться нечто неведомое. Но эта иллюзия была мне слишком хорошо знакома...

Потом мы гуляли по палубе, по которой вперемежку с темнотой пробегали полосы то ярко-белого лунного, то голубого сияния Земли. Похоже было, что над нами то поднимались, то опускались гигантские крылья.

Анна рассказала о себе. Вместе с ней на «Гее» был ее отец, известный композитор. Как раз сейчас в кон-

цертном зале исполнялась его Шестая симфония. Меня удивило, что Анна не предложила вместе послушать ее.

— Ах, я ее так хорошо знаю... Ведь отец не смотрит все мои операции, — сказала она.

И я не мог понять, шутит она или нет.

Однако мы все же поехали на концерт. Когда мы подходили к вестибюлю, выложенному плитками хризопраза, зазвучали высокие заключительные ноты финала, и вскоре слушатели начали выходить из зала. Спускаясь по лестнице, они огибали монументальную скалу из вулканита и исчезали в кустарнике, которым встречал их центральный парк «Геи».

Мы остановились на лестничной клетке, не зная, что делать дальше; мне казалось, что девушке мое общество надоело, хотя она добросовестно выполняла роль спутника, вполголоса называя проходивших. Больше всего здесь было астрономов и физиков, меньше — техников и совсем не было специалистов в области кибернетики.

— Автоматы делают за них все, даже слушают концерты, — сказала Анна и засмеялась своей остроте, но смех закончился плохо замаскированным зевком.

Это был уже совершенно недвусмысленный намек, и я, попрощавшись, пожелал ей спокойной ночи. Она побежала вниз, в полумраке обернулась и помахала мне рукой.

Я продолжал стоять на площадке. Людей становилось все меньше: вот прошли трое, за ними еще трое, потом какая-то запоздавшая пара... Я собрался уходить, когда в широком, украшенном колоннами вестибюле появилась женщина. Она была одна.

Ее красота была ни с чем не сравнима и вызывала чувство, похожее на страх. Овальное лицо, низкие дуги бровей, темные глаза, невозмутимо ясный выпуклый лоб — все было похоже на рассвет летнего дня. Законченными, хотелось бы сказать — окончательно сформированными были лишь ее губы, казавшиеся значительно более взрослыми, чем все лицо. В их выражении было нечто такое, что возбуждало радость, нечто легкое, певучее и вместе с тем такое земное. Ее красота изливалась на все, к чему бы она ни приближалась. Подойдя к лестнице, она положила белую руку на шероховатый излом вулканита: мне показалось, будто мертвый осколок на

мгновение ожил. Она направлялась ко мне. Ее тяжелые, свободно падавшие волосы отливали всеми оттенками бронзы. Когда она подошла совсем близко, я удивился: так она была невелика. У нее были гладкие, четко очерченные щеки и детская ямочка на подбородке. Проходя мимо меня, она заглянула мне в глаза.

— Ты один? — спросила она.

— Один, — ответил я и назвал себя.

— Калларла, — в свою очередь, назвала она себя. — Я биофизик.

Это имя было мне знакомо, только я не мог припомнить, откуда. Мы постояли так секунду, и эта секунда показалась мне вечностью. Затем она кивнула мне и со словами: «Покойной ночи, доктор», — стала спускаться вниз по лестнице. Доходившее почти до пола платье скрывало движения ее ног, и я видел лишь легкое колебание ткани. Некоторое время я продолжал смотреть, как она, стройная и гибкая, сходит или, вернее, плывет вниз. Проведя рукой по лицу, я убедился, что улыбаюсь, но улыбка моя вдруг погасла. Я ясно понял: в лице этой женщины было нечто болезненное. Это «нечто» было очень незначительным и незаметным, но оно безусловно существовало. Такое лицо могло быть лишь у того, кто удачно скрывает от любимого человека свое страдание. Заметить его может только совершенно чужой человек, и то лишь при первом взгляде, потому что потом, привыкнув, он не увидит ничего.

«Что ж, — подумал я, — каждый из этих сотен людей, которые идут теперь отдыхать в свои уютные комнаты, взял с собой к звездам все свои земные дела; ведь их нельзя было отряхнуть перед путешествием в бесконечное пространство, как отряхнули мы от наших ног прах Земли!»

ПАРК В ПУСТОТЕ

На следующий день в одиннадцать часов земного времени должен был начаться первый самостоятельный полет «Геи». В зале рулевого управления, имевшем подковообразную форму, в ожидании этой торжественной минуты собрались почти три четверти экипажа.

Астронавигаторы Тер-Акониан, Сонгграм, Гротриан

и Пендергаст, главные конструкторы Ирьола и Утенеуг, атомники, механики, инженеры и техники по очереди переходили от одного аппарата к другому; контрольные лампочки утвердительно мигали, как бы отвечая на задаваемые вопросы. У передней стены возвышался главный пульт управления. Закончив подготовку, астронавты сняли с него чехол, и мы увидели маленький черный пусковой рычаг, которого еще не касалась ничья рука. Повернуть этот рычаг должен был Гообар. Мы ожидали его с минуты на минуту; однако уже пробило одиннадцать часов, а ученый все не появлялся. Астронавигаторы немного смутились; они стали перешептываться друг с другом. Наконец старший из них, Тер-Акониан, связался с рабочим кабинетом профессора.

Поговорив с минуту, Тер-Акониан прикрыл рукой микрофон и негромко сказал окружавшим его астронавигаторам:

— Немного терпения. У него возникла какая-то идея; ее необходимо записать. Через пять минут он будет здесь.

Прошло не пять, а все пятнадцать минут. Наконец за стеклянной перегородкой, отделявшей лифт, появился свет, раскрылась дверь, и вошел или, вернее, вбежал Гообар; вероятно, он хотел наверстать упущенное время. Прежде чем Тер-Акониан успел сказать хоть одно слово — а по выражению его лица и по тому, как он поглаживал бороду, я догадался, что он собирается произнести речь, — Гообар, перепрыгивая через три ступеньки, поднялся на возвышение, спросил ближе всех стоявшего к нему Ирьолу: «Это?» — и поспешно передвинул рукоятку.

Все лампочки погасли в зале; вспыхнули бегущие длинными рядами по стенам прямоугольники; в каждом таком оконце на цветном фоне вздрагивала черная игла. Послышалось слабое жужжание автоматов, корпус корабля чуть заметно вздрогнул, передняя стена его словно раздвинулась, открывая скопления звезд. Загорелась модель «Геи», похожая на пылающий остов рыбы. По мере того, как волны, излучаемые автоматами, управлявшими различными процессами на корабле, включали пусковые реле и трансмиссии, группы гелиоводородных реакторов и взлетно-посадочные устройства, в глубине

модели вспыхивали однообразным розовым светом тысячи нитей.

Гообар, чья темная фигура четко вырисовывалась на фоне звездного неба, спустился вниз и отошел в сторону, покашливая, словно спрашивал себя: «Что такое я тут натворил?» Когда вновь зажглись яркие светильники на стенах зала, все стали искать профессора, но великий ученый исчез, ускользнув, вероятно, в ближайший лифт, и отправился в свою лабораторию.

Теперь Ирьола и Тер-Акониан заняли его место у пульта управления. Плавно и величественно «Гея» сходила с орбиты, которую она послушно описывала вокруг Земли с момента своего создания, удаляясь за пределы притяжения нашей планеты. На ярко светящейся модели было видно, как из ее осевых дюз вытекала ровная струя атомных газов. Корабль начал маневрировать в космическом пространстве. Решив, что лучше наблюдать за этими маневрами со смотровой палубы, я направился к лифту. Я был не одинок: вместе со мной из зала управления двинулись многие.

«Гея» то ускоряла ход, то тормозила, совершала повороты то влево, то вправо, поднималась и опускалась, скользила по сужающейся спирали. За всеми этими движениями, плавными или порывистыми, трудно было уследить; лишь небо вращалось так быстро, что казалось пылающим омутом, по которому, как два паруса, неслись ртутно-белая Луна и голубая Земля. Через несколько минут я почувствовал головокружение от этих звездных фейерверков, сел на скамейку и закрыл глаза. Когда я их открыл вновь, небо было совершенно неподвижно. Это меня удивило: я продолжал чувствовать тяжесть, словно корабль все еще вращался вокруг своей продольной оси. Я спросил Утенеута о причине непонятного ощущения, и тот объяснил мне, что хотя «Гея», действительно, вращается в одну сторону, однако «глаза» телевизоров, передающих панораму пространства, теперь двигаются в противоположном направлении и зрителю кажется, что по отношению к звездам корабль неподвижен.

— Так, значит, мы не видим неба сквозь эти стеклянные стены? — сказал я. — А я-то думал, что это гигантские окна.

В этот момент в толпе, наблюдавшей за небом, послышались возгласы. Я заглянул в черную бездну. Далеко внизу, так что нужно было прижаться лицом к холодной плите, чтобы что-нибудь увидеть, на фоне мириадов звезд переливались маленькие цветные фонарики — розовые и зеленые. Между ними быстро мелькали стройные очертания ракет, похожих на серебряных рыбок, плавающих в черной воде.

Мы пролетали над детским межпланетным парком. Случайно или намеренно, «Гея» замедлила свое движение. Земля осталась за кормой, и ее свет не мешал охватывать взглядом вид, расстилавшийся внизу. Не без волнения я узнавал я так хорошо известную с детства модель нашей солнечной системы, построенную в межпланетном пространстве. Вот Солнце — огромный золотистый шар, охваченный пламенем; неподалеку от него плыл вулканический Меркурий, дальше бежала белоснежная Венера, голубая Земля и оранжево-красный Марс. Еще дальше лениво кружили модели крупных планет: Юпитера, полосатого Сатурна с его кольцами, Урана, Нептуна, Плутона и Цербера. Мы видели, как по «улицам» парка, обозначенным густым ожерельем световых точек, проплывали астрокары с детьми-экскурсантами. Заглушив моторы, они двигались по каналам, отмеченным лучами прожекторов. Вот они миновали пылающее Солнце и стали рассматривать планеты. Проворно описав круг около Меркурия, они подлетели к модели Земли — стеклянному глобусу диаметром в двадцать метров, освещенному изнутри голубыми светочами. Мне показалось, что я слышу возгласы удивления и восторга, какими наполняются астрокары при появлении близнеца Земли. Я попытался отыскать глазами модели Юпитера и Сатурна, но они были слишком далеки и терялись во мраке.

«Гея» долго висела над межпланетным парком, и я подумал даже, не случилось ли что-нибудь. Потом я вспомнил, что астронавигаторы тоже были когда-то детьми.

На третий день нашей жизни на «Гее», заглянув утром в пустую больницу и побывав в операционном зале, я поднялся на лифте на пятую палубу, которую шутя называли городом. Эта палуба представляла собой систему пяти параллельных коридоров, ведущих в два боль-

ших зала. Лифт доставил меня в один из этих залов, овальный, с цветником и белой мраморной скульптурой посредине; в плавно закругляющейся стене открывалось пять входов; каждый из них вел в просторный, похожий на улицу коридор, освещенный разноцветными лампами; посреди коридора была расположена узкая полоса газона, на стенах были нарисованы фасады домов. Только входные двери на этих картинах были настоящие и вели в квартиры. Я пошел по коридору, освещенному лампами лимонно-желтого цвета. Однако бесцельное хождение мне надоело, и я собирался вернуться, как вдруг заметил в отдалении знакомую коренастую фигуру Тер-Хаара. Мы обрадовались, встретив друг друга.

— Изучаешь «Гею»? — спросил он. — Прекрасно! Знаешь, как назывались улицы в древних городах? По профессии их обитателей: Гончарная, Сапожная, Кузнечная... Здесь перед тобой древний обычай в новом виде: здесь — Улица физиков; зеленая — Улица биологов, розовая — Специалистов по кибернетике.

— А зачем разноцветное освещение? — спросил я. — Похоже на какой-то карнавал.

— С одной стороны, для разнообразия, а с другой — для облегчения ориентировки. Так ты не заблудишься в нашем городе. Теперь тебе надо познакомиться с людьми, а это дело более сложное.

Он стоял, слегка расставив ноги, и потирал подбородок.

— О чем ты задумался?

— Да вот думаю, куда нам раньше всего направиться.

Он взял меня под руку. Пройдя несколько шагов, мы остановились перед рисунком, изображавшим домик под соломенной крышей, на которой сидел в гнезде белый аист и смотрел на нас, забавно согнув шею.

— Вот здесь живет Руделик, — остановившись, сказал Тер-Хаар. — Я хочу, чтобы ты с ним познакомился поближе. Он того стоит.

— Это тот самый?..

— Да, знаменитый специалист в области атомной физики.

Он открыл дверь. Мы вошли в небольшую переднюю, в конце которой находилась другая дверь. Историк про-

пустил меня вперед, я сделал еще шаг и замер в изумлении.

Выделяясь на черном, усыпанном звездами небе, перед нами круто поднималось нагромождение камней, прорезанное полосами мрака. За ним возвышались холмы, опоясывавшие гигантской дугой горизонт, и совсем низко над этой каменной пустыней висел тяжелый голубой диск Земли. Я сразу узнал лунный пейзаж. Под ногами лежала скала, изрезанная мелкими трещинами; в шести шагах от меня она обрывалась, как обрезанная ножом. Там, между двумя скалами, свесив ноги в пропасть, удобно расположился молодой человек лет двадцати с небольшим в сером домашнем костюме. Увидев нас, он приветливо улыбнулся и встал.

— Где это мы находимся? — спросил я, обмениваясь с ним крепким рукопожатием.

В это время Тер-Хаар приблизился к самому краю обрыва. Пейзаж, открывающийся отсюда, был волшебным. Гигантскими ступенями опускалась стена, покрытая черными ямами и шероховатыми скалами; дно пропасти, покрытое мраком, было невидимо.

— Мы на северном скате Гадлея, — сказал Руделик, — отсюда открывается самый лучший вид вон на ту стену.

И он, протянув руку, показал на освещенный солнцем обрыв, изрезанный тонкими линиями оврагов. Над обрывом, наклонившись, нависла грибообразная вершина.

— Неприступная, так называемая Прямая стена! — сказал я с невольным уважением.

Во мне проснулось чувство альпиниста, вернее селениста, потому что я не раз участвовал в восхождениях на лунные горы.

— К сожалению, пока — да, — с грустью сказал Руделик. — Я четыре раза ходил туда с братом. Но все еще не сдаюсь.

— И правильно, — сказал я. — Там козырек, пожалуй, выступает метров на тридцать?

— На сорок метров, — уточнил Руделик. — Теперь я думаю, что если бы попытаться подняться в пятый раз вон там, где виднеется небольшое углубление... Видишь?

— А может быть, оно упирается в тупик? — заметил я и хотел подойти ближе, чтобы повнимательнее рас-

смотреть это место, но физик с виноватой улыбкой взял меня за руку.

— Дальше нельзя, а то набьешь шишку! — сказал он.

Я остановился. Мы ведь были не на Луне...

— Ну, и что ты тут теперь делаешь? — спросил я.

— Да ничего. Просто смотрю. Меня это место очаровало... Что же вы стоите, садитесь, пожалуйста. Вот здесь, — указал он на выступ над пропастью.

Мы последовали его совету.

— Хорошая у тебя квартира, — улыбнулся я, не отрывая взгляда от первозданного лунного пейзажа, напоминавшего извержение вулкана, окаменевшее в неподвижности и застывшее так навеки. — И мебель приличная, — добавил я, постукав по скале, которая отозвалась, как ящик, гулким эхом.

Руделик коротко рассмеялся.

— Когда я был в последний раз здесь, вернее — там, — после недолгого молчания продолжал он, — мне в голову пришла одна мысль. Потом я забыл ее и подумал, что следует вернуться туда, где она впервые появилась: может быть, она вновь придет в голову. Знаете, есть такая старинная примета...

— Ну, и что же?

— Мысль не появилась, но убрать этот вид мне было трудно... Однако, кажется, уже пора?

Он наклонился над пропастью так, что я невольно ощутил противную дрожь и протянул к нему руку. Вдруг весь лунный пейзаж исчез, словно на него подули. Мы сидели в небольшой треугольной комнате на письменном столе, свесив ноги вниз. В углу стоял математический автомат, покрытый эмалью янтарного цвета. Низко на стене висела фотография· наклонившись, я узнал горный хребет на Луне, который мы только что видели «в натуре». Снимок был невелик, но местность, изображенная на нем, поражала дикой красотой.

— Ты совершал туда восхождения четыре раза? — спросил я, не сводя глаз с фотографии.

— Да.

Руделик взял снимок в руки и стал рассматривать его внимательно, немного наморщив брови. «Как будто рассматривает чей-то портрет», — подумал я. Ребра скалы на снимке были не больше, чем складки на его лице,

но напоминали ему места, где он упорно боролся, атаковал, отступал...

— Битва за жизнь, — пробормотал я.

Он отложил снимок и бросил на меня быстрый взгляд.

— А ты занимаешься альпинизмом? — спросил он.

Я утвердительно кивнул в ответ.

Он оживился:

— Мой брат говорит — мы можем небольшим атомным зарядом стереть с лица Земли целую горную цепь, потому что мы — владыки природы. Но иногда возникает желание: дать ей время от времени равные возможности. Чтобы бороться с ней один на один, без механических союзников. Так говорит мой брат. Но я бы дал этому другое определение. На Земле мы находимся в таком положении, что малейшее наше желание мгновенно исполняется. Нам покорны горы и бури, пространство в любом направлении открыто перед нами. Но человеку всегда хочется находиться на границе возможностей, там, где уже исследованное, изученное соприкасается с тем, что еще не освоено. Поэтому мы и стремимся в горы.

— Может быть, — согласился я, — но чем же объясняется всеобщий интерес к лунным экскурсиям? Ведь у нас на Земле тоже достаточно много высоких гор, взять хотя бы Гималайский заповедник.

— Вот именно, заповедник! — стремительно возразил Руделик. — А я должен тебе сказать, что всегда предпочитал кататься на лыжах на лунах Нептуна, а не в Альпах, хотя по нашему земному снегу куда лучше скользить, чем по замороженному газу. И все же я, как и многие другие, предпочитал прогуляться на спутник Нептуна. А почему? Да потому, что дикий характер горных районов Земли не совсем натурален. Они существуют только потому, что таково наше желание: мы сохраняем их неприкосновенность. Значит, несмотря на их кажущуюся дикость, они составляют часть нашего «окультуренного» окружения. А на спутниках других планет ты сталкиваешься с природой во всей ее первозданности.

Неожиданно в разговор вмешался молчавший до сих пор Тер-Хаар:

— Не знаю, может быть, у меня слишком сильно развит инстинкт самосохранения или я страдаю самой обык-

новенной трусостью, но, признаюсь, я не люблю карабкаться по горам. Альпинизм никогда не привлекал меня.

— О, это не имеет ничего общего с храбростью, — сказал Руделик. — В свое время в пустынях Плутона работала исследовательская экспедиция...

Он внезапно замолчал и с новым любопытством посмотрел на меня.

— Твой отец врач? — спросил он.

— Да.

— Я знаю его.

Я ожидал, что он продолжит разговор на эту тему, но он возвратился к тому, о чем уже начал рассказывать.

— Экспедиция, кажется, искала месторождения каких-то ископаемых. По окончании работ все ракеты улетели, кроме одной, экипаж которой должен был демонтировать и забрать оборудование. Эта работа по какой-то причине затянулась, и кислорода в ракете осталось лишь столько, чтобы добраться до ближайшей звездоплавательной станции Нептуна. Но в тот день, когда ракета должна была двинуться в путь, один из членов экипажа отправился собирать зонды для определения космического излучения, размещенные на окружающих скалах. Он тоже не любил лазать по горам, но это была его обязанность. На одном из склонов он оступился и в нескольких местах сломал себе ногу. Вдобавок он разбил телеэкран и не мог известить остальных о случившемся. Восемнадцать часов он полз до ракеты. Потом он рассказывал: «При малейшем движении боль так усиливалась, что я не раз терял сознание. Если бы я был уверен, что товарищи улетят раньше, чем кончится запас кислорода, я бы умер, а не двинулся с места. Но я знал, что они не улетят, а будут искать меня и, если это затянется, им не хватит кислорода на обратный путь. Значит, сказал я себе, надо дойти...»

— Его, конечно, ждали? — сказал я.

— Разумеется. Кислород подходил к концу, но они по пути встретили ракету безлюдного патруля, и та снабдила их кислородом. Видишь, Тер-Хаар, человек, о котором я рассказал, тоже не любил ходить по горам. Нет никакой связи между такой чертой характера, как храбрость, и любовью к альпинизму.

— Ты знал этого человека? — спросил я.

— Нет. Его знал твой отец, — ответил Руделик. — Твой отец был врачом этой экспедиции и лечил его.

— Когда это было?

— Давно, лет сорок назад.

Тишину прервал Тер-Хаар.

— Знаете ли вы, — спросил он, — почему девиз ракетных пилотов — пламя?

— Их знак — серебряная вспышка на черном поле, — сказал я. — Там еще есть какие-то слова, кажется — «Сквозь пламя». По-моему, это легко объяснимо: ведь пламя, огонь является источником движения ракеты.

— Возможно, — возразил Тер-Хаар. — Но пилоты любят объяснять это иначе. Существует легенда, которую мне рассказывал Амета. Ты знаешь Амету? Нет? Тебе следует познакомиться с ним. Так вот, ракетные полеты начались в двадцатом — двадцать первом веках. Были жертвы. Рассказывают, что одна из ракет, отправлявшихся на Луну, была в момент старта охвачена огнем. На ней вспыхнули сразу все баки с горючим, занимавшие тогда девять десятых всего объема ракеты. Пилот мог бы сбросить резервуары с горючим, охваченные огнем, но они в таком случае упали бы на город. Поэтому он лишь увеличил скорость. Он сгорел, но сквозь пламя вывел ракету за пределы Земли. Вот откуда эти слова.

— Так ты знаешь моего отца, — сказал я, прощаясь с Руделиком. — Жаль, что мы сказали о нем всего лишь несколько слов. Может быть, ты расскажешь когда-нибудь о нем побольше?

— Конечно, — ответил он, пожимая мне руку. — Но мне кажется, что мы все время говорили о нем.

Идя рядом с Тер-Хааром под лампами коридора, изливавшими желтоватый свет, я был так занят собственными мыслями, что совсем не замечал встречных. Пройдя Улицу физиков, мы очутились в том самом полукруглом зале, с которого я начал свое путешествие. Тер-Хаар сел на скамейку под белой статуей и спросил меня с улыбкой:

— Ну как, хочешь еще?

— Чего? — спросил я, возвращаясь к действительности.

— Людей. Людей «Геи».

— Конечно.

— Хорошо. Куда же мы двинемся?

Он встал и, показывая открывавшиеся перед нами пролеты коридоров, сверкавшие всеми цветами радуги, заговорил торжественно, словно рассказывая какую-то сказку:

— Пойдешь направо — увидишь чудо... ты уже увидел его, — быстро добавил он обычным голосом. — Пойдешь прямо — узнаешь тайну... Ну, пусть будет тайна! Проснись наконец, доктор! Идем.

— Куда?

— Туда, где тайна. На Улицу биологов.

Мы пошли по коридору, освещенному зеленым светом. И тут на стенах были нарисованы домики.

— Здесь живет Калларла, жена Гообара, — сказал историк.

— Жена Гообара? — повторил я.

Калларла было имя незнакомки, которая подошла ко мне в первый вечер на «Гее».

— Да.

— А он тоже тут?

— Он живет здесь же, только с другой стороны, вход к нему с Улицы физиков. Оба жилища соединены внутренним коридором. Но Гообар фактически живет в своей лаборатории.

Открывая дверь, я подумал, что на Земле многое можно узнать о человеке по тому, что находится внутри его жилища. Здесь же, на корабле, о характере обитателя говорит даже вид за окнами, потому что каждый выбирает его по своему вкусу. Не успел я подумать об этом, как двери отворились и я очутился на пороге.

Мы находились в простом деревенском домике, с полом и потолком из некрашеных досок соломенного цвета. Посредине стояли стеклянный стол и кресла с откинутыми назад спинками. На полу у стен было много зелени — простой травы, без цветов. Изнутри эта комната как бы являлась продолжением сада, печально мокнувшего за окнами: там шел дождь. Вдали тянулись тучи — не по небу, а по вершинам холмов. В разрывах облаков иногда показывались черные и рыжеватые склоны, а дождь продолжал лить монотонно, не ослабевая: все время был слышен его легкий плеск, звук струи, падавшей из водо-

сточной трубы, да шум лопавшихся на лужах пузырей. Этот вид так поразил меня своим будничным характером, что я остановился как вкопанный и стоял так, пока хозяйка не появилась передо мной с протянутыми руками.

— Я привел к тебе почти товарища по профессии: нашего доктора, — сказал историк.

В слабом свете пасмурного дня, падавшем сквозь широко раскрытые окна, Калларла показалась мне ниже ростом и моложе, чем тогда, когда я ее встретил впервые; она была одета в домашнее платье из темно-красного материала с таким тонким и запутанным рисунком, словно это был вышитый серебром план лабиринта. Кроме нее, в комнате находились еще двое: девушка с тяжелыми рыжими волосами, падавшими на голубое платье, и атлетически сложенный мужчина.

— Вот Нонна, архитектор, желающий применять свою специальность на других планетах, — сказала Калларла. — А это Тембхара, кибернетик.

— Злые языки говорят, что я создаю электромозги, потому что сам ленив, но ты этому не верь, ладно? — сказал мужчина. Он наклонился вперед, и на его темнокожем лице вспыхнула ослепительная, как молния, улыбка.

Калларла пригласила нас сесть. Я предпочел подойти к окну — так привлекал меня доносившийся оттуда терпкий, густой запах листьев и мокрой хвои. Подняв голову, я увидел, как на краю крыши собираются крупные капли воды, в которых отражается просвечивающее кое-где голубое небо, как капли одна за другой сбегают по карнизу, задерживаются у его края и, будто наконец решившись, бросаются вниз. Я протянул руку, но падающая капля неощутимо, светлой искрой прошла у меня сквозь пальцы. Я удивился не столько этому явлению — я ожидал его, — сколько собственному разочарованию. Опершись на подоконник и ощущая легкое дыхание ветерка, я повернулся к присутствующим. Разговор, прерванный нашим приходом, возобновился.

— И как же ты представляешь себе архитектуру, освобожденную от влияния силы тяжести? — спрашивал Тембхара рыжую девушку.

— Я думаю о конструкциях без вертикальных линий, — ответила она. — Представьте себе двенадцатико-

нечную звезду с лучами, направленными во все стороны. На основных осях я сделала бы анфилады...

Она рисовала рукой в воздухе. Все больше удивляясь, я вслушивался в ее слова.

— Прости, пожалуйста, а из чего? — спросил я.

— Из льда. Тебе, наверное, известно, какое количество воды выбрасывается за пределы Земли вследствие сокращения поверхности океанов. Я стала бы строить дворцы из воды, вернее из льда, который при температуре межпланетного пространства обладает неплохими строительными качествами.

— А, в межпланетном пространстве! — вырвался у меня возглас. — Значит, это будут летающие звездочки-снежинки, увеличенные в миллиарды раз? Но... кто же будет жить в них?

— В том-то и дело, что никто. Желающих нет. Бедная Нонна, она не может строить свои замки и очень горюет поэтому.

— Да, — сказала молодая девушка вздыхая, — я все яснее вижу, что слишком рано попала в эту историю.

— В какую историю?

— Жизнь. Надо было родиться в стотысячном году, может быть, тогда мои ледяные дворцы и пригодились бы на что-нибудь.

— И опять ты выбираешь неудачное время, — сказал Тер-Хаар. — Говорят, что в стотысячном году Солнце, как обычно через каждые четверть миллиона лет, снова попадет в скопление космической пыли и начнется галактическая зима.

— Эпоха обледенения?

— Да. Тогда будет огромное количество льда, и столько нужно будет тратить энергии на то, чтобы его растапливать, что никто и взглянуть не захочет на твои дворцы.

— А Солнце тогда будет красным, как кровь, — сказала в наступившей тишине Калларла.

Все повернулись к ней, но она не произнесла больше ни слова.

— Конечно, — докончила за нее Нонна, — Солнце будет красное, потому что космическая пыль поглотит все лучи, кроме красных.

— Любопытно! Вы говорите об этом, словно сами пе-

режили по меньшей мере десяток таких зим, — вставил Тер-Хаар.

— Мы просто знаем о них, — возразила Нонна.

— Это не одно и то же, — продолжал историк. — Одно дело наблюдать самому, как галактическая весна сменяет зиму, видеть возникновение горных хребтов, образование складок на поверхности Земли, высыхание морей, другое дело — знать обо всем этом. В геологическом масштабе жизнь человека похожа на жизнь бабочки-однодневки. Мы знаем факты, но не можем заранее знать чувства, которые они вызывают.

Вновь воцарилась тишина, лишь дождь шумел за окнами.

— Мне снился недавно странный сон, — тихо сказала Калларла.—Будто я создала в лаборатории искусственные организмы. Это были маленькие розовые существа. Они размножались так быстро, что я видела, как розовая плесень затягивает всю лабораторию, и задумала произвести необычный опыт. Выбрала звезду не слишком жаркую и не слишком холодную, приблизила к ней планету соответствующей величины, омыла пустыни этой планеты океаном, окружила мягким слоем воздуха и привила на ней жизнь в виде моих розовых созданий. После этого я предоставила их собственной судьбе. Не помню, что было потом. Проходили сотни тысяч, может быть, даже миллионы лет, а я все это время жила и даже не старела.

— Чисто женский сон, — пробормотал внимательно слушавший Тембхара.

Калларла улыбнулась своими темными глазами и продолжала:

— В один прекрасный день я вспомнила о моем опыте и решила посмотреть, что произошло с жизнью, заброшенной на поверхность планеты. Как она развилась? Ушла ли в глубь океана? Покрыла ли континенты? Какие приобрела формы? Так думала я во время подготовки к полету. А потом, направляясь к своей планете, я почувствовала странную тревогу. Создав белковые структуры, я открыла перед материей все возможности эволюции. И вдруг я представила себе миллионы существ, развившихся из моих невинных розовых крошек. «Видят ли они свой мир? — подумала я. — Слышат ли они

шум ветра? А может быть, они уже овладели всей планетой, начали изучать самих себя и поставили вопрос: откуда мы взялись, каким образом возникли?» Тогда я подумала, что дала им не только начало, но и конец, что, создавая жизнь, я одновременно создала и смерть. И, когда увидела закрытую облаками огромную, как небо, планету, моя тревога сменилась печалью и страхом, и я проснулась...

— Вот что тебе снится! — воскликнула с завистью Нонна. — А я в лучшем случае ссорюсь во сне с испорченными автоматами!

— Твой сон возник из страстного желания творить, какое испытываем все мы, — сказал я. — Его породило ожидание открытий, которые ждут нас в конце нашего пути, в созвездии Центавра.

— И он типичен для начала путешествия, — добавил Тер-Хаар: — ведь позднее, ощущая тоску по родине, мы будем в наших снах не забегать вперед событий, а возвращаться на Землю...

— А я скажу вам, что этот сон носит совсем другой характер, — запротестовал Тембхара. — Это сон биолога, который жадно стремится к познанию. Ведь мы ничего не знаем о развитии органической жизни на других планетах. Мы знаем историю жизни только на Земле и Марсе, но эти планеты — дети одного Солнца. А как развиваются живые существа при свете переменных звезд, которые то сжимаются, то расширяются подобно пульсирующим сердцам? Ведь это изменение света должно както отразиться на живом веществе — самом восприимчивом материале! А жизнь на планетах, входящих в системы красных гигантов? А в сферах двойных звезд, там, где планеты освещаются попеременно двумя солнцами? Или в мощных лучах голубых солнц?

— Их излучения смертоносны, — вставил я, — поэтому там жизнь безусловно отсутствует.

— Можно создать защитные механизмы — панцири из сплава, содержащего большой процент солей тяжелых металлов... Подумайте: возраст звезд не одинаков, так же не одинаков и возраст разных планет, значит, на одних планетах, подобных Земле, можно найти жизнь на более ранней стадии развития, на других — на более поздней, чем на Земле. Но это еще не все. Сон Калларлы ставит вопрос: представляем ли мы сами, вся наша земная флора и фауна, по отношению к другим обитателям Космоса нечто среднее, статистически наиболее часто встречающееся, или же скорее исключительный вариант, редкую особенность? Может быть, мы представляем собой уникум и существа с других звезд, знакомясь со структурой нашего организма, будут качать головами?

— Если у них есть головы, — вставила Нонна.

— Конечно, если они есть.

— Значит, ты утверждаешь, что человек в Космосе такая же редкость, как двухголовый теленок? — спросил я. Мне показалось, что Тер-Хаар был немного расстроен.

— Ты ведь не утверждаешь этого всерьез? — сказал он, обращаясь к Тембхаре.

— Я вообще ничего не утверждаю, это ее сон ставит такие вопросы. — Великий мастер кибернетики слегка склонил голову перед молодой женщиной, которая в течение всего спора сидела неподвижно, а на ее спокойном лице время от времени появлялась сдержанная улыбка.

— Ну хорошо, — обратился к ней Тер-Хаар. — Разреши же теперь наш спор: что означал твой сон, какова была цель твоего опыта?

— Не знаю.

В комнате воцарилась тишина, нарушаемая лишь шумом дождя за окном. Мне давно не было так хорошо и спокойно. В раздумье я следил, как сбегают по карнизу дождевые капли.

— Не знаешь?.. — отозвался Тер-Хаар, и в его голосе послышалось разочарование. — А наяву ты могла бы проделать такой опыт? — спросил он.

— Боюсь, что нет, — ответила, помолчав немного, Калларла.

— Почему?

Она наклонила голову:

— Не знаю, право, не знаю...

В это мгновение раздался далекий стеклянный звук, словно скатившийся с покрытых вечерним сумраком гор.

— Обед! — произнес Тембхара вставая, и я лишь теперь заметил, как он высок. — Ну и засиделись же мы!

Прощаясь с женой Гообара, я немного задержался и вдруг спросил ее:

— У тебя часто идет дождь?

— Часто. Ты любишь его?

— Да.

— Так заходи ко мне.

Я вышел в коридор и услышал громкий голос Тембхары:

— Это же совершенно нереально: результатов такого опыта нужно было бы ждать сотни миллионов лет. Откуда же взять столько терпения?

Он рассмеялся и открыл дверцу лифта.

Тер-Хаар просил зайти к нему после обеда. Его надо было искать в исторической лаборатории, и Нильс, сын инженера Ирьолы, взялся проводить меня туда. Помещение, где работали историки, находилось на корме, коридоры там были пониже и поуже, чем в центральной части корабля.

— Это здесь, — сказал Нильс, пропуская меня вперед.

Я ожидал, что попаду в просторную, светлую лабораторию, где ученые-историки исследуют старые палимпсесты — пергаментные рукописи. А мы стояли на пороге погруженной в полумрак комнаты, такой узкой и высокой, что взгляд терялся в темноте островерхого свода. Длинные столы и пюпитры у стен были сделаны из лиственницы. Там под низко опущенными лампами сидели ученые. Один из них обернулся: это был Тер-Хаар. Ослепленный светом, он прикрыл рукой глаза и воскликнул:

— А, это вы? Вот что, дорогие, подождите-ка минуточку. Хорошо? Я сейчас закончу.

Делать было нечего; я стал рассматривать тех, кто сидел за столами. Кроме Тер-Хаара, в комнате работали еще двое. На лицо одного из них, Молетича, падал свет, отраженный от разбросанных на столе бумаг. Кое-кому Молетич казался немного смешным. Мне — никогда. Правда, у него была узкая голова с подбородком, торчавшим, как локоть; его оттопыренные уши назойливо напоминали о своем существовании. Однако он всегда улыбался, как бы говоря: «Ничего, что я смешон, я это знаю, и даже, видите, это меня тоже забавляет».

Позднее Тер-Хаар рассказывал мне, как Молетич с хитрым бескорыстием подсовывал молодым ученым свои взгляды, а те принимали их за собственные и учились ценить его весьма обширные знания. Однако в эту минуту, вслушиваясь в его разговор с профессором, я с трудом подавил усмешку: слишком уж пылко жаловался Молетич на отсутствие архивных данных, касающихся личности какого-то Гинтера или Гитлера! Такое мелочное копание в остатках седой старины показалось мне маловажным. Я посмотрел, куда девался Нильс. Он стоял неподвижно, с поднятой головой в глубине зала. Следуя за его взглядом, я обнаружил на стене большой четырехугольник, который я вначале ошибочно принял за окно. Но это не было окном.

Забыв обо всем окружающем, я двинулся к четырехугольнику, не сводя с него глаз. Зал был освещен немногими висевшими над столами небольшими лампами с рефлекторами, направленными вниз, и на стены падал лишь отраженный отблеск. В полумраке я увидел большую картину в почерневшей от старости золоченой раме. Она пробудила одно из самых ранних воспоминаний мо-

его детства. Однажды я нашел в какой-то бабушкиной книге картинку. Ее загадочное содержание так удивило и вместе с тем привлекло меня, что я не мог от нее оторваться. Бабушка отобрала у меня книжку, говоря, что детям не следует смотреть на зверства варварской эпохи, и вот двадцать лет спустя, на палубе «Геи», я стоял перед той же самой картиной.

Я подошел к Нильсу и стал рядом с ним. Мальчик, казалось, не дышал. Что он видел там?

Ночь, башни далекого города, черное, беззвездное небо, и на залитой кровью земле — две группы людей, которых разделял свет фонаря. Одни стояли серыми рядами и, втянув головы в плечи, держали перед собой короткие палки или трубки. Против них сбились в кучку несколько темных фигур, впереди которых стоял на коленях широко раскинувший руки человек. В его раскинутых руках, во вдохновенном и страшном лице жизнь и смерть смешались так же, как кровь с землей у его ног. Потом, спустя годы, этот человек являлся ко мне по ночам в снах, от которых замирало сердце.

Я положил руку на плечо Нильса. Он ничего не понимал, как не понимал и я, глядя в детстве на эту картину, и дрожал, как и я.

Вдруг яркий свет залил всю лабораторию и послышался голос Тер-Хаара:

— Ты этого еще не видел, Нильс?

Мальчик повернул к нему бледное лицо.

— Что... значит эта картина? — с трудом произнес он. — Что делают люди в сером с теми, другими?

Историки подошли к нам.

— Это произведение относится к первой половине XIX века, — сказал один из них.

— Здесь изображены испанские крестьяне, схваченные отрядом солдат... — добавил Молетич.

— Но это ничего ему не объясняет, — вмешался я. — Эта картина...

— Постой! — повелительно прервал Тер-Хаар и тоном, какого я еще никогда не слышал, сказал: — А нука, скажи сам! Смелей! Что ты видишь?

Нильс молчал.

— Не смеешь? Нет, все же скажи! Расскажи, что тебе кажется, что ты думаешь, что чувствуешь?

— Кажется, они их...
— Ну, говори!
— Убивают...
Когда прозвучало это слово, наступила абсолютная тишина. Потом Тер-Хаар посмотрел на своих товарищей, на его лице появилось странное выражение:
— Слышите?
Затем, обращаясь к Нильсу, сказал:
— Этого художника звали Франсиско Гойя. Он жил тысячу пятьсот лет назад. Запомни его имя: это был один из тех людей, которые никогда не умирают.

Вечером, возвращаясь от Тер-Хаара, я заблудился в лабиринте судовых коридоров. Утомленный обилием впечатлений этого дня, который показался мне бесконечным, я наконец попал в широкую галерею, примыкавшую к саду, и уселся на маленькой скамейке. Она стояла у стеклянной стены. За стеной бесшумно раскачивались ветви косматых елей, покрытых серебристой хвоей. Вдруг я услышал знакомый голос. Меня звала Анна Руис. Она улыбалась мне уже издали. Она уговорила меня посмотреть видеораму. Мы отправились в зрительный зал; там демонстрировалась предлинная драма в двух сериях — история одной экспедиции. Действие происходило вначале на Сатурне, затем на Юпитере. Хотя нам показали много красивых пейзажей, из которых особенно сильное впечатление произвел один, где изображалась буря в океане аммиака — настоящая оргия красок от янтарной до коричневой и золотисто-черной, — тем не менее, уходя из зала, я облегченно вздохнул.
— Ужас! — сказала Анна. — Мне почудилось, будто я в самом деле ощущаю запах аммиака. А когда ракета упала на кольцо Сатурна, я от страха закрыла глаза. Как надоели все эти приключения! Отныне я буду смотреть только такие произведения, где рассказывается о Земле.
— Уже теперь? — спросил я улыбаясь.
— И теперь и потом, — ответила она, окинув меня серьезным взглядом.
Затем мы простились, и я остался один в пустом коридоре. Незаметно я дошел до серебристого занавеса,

который закрывал вход на смотровые палубы, постоял, подумал, не пойти ли мне отдыхать, но в конце концов решил взглянуть на звезды. При виде их меня охватывала какая-то дрожь и именно поэтому хотелось переломить себя, отбросить всякую мысль, будто я боюсь их.

На палубе царил мрак, который прорезали лучи света, менявшие каждые несколько минут окраску — от серебристой до голубой: очевидно, «телевизионные глаза» перестали вращаться. Я прошел от одного конца палубы до другого, не встретив никого; впрочем, я не особенно этому удивился: время приближалось к полуночи. Вдруг я заметил чью-то тень. Я остановился. Всходила серебристо-белая Луна, на фоне озаренной ее ярким светом стеклянной стены резким черным пятном обрисовался силуэт человека и его словно окруженная ореолом голова. Потом Луна передвинулась выше, бросая волшебно яркий свет на того, кто стоял на палубе. Это был Гообар. Он смотрел на звезды и улыбался.

ГОСТЬ ИЗ ПРОСТРАНСТВА

Мы отправились в полет несколько дней спустя. Перед тем как лечь на курс, «Гея» облетела пять раз вокруг Земли. Около нее собралось много больших и малых ракет. Они образовали почетный эскорт, который должен был сопровождать «Гею» семьдесят миллионов километров — вплоть до самой орбиты Марса. На своем пути внутри солнечной системы «Гея» двигалась сравнительно медленно: развить полную скорость ей мешало *притяжение многочисленных планет и других небесных* тел. Поэтому шестьсот сопровождавших нас ракет самых различных размеров могли без труда двигаться вместе с нами. Выстроить эту армаду и поддерживать в ней порядок было довольно тяжело, однако наши астронавигаторы прекрасно справились с этим делом. Вместе с нами, разбросанные на тысячекилометровом пространстве, неслись пассажирские ракеты. Вокруг них роем вились маленькие суденышки; они то выскакивали из больших *кораблей-ракетоносцев*, то возвращались в них, чтобы пополнить резервуары горючим. Эти серебристые рыбы плыли стаями и выше и ниже «Геи», оставляя на звездном небе полосы огня, вырывавшиеся из двигателей; по-

зади летели десятки других; самые дальние терялись в пространстве. Когда весь этот флот маневрировал, солнце освещало ракеты, и тогда их оболочки мгновенно вспыхивали на секунду в пространстве, подобные ярким звездам, и гасли тысячами искр.

Мы двигались не по прямой линии. Помимо метеоритных потоков и путей движения астероидов, обозначенных на карте, нам пришлось обойти стороной зоны, по которым беспрерывно проносились огромные автоматические грузовые ракеты, доставлявшие на Марс воду. Мы проплыли на семь тысяч километров выше этой зоны, и разглядеть ракеты можно было лишь в телескопы.

Иногда в окуляре телескопа была видна такая ракета, быстро летящая по дороге, обозначенной редкими световыми буями.

Через четыре часа мы прошли мимо Луны. Обсерватории на обращенном к нам Южном полушарии Луны послали «Гее» прощальный привет, выбросив в пространство огромный фейерверк из нескольких десятков тысяч разноцветных ракетных огней. Клубы и полосы фосфоресцирующего дыма были видны еще час спустя, даже когда тень начала обволакивать серебристое полушарие спутника Земли.

В последнее время на Луне велись большие горные работы. В телескопы «Геи» можно было видеть, как на Море Облаков ковыряются целые стада гусеничных экскаваторов и грейдеров, как взрывы поднимают облака пыли, затмевающие однообразный пейзаж пустыни. Потом в поле зрения телескопа появились стаи ночных бабочек: это были ракеты, двигавшиеся за «Геей» темной тучей и закрывавшие поверхность Луны по мере того, как мы от нее отдалялись, уходя к Марсу.

Орбиту красной планеты мы пересекли в пункте, удаленном от нее на двадцать шесть миллионов километров; кровавый шар прошел мимо нас с северо-востока на юго-запад и уменьшился за ночь так быстро, что утром следующего дня я, проснувшись, обнаружил лишь небольшое красное пятнышко на краю телевизионного экрана.

Только теперь провожавшие нас ракеты начали собираться в обратный путь. На фоне черного неба, усыпанного яркими звездами, то и дело вспыхивали алые дымовые сигналы, требовавшие «дать дорогу». Ракеты

взлетали и уходили в стороны, описывая спирали, и пространство около отдыхавшей с выключенными двигателями «Геи», которая медленно дрейфовала под влиянием притяжения Солнца. В семь часов вечера эфир в последний раз наполнился бурей звуков; радиоприемники просто задыхались, принимая многие тысячи прощальных приветствий от тех, кто возвращался на Землю. Ракеты взлетали, как огромные стаи серебристых рыб, и исчезали во мраке. Постепенно расстояние между нами увеличивалось. Все ракеты, отлетавшие на Землю, направили длинные лучи своих прожекторов на сверкающий панцирь «Геи». Она окружила себя рубиновым облаком, закрывшим для ее пассажиров все небо. Из сопел появилось пламя — вначале была пущена группа двигателей разгона, затем группы первого, второго и третьего рядов, и наконец, оставляя за собой длинную полосу угасающих языков пламени, «Гея» рванулась вперед.

Стая серебристых кораблей удалялась на юго-запад. Сначала она была похожа на рой веретенообразных светляков, потом на тучу искр, мерцавших ярче звезд, и, наконец, на горсть сероватой пыли. Затем и она исчезла, как бы растворилась в бесконечном мраке. Лишь Земля, подобная крупной звезде, продолжала сиять голубым светом; на ее полюсах горели желтоватым пламенем два атомных солнца. Никто не уходил с палуб, хотя уже наступила ночь. Даже когда в пространстве исчез последний след великой армады, мы продолжали всматриваться во мрак, стремясь запечатлеть в памяти как можно больше.

Скорость полета «Геи» все возрастала, и на отрезке от Марса до Юпитера достигла двухсот километров в секунду. Огромное пространство между этими двумя планетами справедливо называют кладбищем ракет — так много здесь происходило катастроф. В нем носятся миллионы осколков планеты, которая когда-то кружила здесь и, неосторожно приблизившись к Юпитеру, испытала на себе его колоссальную силу.

У Тер-Акониана работы было пока немного, и он пригласил меня к себе. Я понял, что он хочет поближе познакомиться с одним из врачей, на обязанности которых лежит забота о здоровье экипажа. Прямо из амбулато-

рии я отправился к нему. Вход в жилище астронавигатора был созданием Нонны, которым она очень гордилась. Он представлял собой плиту матового стекла, почти такой же длины, как стена. По обеим ее сторонам стояли две колонны. Левая представляла собой деревянный столб, покрытый ужасными черными, как бы закопченными, масками с широко раскрытыми ртами. Их пустые глазницы были устремлены туда, где на каменных плитах возвышалась гладкая светлая колонна: она казалась воплощением покоя. В ней было что то напоминавшее зеленый росток, который тянется к солнцу, человека, стремящегося выпрямиться, гибкую девичью талию. На каменной арке виднелась простая надпись: «К звездам».

Тер-Акониан ожидал меня в огромной комнате, отведенной под зал заседаний. Она светилась гаммой красок осенней природы, тронутой увяданием. Казалось, от стен, окрашенных в золотистую бронзу, матовый пурпур и багрянец всех оттенков, исходил аромат осени. По углам были сделаны высокие ниши; в них стояли автоматы, внутри которых пульсировали огоньки. Сделанные из хрусталя и бериллия, они двигались медленно и с таким достоинством, словно размышляли над собственными судьбами, и гость не мог сдержать невольную улыбку, глядя на эти величественные машины, сходившие со своих мест, чтобы подать кофе. На стене против входной двери висели большие черные часы с серебряными знаками зодиака вместо цифр. Первый астронавигатор стоял, наклонившись над разостланной картой неба; за его креслом на постаментах виднелись бюсты десяти прославленных космонавтов прошлого. Я сразу узнал эти лица, знакомые еще по школьным учебникам.

— Как тебе нравится здесь? — спросил Тер-Акониан, усадив меня в кресло.

— Очень нравится, но жить здесь я не смог бы.

— Бедная Нонна, если бы она слышала это! — улыбнулся он. — Впрочем, я тоже здесь не живу; это просто служебная комната. А работаю я вон там, — и он указал на боковые двери.

Обернувшись вслед за ним, я еще раз бросил взгляд на ряд каменных фигур, и меня поразило одинаковое выражение их лиц. Казалось, они устремляли взгляд во

мрак, словно ни стен, ни оболочки корабля не было, и видели бесконечное пространство. Тер-Акониан, улыбаясь, наблюдал за мной.

— Смотришь на моих советников? — спросил он, и меня поразила меткость этого определения.

— Ты, наверное, никогда не чувствуешь себя здесь одиноким?

Он медленно наклонил голову, затем встал и подошел к ближайшему бюсту.

— Это, кажется, Ульдар Тог, тот, кто первый совершил посадку на Сатурне? — спросил я.

— Да. Сын двадцать третьего века. Строитель ракеты и ее пилот. Ты знаком с его жизнью?

— Кажется, он не вернулся из последней экспедиции?

— Да. По тем временам он был уже очень стар: девяноста восьми лет. Он умер за рулями, словно заснул около них. Он не хотел лежать в земле, и его похоронили на просторе. Где-то и сейчас кружит ракета с его телом.

«На просторе»... Этот оборот речи Тер-Акониана взволновал меня. Именно так, коротким словом «простор», называли межпланетное пространство первые его покорители; при звуках этого слова я почувствовал волнение, которое испытывал в детские годы, когда пожирал с горящими глазами романы и летописи межпланетных путешествий.

— И подумать только, — сказал я, — что теперь через этот самый «простор» мы наносим телевизиты нашим знакомым на Земле!..

— Пока да. Но уже чувствуется запоздание радиосигналов, вызванное удалением «Геи» от Земли. Ты, конечно, заметил это?

— Да. Я вчера виделся с отцом: он сидел против меня, как ты сейчас. Я предпочитал молчать, потому что тогда усиливается впечатление, что он находится близко от тебя.

Астронавигатор посмотрел на карту неба:

— Сейчас радиоволны запаздывают примерно на девять минут. С такими паузами разговаривать, конечно, трудно, скоро они будут затягиваться на часы, на сутки.

— Да, это начало нашего одиночества.

— Положим, нас слишком много, чтобы можно было говорить об одиночестве, — живо ответил астронавига-

тор. — Такой многочисленной экспедиции в просторе еще не было!

— А кто первый выдвинул этот проект?

— Неизвестно. Сама по себе мысль о такой экспедиции очень стара: она возникала и исчезала, ее забывали, потом вспоминали вновь. О ней говорили еще в те времена, когда не было технических средств для ее осуществления, но и потом, когда эти средства уже были, она долго оставалась лишь мечтой. Первым разработал подробный план такой экспедиции Бардера, около ста сорока лет назад. У него было много противников. Он иногда говорил: «Это неслыханно трудное дело, настолько трудное, что следует попытаться осуществить его».

— Слушай, — сказал я, когда астронавигатор умолк. — Вопрос, который я хочу задать тебе, может показаться слишком смелым: ты бы согласился отправиться в эту экспедицию, если бы знал, что не вернешься?

— Я или корабль? — ответил он так неожиданно, что я несколько мгновений молчал.

— Мы все, — ответил я наконец.

— Конечно, нет. Но почему могла бы возникнуть такая уверенность в неудаче?

— Ну хорошо, а если бы был один шанс на тысячу, что мы вернемся?

— В таком случае я, конечно, согласился бы.

— Почему «конечно»? Впрочем, я, может быть, слишком навязчив?

— Нет, не навязчив, а любопытен, а это не одно и то же. Я дам тебе два ответа. Вступая в новую сферу жизненной деятельности, человек встречает сопротивление неизвестного. Первые попытки человека преодолеть сопротивление неизвестного могут иногда не принести ничего, никаких практических результатов. Однако, как учит нас история, они необходимы. Без первых попыток высечь искру не было бы огня, без первых пробитых метеоритами ракет человек не мог бы овладеть пространством. Теперь о нашей экспедиции. В объявлении о вербовке экипажа мы прямо заявили о том, что трудности будут огромные. Требования, которые предъявлялись к кандидатам, были исключительно велики: нужно было владеть по меньшей мере тремя определенными профессиями. И все же, несмотря на это, мы получили пятна-

дцать миллионов заявлений. Значит, надо помнить о том, что на Земле есть еще полтора десятка миллионов людей, готовых подхватить наше дело и докончить его, если нам почему-либо не удастся это сделать. Ну как, удовлетворил ли я твое любопытство?

— Нет. Скажи, зачем лично ты отправился в эту экспедицию?

— Боюсь, что ты спрашиваешь не у того, у кого нужно, — усмехнулся астронавигатор. — Физик, наверное, сказал бы тебе: «Я хочу изучить атомные реакции на других звездах». Планетолог: «Хочу исследовать структуру планет других систем». Астробиолог: «Ищу проявлений органической жизни в Космосе». А я... я не могу дать тебе даже такой ответ...

— Как, неужели ты не знаешь, почему отправился в экспедицию?

— Знаю, но мой ответ, вероятно, не удовлетворит тебя: потому, что есть звезды.

Астронавигатор встал:

— Не хочешь ли пройтись, доктор? Прости, что я так бесцеремонно спрашиваю, но я уже двадцать часов не видел ни одного стебелька живой зелени.

— Может быть, ты хочешь побыть один? — спросил я.

— Да нет. Если у тебя есть еще время...

Мы спустились на нижнюю палубу. В саду стояли ранние сумерки. На самой обширной полянке, покрытой травой, кружился большой хоровод детей. Они держались за руки и пели. Вдруг один из них выбежал из хоровода и пулей помчался к нам. Это был мальчик лет пяти. С радостным визгом он охватил колени моего спутника.

— Это мой младший, — сказал Тер-Аконian и хотел подбросить малыша вверх, но, увидев проходившего неподалеку Утенеута, остановил его, отдал мне ребенка, а сам подошел к инженеру.

Я поиграл с малышом как умел, однако он пренебрежительно отверг мои старания и стал настойчиво требовать, чтобы я поставил его на землю.

— На траву я могу тебя поставить, а на землю нет: ведь мы уже не на Земле, знаешь? — сказал я, отпуская его.

Было видно, что я коснулся затаенной думы ребенка, и он не ушел от меня. Несколько секунд он копал каблуком ямку в песке, затем сказал:

— Я сам знаю. Это только так. Мы летим на «Гее».

— А знаешь — куда?

— Знаю: на одну звездочку.

Я не мог удержаться от последнего вопроса:

— Ты, может быть, даже знаешь, где она находится, эта звездочка?

— Знаю.

— Где?

— Там, куда я попаду уже большим!

Высказав таким образом все, что знал, мальчик бросился бежать к хору, неутомимо распевавшему «Кукушку».

Ожидая, пока Тер-Акониан закончит разговор с Утенеутом, я стоял и слушал песню. Вдруг у меня мелькнула мысль: ведь на «Гее» вообще нет птиц.

Когда мы уже в темноте прощались у лифта после длительной прогулки, я задал астронавигатору вопрос, о котором сразу же пожалел:

— На корабле много детей. Это меня немного удивляет. Скажи, ты без колебания взял в экспедицию своих?

Тер-Акониан насупился. Он выпустил мою руку и медленно сказал:

— Старшие захотели сами. А этот... младший... действительно, я колебался. Однако подумал: он еще не в состоянии решать сам. Я лишу его счастливой молодости на Земле. Опасности — да, но... но как бы я посмотрел ему в глаза при возвращении?

Ночь, день, следующая ночь и следующий день прошли без особых происшествий. Ракета ускоряла ход и шла в полосе лучей радара, чутко ловя их отражение в раковины рефлекторов, предохраняющих корабль от опасных столкновений. Астронавигаторы выводили корабль из плоскости эклиптики, где, как известно, имеется максимальное скопление метеоритов. «Гея» еще не ложилась на свой настоящий курс. Полет к Юпитеру был как бы последним испытанием перед отправлением в космическое пространство: нужно было проверить действие

приборов в зоне притяжения самой большой планеты солнечной системы. Поэтому наш курс был проложен сравнительно недалеко от нее. Утром на тридцать девятый день нашего путешествия мы подошли к Юпитеру. Многие из нас, собравшись на смотровой палубе, наблюдали за приближающейся планетой.

Были видны четыре из ее двенадцати спутников. Ближайший из них, Ио, пробегал, как яркая, проворная звездочка, отбрасывая тень на гигантский диск планеты, опоясанный широкими полосами. Перед нами открывался вид на ее северное полушарие с экваториальным Красным пятном, как его называли древние астрономы, или Летающим континентом Гондвана, как называем его мы. Кое-где сквозь густую атмосферу метана и аммиака виднелись неровные очертания планеты, завуалированные дымкой. Обычно темные смотровые палубы были теперь залиты странным светом, отражавшимся от поверхности планеты. Юпитер уже занимал весь видимый горизонт и простирался далеко внизу, похожий на огромную оранжевую чашу с поднятыми краями, наполненную кипящим газом, по которому проносились гигантские смерчи.

С другого спутника — Европы, — сверкавшего высоко над нами, к центральной части планеты опускался как бы ряд черных бус. Это были автоматические ракеты, производившие исследовательские работы на Летающем континенте Гондвана. В бинокль было видно, как ракеты ныряли одна за другой в океан туч, как несколько мгновений они еще виднелись, подобные небольшим каплям, и затем исчезали из глаз. За их работой следила маленькая группа людей, живущих в барокамерах на третьем спутнике — Ганимеде. Человеческая нога еще не касалась поверхности Юпитера; в нижней части его газовой оболочки давление достигает миллиона атмосфер, которого не может выдержать ни один скафандр.

«Гея» несколько часов маневрировала над поверхностью Юпитера; постепенно палубы стали пустеть, и я, утомленный долгим наблюдением за планетой, отправился в зал отдыха, расположенный рядом со смотровой палубой. Этот зал, носивший название «барочного», отличался гнетущей, варварской роскошью. С шести сторон в стенах, окрашенных в ярко-золотистые тона,

виднелись ниши с огромными белыми статуями богов древности. Над зеркальным паркетом свисали хрустальные пауки, а с низкого потолка глядели пухленькие личики сотен крылатых детей. Можно долго сидеть и смотреть на нарисованные на потолке холмы и дубравы, на красивых и странных героев сказок. Эти картины создавали впечатление искусно организованного музейного ансамбля. В зеркалах, повторяясь много раз, отражаются все эти богатства. Однако зрителя скоро охватывала скука; взгляд уставал от обилия серебра и золота, кружевной листвы и миниатюрных барельефов. У стен стояли большие кресла; твердые резные спинки их были украшены окаменевшими в схватке львами и орлами, а ножки похожи на когти или копыта. Эти кресла годны на что угодно, только не для того, чтобы на них сидеть. Странные люди создавали их! Однако нужно покорно сносить неудобство этих кресел: как рассказывают историки, вся эта обстановка представляет точную копию одного из дворцовых залов какого-то монарха.

Вначале я подумал, что в зале, кроме меня, нет никого, но вскоре перед группой мраморных богов увидел какого-то человека, стоявшего, заложив руки назад. По узкой голове с оттопыренными ушами я узнал Молетича. Затем из-за скульптуры вышел Нильс Ирьола. Уткнув нос в карманный приемник, он так увлекся чтением, что наткнулся на историка. Они довольно долго извинялись друг перед другом, а потом разговорились. Подойдя к ним, я расслышал, как юноша сказал:

— Это очень интересный роман, но кое-какие места в нем трудно понять. Да и перевод неважный: попадаются даже ошибки.

— Что ты говоришь? Странно, — сказал историк.

— Вот здесь, например, — показал Нильс: — «Мое сердце охватило сожаление о потерянных инструментах».

— В чем же ты видишь здесь ошибку?

— А как же? Ведь слово «сожаление», «жалость», можно употребить только в отношении к одушевленным предметам. Жалеть можно только живые существа, а не вещи...

— Теперь это так, мой мальчик, — сказал Молетич, — а раньше было иначе. Ты не привык к выражению «жалеть вещи», оно режет твой слух, потому что условия,

вызвавшие к жизни это сочетание понятий, перестали существовать несколько веков назад.

— А я считал, что это ошибка, — с удивлением сказал Нильс.

В открытых дверях показались люди; они подошли к нам и стали прислушиваться к беседе.

— А вот здесь, — продолжал Нильс, явно обрадованный тем, что нашел того, кто может разрешить его сомнения, — вот здесь один умный и интересный человек вдруг начинает мечтать о том, чтобы каждый мог иметь собственный самолет, и тут же добавляет: «но это сказка».

— Бесспорно так: ведь это происходило давно. И слова о том, что каждый человек может иметь собственный самолет, говорились тогда лишь в сказках.

— Какая же это сказка? Это просто глупая фантазия. Ведь сейчас все равно ни у кого нет собственного самолета.

— Конечно, нет, потому что это никому не нужно.

— Постой... — остановился Нильс. — А почему именно сейчас ни у кого нет собственного самолета?

— Я тебе объясню. То, что говорил герой романа, не так уж бессмысленно. Давным-давно существовала индивидуальная собственность как на средства производства, так и на производимые блага. Потом, на низшей фазе коммунизма, средства производства перешли в общественную собственность, но потребление благ продолжало оставаться индивидуальным. И тогда каждый человек мог иметь собственный самолет, как об этом мечтал герой книги. Однако общественное развитие не остановилось, а продолжалось дальше, и мы сегодня живем в эпоху ликвидации индивидуальной собственности даже на потребительские блага. Почему? Потому что это является результатом еще более полного осуществления принципа «каждому по потребностям». Зачем нужен самолет? Чтобы передвигаться с одного места на другое. Ты вызываешь его и летишь, а прилетев куда хотел, перестаешь им интересоваться, правда? А если бы у тебя был собственный самолет, где бы ты его поставил? Дома? А вдруг тебе пришлось бы отправиться на ракете на другое полушарие? Ты не смог бы взять его с собой: его переброска туда была бы хлопотливым делом. Лучше там иметь другой самолет, тоже собственный, который ждал

бы тебя у цели путешествия. Но человеку очень часто приходится пользоваться ракетами для полетов; значит, надо было бы держать свои самолеты на всех ракетных вокзалах Земли: мало ли куда ты сможешь попасть, как же ты будешь обходиться без самолета? В конце концов, если бы каждый из нас поступал так, вся Земля покрылась бы самолетами. Всюду стояли бы тысячи машин, ожидая, что их собственник вдруг заглянет сюда зачем-нибудь. Как неэкономно и как неудобно было бы такое положение! Все равно во всех концах Земли собственных машин не разместишь. Поэтому, отказываясь от «привилегии собственности», ты сегодня можешь получить на Земле в любую минуту такое транспортное средство, какое тебе лучше всего подходит.

— Понимаю, — ответил Нильс, — мы превзошли самые сокровенные мечты древних. Но ведь собственный самолет можно было бы иметь и теперь?

— Конечно, можно. Однако наше отношение к этой проблеме так изменилось, что подобную «собственность» каждый считал бы не исполнением мечтаний, а обузой.

В это мгновение на потолке вспыхнула красная лампочка; весь корабль пронизала слабая, но заметная дрожь, похожая на глубокий вздох металла. Потом в наступившей тишине из невидимых репродукторов разнесся голос:

— Внимание! Тревога! Готовность первой степени. Все гравитационные установки — стоп! Внимание! Приготовиться к исчезновению весомости.

Я почувствовал, что с каждым мгновением становлюсь все легче. «Гея» тормозила вращательное движение, еще минута — и зал наполнился свободно парящими людьми. Кресла, столики — все, что не было прикреплено к полу, теперь, потеряв вес, плавало в воздухе. Я дотронулся пальцами до потолка. Это длилось секунд двадцать, потом вновь послышался голос:

— Внимание! Отбой готовности первой степени по тревоге. Включить гравитационные установки. Внимание! Ожидать дальнейших распоряжений.

Мы опустились на пол, как детские шары, из которых выпустили газ; каждый, прикоснувшись ногами к полу, хватался за какой-нибудь предмет, чтобы сохранить равновесие. Потом мы бросились на смотровую палубу.

Перед нами открывалась все та же картина: огромный полосатый диск Юпитера изливал на нас снизу мутно-янтарный свет. Позади, в нескольких десятках километров за кормой «Геи», висело неподвижное светящееся газовое облако, которое рассеивалось медленно, как взорвавшаяся звезда. В тишине послышался короткий, отрывистый писк зуммеров; со свистом пронеслись несколько раз лифты-экспрессы. Ракета затормозила ход и, повернувшись кормой к Юпитеру, произвела в его направлении два коротких взрыва. Потом по палубе разнесся глухой, далекий свист: это включили энергопушки. Корабль, слегка наклонившись, навис над раскинувшейся во все стороны поверхностью планеты. Снова послышался свист лифтов-экспрессов, но никто из нас не пытался связаться с кабиной рулевого управления, чтобы не помешать астронавигаторам.

Вдруг внезапно вновь заговорили репродукторы:

— Внимание! Специальный вызов. Все врачи на свои места!

Я поспешил к лифту и спустился вниз. Подбегая к операционной, я встретил Анну Руис.

— Что произошло?

— Несчастный случай! Некогда рассказывать, отправляйся вниз, в барокамеру, я сейчас еду туда!

Она втолкнула меня в лифт и захлопнула двери так быстро, что я не успел ответить. На предпоследнем ярусе в лифт вошли Тер-Акониан и Ирьола.

— Что случилось? — обратился я к ним.

Оказывается, с Ганимеда, спутника Юпитера, мимо которого мы проходили на расстоянии всего около восьмидесяти тысяч километров, сегодня утром навстречу нам вылетел какой-то человек. Это был, вероятно, студент, проходивший годичную практику на звездоплавательной станции. Там обычно живут несколько десятков человек; каждый год состав этой группы меняется. Они не имеют никакой связи с Землей, кроме радио.

Пилот, вылетевший навстречу нам на одноместной ракете, давно знал о рейсе «Геи» и с нетерпением ожидал ее. Как иногда позволяют себе безрассудные юнцы, он выключил автоматические предохранители рулевого управления ракеты, чтобы они не мешали выполнить в нашу честь несколько головоломных фигур высшего пило-

тажа. Ему удалось дважды описать мертвую петлю вокруг «Геи»; корабль ответил предостерегающими сигналами. Когда же он не обратил на них внимания, «Гея» окружила себя тучей черного дыма и увеличила скорость. В эту минуту в кабине рулевого управления не было никого из астронавигаторов, и маневрами «Геи» руководили автоматы. Безумец-пилот, пренебрегая всеми предупреждениями и видя, что «Гея» начинает уходить от него, бросился за ней в погоню, выжимая из своей ракеты всю скорость, на какую та была способна. Приближаясь к нашему борту со стороны Юпитера, пилот не учел силы его притяжения, и ракета, развернувшись слишком резко, оказалась в зоне выхлопа атомных газов. Охваченная газовым вихрем, она сбилась с курса, и пилот, потеряв ориентировку и стремясь выровнять свою ракету, направил ее на полном ходу прямо в борт «Геи». Уклониться при помощи какого-нибудь маневра было уже невозможно; когда расстояние между ракетой и «Геей» сократилось до нескольких сот метров, автоматы включили энергопушки, и маленькая ракета получила мощный лучевой удар, сразу остановивший ее. Она бессильно повисла в пространстве и, может быть, упала бы на поверхность Юпитера, если бы не наши дальнейшие маневры. «Гея» затормозила ход, прекратила вращательное движение и при помощи магнитов втянула незадачливое суденышко в свой люк.

Автоматы действовали совершенно правильно. Если бы ракета не была отброшена направленным на нее зарядом лучевой энергии, произошло бы столкновение, трагическое по своим последствиям. Ведь эта небольшая по размерам ракета весила одиннадцать тонн, а скорость ее составляла семнадцать километров в секунду; она обладала достаточной энергией, чтобы пробить защитную оболочку и корпус нашего корабля.

Лифт опустился вниз. Мы вошли в барокамеру. На придвинутой к стене платформе лежала, как выброшенная на берег рыба, узкая длинная ракета. Под воздействием лучевого удара ее оболочка покрылась чешуей темно-коричневой окалины. Люки было невозможно открыть, поэтому автоматы со всяческими предосторожностями стали вырезать большое отверстие над сиденьем пилота. Когда мы вошли в барокамеру, эта работа под-

ходила к концу; еще несколько минут из-под лезвий электропилы сыпались искры, затем автоматы легко приподняли кусок оболочки и сквозь образовавшееся отверстие извлекли тело, одетое в герметический скафандр.

В этот скафандр из плотной эластической массы были вмонтированы спереди части рулевой и радарной аппаратуры и щиток, предохраняющий голову и грудь пилота. Мы начали вскрывать скафандр сзади, надеясь, что пилот еще жив. Ракета под влиянием удара лучевой энергии утратила скорость так быстро, что человек подвергся действию мгновенного торможения с силой, во много раз превышающей максимально допустимую.

Кто-то подавал мне инструменты; я разрезал оболочку скафандра слой за слоем, действуя со все возрастающей осторожностью. Наконец послышался тихий свист: это из скафандра, внутри которого было повышенное давление, выходил воздух. Еще одно движение ножниц, и скафандр был снят. Грудь и живот пилота были защищены сеткой трубок; в них под давлением, зависящим от скорости полета, циркулирует газ. Мы перенесли тело на носилки. Стеклянные двери закрылись, лифт мягко тронулся и полетел вверх.

В операционной было включено полное освещение. Анна шла мне навстречу. Носилки были поставлены рядом с согретой фарфоровой плитой. В это время в операционную вошел новый человек: это был главный хирург нашего корабля Шрей.

Я хотел уступить ему место, но он поспешно сказал:

— Нет, нет, действуйте, — и отошел в сторону.

Стоя рядом с Анной и низко наклонившись, я разрезал сначала внешний, а затем внутренний слой комбинезона. Под ножницами захрустели металлические спирали. Показались обнаженные ноги. Ножницы быстро добежали до конца; пустая оболочка сморщилась и опала. Перед нами лежал без сознания нагой человек.

Несколько долгих секунд мы, не говоря ни слова, всматривались в того, кто лежал на плите. Это был молодой человек лет двадцати. На его густой светлой шевелюре запеклась кровь. Беззащитное нагое тело находилось в поразительном контрасте с прикрывавшей его черной оболочкой, которая валялась теперь на полу, как содранная шкура животного. Чуть заметно выделялись

лиловые пятна на животе, бедрах и груди, там, где в момент внезапного торможения в тело впились трубки регулятора давления. Раскинутые руки свисали со стола, бескровное лицо имело синеватый оттенок, во впадинах над ключицами, словно вырезанными в алебастре, почти неуловимо дрожал пульс.

Шрей осторожно приложил к сердцу рыльце электрофонендоскопа, потом притянул сверху передвижные экраны и погасил все лампы. В воцарившейся тьме экраны вспыхнули фосфорическим светом. Мы наклонились над ними. Все суставы, кости, сочленения были целы. Шрей включил свет и оттолкнул экраны, безвучно ушедшие к потолку.

Раскрытый, как две половины ореха, шлем электроэнцефалоскопа придвинулся к столу и свободно охватил голову юноши. Зажужжали усилители: Шрей исследовал мозг. Вдруг он выпрямился:

— Поддержите сердце!

Я дал знак. С обеих сторон выдвинулись серебристые держалки с готовыми к инъекции шприцами. Иглы углубились в белую кожу предплечий. Жидкость стала быстро уходить из стеклянных цилиндров.

— Кровь? — спросила Анна.

— Нет.

Переливать кровь было нельзя. Когда летевшее головой вперед тело пилота внезапно затормозилось вместе с ракетой, кровь продолжала по инерции двигаться вперед. Защитные приспособления скафандра могли лишь частично смягчить удар: они увеличили давление на грудь и как бы окружили повязкой шею, но ничего не могли сделать против огромного усиления внутричерепного давления. Нужно было ожидать многочисленных разрывов сосудов и кровоизлияния в мозг; была сильно повреждена его кора. Время от времени по лежавшему бессильно телу проходила легкая судорога. Мне показалось, что начинается агония.

Шрей низко наклонился над экраном энцефалоскопа. Вглядываясь в дрожащие кривые электротока, он один видел, что происходило в мозгу лежавшего перед ним человека. Мы с Анной могли лишь с надеждой смотреть на его лицо. В эту минуту я впервые увидел, что оно прекрасно. У него была большая голова с высоким лбом, но

величина ее не казалась чрезмерной, как благодаря своему строению не кажутся несоразмерными огромные готические соборы. Глаза его были прищурены, остро сверкали темные зрачки.

Вдруг профессор выпрямился.

— Хуже всего в затылочной части, — сказал он.

Мы молчали.

— Если выживет, — проговорил он, — то либо совершенно потеряет память, либо будет эпилептиком... Все ли готово?

— Да, — в один голос ответили мы с Анной.

— Приступим.

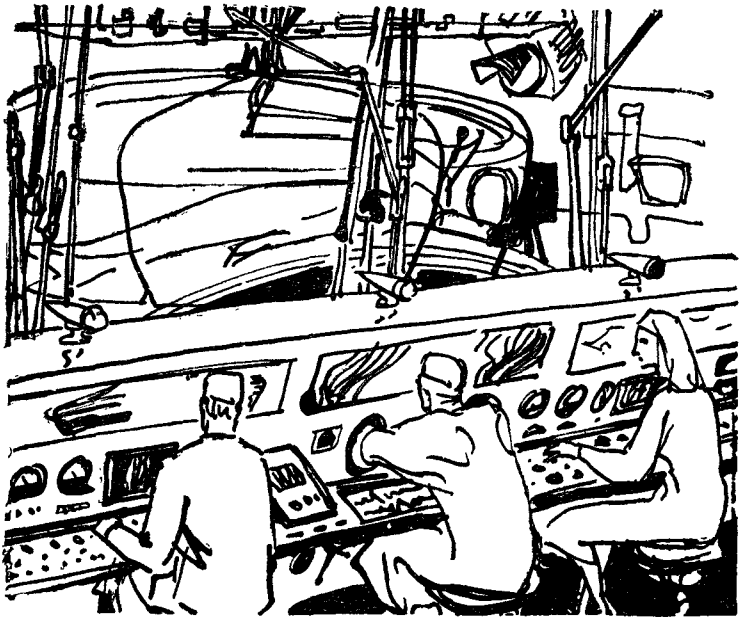
Когда плита с телом передвинулась к операционному столу, Шрей, не глядя ни на кого из нас, добавил, как бы обращаясь к самому себе:

— Либо то, либо другое...

Стеклянный купол, прикрывающий стол, раскрылся, и тело, перенесенное чуткими руками автоматов, легко улеглось на белоснежной плоскости стола. Стеклянные лепестки купола герметически сдвинулись, и сейчас же вздрогнули стрелки индикаторов анестезирующей аппаратуры. Тихо зашипел в трубках сжатый кислород. Мягкие захваты придерживали суставы рук и ног. Подставка с хирургическими инструментами повисла над головой больного. Вновь показались рукоятки со шприцами, а из боковой ниши выдвинулся кровопровод, похожий на змеиную голову с острым язычком, готовым в любое мгновение вонзиться в артерию оперируемого.

Шрей вошел за голубую панель, где находилась аппаратура управления операционного стола. Он сел перед экраном, на котором виднелась голова пилота, засунул руки по локоть в красные резиновые нарукавники. В глубине их находились металлические рычаги, при нажатии на которые с подставки, висевшей над головой больного, как лапа со сжатыми когтями, выдвигались по очереди необходимые инструменты. Не ожидая, пока Шрей позовет меня, я подошел с левой стороны к столу, чтобы контролировать деятельность сердца и дыхание оперируемого. Анна с другой стороны наблюдала за снабжением его организма кровью.

В зале, отделенном от нас голубой панелью, было светло, жарко и тихо. Иногда звякал инструмент, кото-



рый возвращался на свое место, или слышались легкие потрескивания, когда на обнаженные артерии накладывались зажимы для остановки кровотечения. В глубине экрана виднелся уже оголенный череп, сверла трепанаторов впились в кость и двигались вокруг головы, отмечая свой путь полосой пропитанных кровью костяных стружек. Потом придвинулись элеваторы и, захватив тупыми когтями срезанную часть черепной коробки, приподняли ее. Как только черепная кость была поднята, красно-синяя масса мозга стала вылезать из черепа. Лениво пульсировали крупные артерии, разветвленные в мозговой коре. Шрей изменил масштаб увеличения, и теперь на экране уже виднелся не весь череп оперируемого, а лишь увеличенное во много раз операционное поле, обрамленное лентами осушающих кровь губок. Тонкий, сверкающий, как серебряный волос, нож опустился прямо вниз к мозгу и коснулся его, как мне казалось, исключительно нежно. Но оболочка мозга немедленно лопнула и в ней образовалось отверстие. Изнутри хлынул поток крови, вы-

нося свернувшиеся куски. Эжекторы очищали от крови операционное поле, направляя узкие струйки физиологического раствора, который последовательно окрашивался то в розовый, то в красный, то, наконец, в вишневый цвет. Кровь продолжала струиться, автоматически сменялись салфетки. Шрей согнулся, его руки, глубоко засунутые в резиновые нарукавники, не были видны, и лишь по дрожи плеч можно было догадаться о том, как лихорадочно быстро работают они.

Шрей придвинулся к экрану еще ближе. Вдруг раздался высокий голос автомата, следящего за кровообращением. Не отрывая глаз от экрана, Шрей приказал:

— Искусственное сердце!

Эти еле уловимые слова, брошенные хриплым голосом, еще раз показали, как велико его напряжение. Я переключил все аппараты, находившиеся с моей стороны, под контроль Анны и быстро сел за боковой пюпитр. Здесь находился другой экран, на котором виднелась обнаженная грудь оперируемого. Я включил ланцеты, и они немедленно впились в кожу. Зажимы схватывали сосуды, которые почти уже не кровоточили. Давление быстро падало, автомат подавал сигналы все более низкого тона. Это был уже не прерывистый звук, а протяжный, печально ослабевающий рев. Оперируемый умирал. Я чувствовал, что у меня немеет лицо, и действовал как можно быстрее. Вдруг послышался резкий, пронзительный звук, и на наших экранах кровавым пламенем вспыхнули сигналы, показывающие, что сердце пилота останавливается. Еще один удар — и конец. Исчерпав свои силы, оно остановилось.

— Искусственное сердце! — бешено закричал Шрей.

Стиснув до боли зубы, затаив дыхание, я разрезал верхние покровы. Наконец показалось широкое отверстие. Бывшие наготове трубки аппаратуры, подающей кровь, углубились в темное пространство грудной клетки, которое я осветил, направив внутрь с обеих сторон струи света. Рычаги охватили аорту, главная артерия была перерезана и прихвачена вакуумом к трубкам; я быстро включил кровообращение — раздалось все ускоряющееся чмоканье насоса, индикаторы начали двигаться вверх, давление росло. Консервированная кровь вливалась в глубь мертвого тела.

Теперь я рассек дыхательное горло и вставил внутрь его конец трубки, подающей кислород. Все циферблаты над экраном стали пульсировать в нарастающем темпе, искусственное сердце и искусственные легкие работали. Ничего больше сделать я не мог. Я смотрел на висящее, как плод, среди синих легких мертвое сердце пилота. Прошла минута, за ней другая, оно не двигалось.

Искусственно нагнетаемая кровь, с трудом преодолевая давление, прокладывала себе путь в глубь остывающего тела; не помогали ни согревающие приборы, ни вливание раствора гепарина. Шрей продолжал оперировать труп, лежавший, как мраморная статуя, на наклонной плоскости стола.

— Усилить давление! — прохрипел Шрей, как бы потеряв голос.

Я на мгновение перевел на него глаза. У него со лба градом катился пот. Рука автомата двигалась взад и вперед, осушая крупные капли, заливавшие ему глаза. Рот, сжатый в острую, как нож, линию, застыл в болезненной гримасе.

Я усилил кровяное давление, гудение аппаратов стало громче, пошла четвертая минута смерти, затем пятая.

— Адреналин!

В лучах прожектора засверкали спускавшиеся иглы, укол был направлен прямо в сердце. Внезапно эта серосиняя груда мускулов вздрогнула и затрепетала.

— Есть мерцание! — крикнул я.

— Электрошок! — как эхо, ответил Шрей.

Я знал, что это последняя возможность спасения больного. Сердце, пронизанное током, проходящим через платиновые электроды, вздрогнуло, остановилось и вдруг без всякого перехода начало ритмически двигаться.

— Так держать! — сказал Шрей глубоким, глухим голосом.

Сигнал агонии, подававшийся до сих пор непрерывно, теперь начал звучать все короче; я наклонился и посмотрел на экран Шрея.

Внутренность черепа представляла собой чашу, наполненную кровью с плавающими в ней сгустками; прозрачный раствор, вливаясь тонкими струйками, без устали промывал череп; инструменты то выдвигались, то отходили назад, стремясь поставить на место ткани мозга,

но набухшая ткань, расползаясь, выбивалась за края раны.

— Усилить давление под колпаком!

Я понял. Шрей, усилив внешнее давление, пытался хотя бы частично уложить на место выступавшую мозговую ткань. Это было исключительно опасно, так как грозило повреждением основания мозга, дыхательного центра. Впрочем, подумал я, если в мозжечке имеются кровоизлияния, все наши отчаянные усилия ни к чему. Эти сомнения как молния промелькнули у меня в голове, но я без колебания выполнил приказ.

Мозг возвращался на свое место медленно, но кровообращение несколько улучшилось, и через десять минут можно было убрать искусственное сердце. Грудную клетку, как и рану на шее, я зашил наглухо. Теперь больной, лежавший без сознания, получал все больше подогретой крови с глюкозой и белками. Шрей также закончил свою работу. Часть черепной коробки, снятая в начале операции, была поставлена на место, сверху один за другим спускались металлические тампоны, похожие на алюминиевую фольгу. Затрещал сшивной аппарат, эжекторы еще раз ударили струйками раствора, потом засветились большие лампы на потолке, и экран погас.

Шрей встал, или, скорее, отшатнулся от стола. Я поддержал его. У него тряслись губы, он отталкивал меня, пытался что-то сказать, мне показалось, что я уловил вырвавшееся вместе с дыханием беззвучное «я сам», но не отпустил его. К нам подошла Анна, мы втроем вышли из-за панели. Перед нами лежало обнаженное тело юноши. Узкое в ногах, оно расширялось к бедрам; выступал могучий торс. Шея, как прочный белый постамент, поддерживала склонившуюся набок забинтованную голову с закрытыми глазами. Дыхание, пока еще слабое, то сгущало, то ослабляло тени во впадинах над ключицами. Его грудь поднималась, и было уже заметно, как кровь невидимым потоком пульсирует во всех частях тела. Мы стояли неподвижно; нас охватила огромная радость, словно мы впервые увидели спасенную от гибели красоту.

«Гея» не сразу направилась к Южному полюсу Галактики; она пересекла всю солнечную систему в плоскости эклиптики. Мы миновали пояс астероидов, в котором обращается около двухсот шестидесяти миллиардов малых планет, потом, пролетев Марс, пересекли отмеченные черными линиями на картах неба пути многочисленных комет из семейства Юпитера. Этот гигант сделал их своими рабынями, похитив из пространства силой своего притяжения, действующего на огромном расстоянии. Он неустанно меняет их пути, пока наконец не извергнет за пределы нашей системы или не привяжет к определенной орбите.

«Гея» двигалась внутри солнечной системы двадцать восемь дней со скоростью в тысячу километров в секунду, прокладывая путь среди роя планетоидов, метеоритов и комет. За это время были проверены все ее навигационные приборы. Приближаясь, увеличивались в размерах планеты, расположенные за Юпитером и посещаемые весьма редко; можно было видеть невооруженным глазом их гигантские газовые оболочки, колеблющиеся под влиянием глубинных течений; достигнув постепенно максимальных размеров, их диски начинали уменьшаться; планеты, окруженные роем застывших, холодных спутников, отступали одна за другой, превращаясь в светящиеся точки, и исчезали далеко за кормой «Геи». Уже много дней мы не могли различить Землю: она погасла, как слабая искорка. Мы измеряли пройденное расстояние все более слабеющим излучением Солнца, пока наконец на траверсе Плутона наше светило не превратилось в звезду, правда самую яркую из всех.

Между орбитами Урана и Нептуна мы встретили две автоматические звездоплавательные станции; они курсируют в этих мертвых, охваченных холодом пространствах в неустанных поисках комет и метеоритов, еще не отмеченных на небесных картах, регистрируют свои открытия и предостерегают всех об опасности радиосигналами. Таких станций насчитывается около шестнадцати тысяч. Они долгие годы патрулируют в пространстве, заходя в один из портов солнечной системы по радиовызову лишь затем, чтобы пополнить резервуары топливом на следую-

щее десятилетие. Я сказал, что мы встретили эти станции; в действительности же мы прошли мимо них на таком расстоянии, что их нельзя было различить. Они дали знать о себе ритмичным писком радиосигналов; это позволило точно определить их положение и направление полета.

Вблизи орбиты Цербера астронавигаторы начали постепенно выводить наш корабль из плоскости солнечной орбиты. «Гея» вступала в океан мирового пространства. Должно было начаться непрерывное ускорение ее хода. Средняя скорость, достигнутая нашим кораблем при полете через эклиптику, была близка к тысяче километров в секунду. Мы двигались восемьдесят два дня и за это время прошли около семи миллиардов километров. Это расстояние могло показаться очень большим, но, когда мы вышли за пределы солнечной системы, на стенах кабины рулевого управления появились карты в масштабе в миллион раз более мелком, чем на всех картах, применявшихся до настоящего времени. И на этих картах пройденный нами путь невозможно было показать: вся солнечная система, до самых своих границ, включая наиболее отдаленные планеты, занимала здесь место не больше черной точки.

Многим из нас казалось, что пространство вне нашей системы будет выглядеть иначе, по-новому, хотя мы знали, что так быть не может. Однако в тот день, когда было объявлено о прохождении орбиты Цербера, мы вышли ранним утром на смотровые палубы с затаенным волнением. Но звездное небо было по-прежнему неподвижным.

Я стоял на передней палубе. С тех пор как мы вышли за пределы солнечной системы, в которой обращаются затемняющие свет пылевые частицы, видимость на смотровых палубах улучшилась. Полярная звезда осталась за кормой. «Гея», выйдя на курс, двигалась почти прямо к Южному полюсу неба, где на обширном выступе Млечного Пути сияла цель нашего путешествия — созвездие Центавра.

Перед нами простиралась Галактика. Огромное нагромождение светлых туч, застывших над бездной, пересекалось черными провалами, извилисто прорезавшими звездные массивы: это были облака холодной космической материи, затемнявшие свет находящихся позади звезд. Взгляд невольно обращался к солнцам Центавра.

В тесно наполненном небесными телами пространстве, среди мириадов звезд, таких слабых, что глаз вскоре переставал различать их, ярко сияли огни Южного Креста, а по другую сторону полюса Галактики, близ сверкающего алмазными гранями громадного шарообразного скопления Тукана 47, горели Магеллановы Облака.

Свет Большого Облака доходит до нас через пространство за восемьдесят тысяч лет. Это звездное скопление, в котором насчитывается почти пятьсот миллионов солнц, выделялось на черном фоне светлым бесформенным пятном. За ним, на границе видимости, окруженное отблесками сияния, светилось Малое Облако, бывшее как бы отражением Большого в бесконечно далеком темном зеркале.

Оба эти спутника нашей Галактики двигались за ней на расстоянии, не меняющемся в течение миллионов лет, привязанные силой тяготения.

Зрелище не изменялось, но не надоедало — вероятно, потому, что возбуждало всё новые и новые мысли.

Я стоял в раздумье, а звезды сияли надо мной — не изменчивым, мерцающим, словно капризным светом земных ночей, а горели ровно, будто неподвижные светильники, заключенные в черную ледовую оправу. Вдруг совсем близко послышался шепот; я оглянулся в ту сторону, откуда он доносился. В нескольких шагах от меня стоял человек и смотрел, подобно мне, в небо. В полумгле я заметил лишь, что он почти на голову ниже меня. «Какой-то юноша», — подумал я. Он тихо сказал:

— Там сердце Галактики... — и жестом, о котором я скорее догадался, показал мне место, где сходились созвездия Стрельца, Змеи и Скорпиона.

Теперь мы оба смотрели туда; над нами звездной тучей висело созвездие Стрельца, разрезанное темной трехлучевой туманностью.

Мой товарищ продолжал как бы про себя перечислять названия созвездий; он произносил их не как астроном-классификатор, а как человек, радующийся тому, что видит редчайшую коллекцию.

— Парус... Скорпион... Южная Корона... Хамелеон... Летающая Рыба... Сеть... Что за странная фантазия была у древних, — вдруг громко произнес он: — чего только не видели они в этом хаосе! Я все пытаюсь сложить

из этих светлячков что-нибудь похожее на название созвездия, но у меня ничего не получается.

Его звонкий голос и то, как он назвал звезды «светлячками», подтвердили мою догадку, что рядом со мной стоит юноша. Он говорил громко, но как бы про себя, и я не отвечал ему. Вдруг, не оборачиваясь в мою сторону, он сказал:

— Ты ведь доктор? Скажи, как чувствует себя наш новый товарищ?

Я, не понимая его, молчал.

— Ну, этот человек с Ганимеда, которого вы оперировали, — продолжал он.

— Жив, но без сознания, — ответил я довольно сухо, потому что юноша, обращаясь к старшему, должен был назвать себя. Чтобы преподать ему небольшой урок, я довольно холодно спросил: — Кто ты?

— Я? — В его голосе послышалось удивление. — Я Амета... пилот.

Я был поражен. В ангарах «Геи» было больше четырехсот ракет; их должны были пилотировать добровольцы — техники, физики и инженеры, прошедшие специальную подготовку. На всей Земле лишь небольшая группа людей занималась исключительно пилотажем. Эти пилоты работали в филиалах Института скоростных полетов; пятеро или шестеро из них входили в состав нашего экипажа. Среди них наибольшей известностью пользовался Амета, единственный человек, достигший во время экспериментального полета скорости свыше ста девяноста тысяч километров в секунду. Он едва не погиб тогда. Я представлял его себе огромным, атлетически сложенным мужчиной, а в действительности, судя по фигуре и голосу, это был почти мальчик. Когда он направился к выходу с палубы, я последовал за ним.

В матовом свете коридора я впервые присмотрелся к нему. Это был низкорослый, почти маленький крепыш, с непропорционально большой головой, рыжими волосами, худощавым, украшенным орлиным носом лицом, с крепко сжатыми губами. Его движения были легки; чувствовалось, что его сильное тело как бы сплетено из крепких пружин, готовых в любую минуту развернуться с огромной силой. Я заметил в уголках его глаз глубокие

морщинки. При разговоре он смотрел в лицо, как бы все время оценивая меня.

Коридор расширялся. С одной стороны виднелась глубокая ниша с креслами, в противоположную был вделан аквариум. В глубине его господствовал зеленоватый свет; там лениво плавали в разные стороны крупные рыбы. В нише сидел астронавигатор Сонгграм и светловолосая девушка, Лена Беренс, сотрудница Института планирования будущего на нашем корабле, которую я почти не знал. Мы сели рядом с ними. Амета стал молча рассматривать аквариум, и лучи, прошедшие через воду, окрасили его медно-рыжие волосы почти в черный цвет.

Вдруг он неожиданно сказал:

— Почему именно мы летим на другие звезды?

— Но ведь кто-то должен полететь первым, — начала Лена.

Амета прервал ее:

— Почему мы летим на другие звезды, а к нам, на Землю, никто никогда не прилетал?

Завязался спор, могли ли появиться на Земле в древние времена, несколько тысяч или даже сотен тысяч лет назад, пришельцы из других миров.

Сонгграм сказал:

— По сути дела, наша солнечная система мало привлекательна. Прежде всего, она находится на далекой окраине Галактики, в районе, где редки скопления звезд, между витками спиральной туманности, на расстоянии около тридцати тысяч световых лет от ее центра. Мы — глухая, отдаленная провинция Вселенной. Из всех планет нашей системы только Земля обладает высокоразвитыми формами органической жизни, но это одна из самых маленьких планет, которую трудно наблюдать с больших расстояний. За сотни миллионов лет она вместе с другими небесными телами не раз переживала периоды обледенения. Все это могло отпугнуть даже самых рьяных путешественников из других миров, и они отказались от мысли заглянуть к нам.

Амета кивнул головой:

— Ты прав, шансов на то, чтобы кто-нибудь собрался к нам в гости, очень мало... Жаль, однако, — добавил он. — Раньше люди либо совсем не думали о живых существах, населяющих другие миры, либо хотели бы по-

знакомиться с ними только из любопытства. Теперь же мы ощущаем иногда такую же тоску, как человек, который идет ночью и хочет кого-нибудь встретить.

Говоря, Амета всегда смотрел кому-нибудь в глаза. Теперь необычайно смягчившийся взгляд его встретился со взглядом Лены, которая вначале широко раскрыла глаза, а затем, как бы защищаясь, опустила веки. Мгновение спустя она встала и предложила всем перейти в сад. Сонгграм, который должен был идти на дежурство в кабине рулевого управления, кивнул нам на прощание и направился к лифту. Мы двинулись в другую сторону. Я вышел из ниши последним. Она по-прежнему была залита светом, проникавшим из глубины аквариума. Подойдя вплотную к его стеклянной стене, я встретил взгляд большой рыбы, которая, слегка покачиваясь, замерла в воде. У нее был подковообразный рот, по бокам которого, как усы, шевелились два слизистых отростка, придававшие рыбе глуповатое и в то же время несколько насмешливое выражение. У скал над ручьем несколько человек хором пели какую-то песенку. Я поднялся на небольшой холмик, покрытый виноградными лозами. Дальше тропинка опускалась по глинистому оврагу к беседке, скрытой среди высоких кустов сирени и орешника. Багряный диск заходящего солнца по временам перерезали узкие полоски туч, казавшихся черными на ослепительно ярком фоне.

Внутри увитой листьями беседки было почти темно. Я услышал голос Аметы:

— В Космосе нет ни голубого неба, ни ярких красок, ни тени, ни ветра, ни журчания воды, ни птичьих голосов. Ничего, кроме раскаленных газов, охваченных холодом планет, вечной ночи и пустоты. Земля представляет собой редкостное и необычайное явление... Ты спрашиваешь, почему я стал пилотом? Ты могла бы с таким же основанием спросить, почему твои ноги опираются именно на этот камень. Если бы его не было, на этом месте лежал бы другой.

— Я понимаю, — возразила Лена. Она пошевелилась, и я увидел золотистое сияние ее волос. — Но ты ведь не камень, тебя никто не клал на это место, ты выбрал его сам.

— Некоторые считают, что профессия пилота отли-

чается от всех остальных, что я постоянно рискую жизнью, — медленно произнес Амета, и я снова представил его себе широкоплечим великаном. — Это неверно: я не игрок и не герой. Я живу, как другие, только, может быть...

— Только — что? — тихо спросила Лена. И я понял, с каким огромным вниманием она слушает Амету.

— Полнее...

Казалось, что он обдумывает свои дальнейшие слова.

— Ты спрашиваешь, почему я стал пилотом? Видишь ли, я... хочу, чтобы можно было путешествовать по Галактике. Для этого нужно достигнуть очень высоких скоростей. Некоторые утверждают, что это невозможно. Если бы я ограничился уверенностью в своей правоте, этого было бы мало. Риэш утверждал, что человек не может преодолеть порог скорости — в сто восемьдесят тысяч километров в секунду: я хотел доказать, что это неправда. Теоретически сделать это я не умел, поэтому мне нужно было опровергнуть этот взгляд своим полетом.

— Можешь ли ты мне сказать, почему... ты тогда улыбался? — тихо спросила девушка. — Прости, не знаю, правда ли это.

Амета, немного смутившись, запнулся:

— А, ты и об этом слышала? Да, правда: когда меня вытащили из кабины, на моем лице застыла улыбка... Это, может быть, очень глупая история. Когда я включил ускорители, началось то, что называют мерцанием сознания. Я боролся против него сколько мог, потом полуобморочное состояние начало усиливаться. Но умирать мне не хотелось, а еще меньше хотелось, чтобы на этом все кончилось. Поэтому я начал смеяться — и лишился сознания.

— Не понимаю... Ты не хотел, чтобы кончилось — что?..

— Полеты, — просто ответил Амета. — Я не рассуждал логически, потому что не был способен на это, но, вероятно, представлял себе дело так: когда откроют кабину и увидят, что я улыбался до конца, подумают, что это... не так трудно. — Он помолчал немного. — Я понимаю, что сейчас это звучит глупо, однако повторяю: я просто не думал об этом, но не сделать этого не мог. Можешь назвать это проявлением инстинкта.

— Ведь ты мог погибнуть, — еле слышно произнесла девушка.

— Я знал это. Но, когда человек умирает, с ним вместе умирает и то, что он пережил, и его будущее: все возможности, которым не было дано развиться, все чувства. Печалиться о моей судьбе... Но не будем об этом говорить.

— Не хочешь?

— Впрочем, пожалуй, — ответил он более сухим тоном. — Дело в том, что я не связан ни с кем, кроме таких же, как я сам.

Когда Лена ушла, я сказал Амете, что слышал их разговор, и добавил:

— Если ты не хочешь связать свою жизнь ни с одной из девушек, то способ, каким ты их отпугиваешь, не очень хорош.

— Я не от себя отпугиваю девушек, — возразил он, и по голосу я понял, что он улыбается, — а от напыщенного героя, каким я никогда не был. Меня и моих товарищей окружает фальшивый романтизм, который многих увлекает. В таких случаях иногда следует причинить боль: это отрезвляет. Ну что ж, я воспитан в старинных принципах и продолжаю придерживаться их.

— Постой-ка, сколько же тебе лет?

— Сорок три. Да, я придерживаюсь старинных принципов...

Возвращаясь к себе, я взглянул на часы: время подходило к одиннадцати. В коридорах вместо фонарей дневного света зажглись синие лампочки ночного освещения. Судно было погружено во мрак, на всех палубах царила тишина. Я направился в больницу. В боксе, где лежал юноша с Ганимеда, было темно. Мы уже успели навести по радио справки на Земле и знали, что он был выпускником факультета звездоплавания и через три месяца собирался вернуться домой. Теперь он невольно стал участником звездной экспедиции.

Бокс, в котором лежал больной, был слабо освещен фиолетовой лампочкой, висевшей далеко от изголовья. Я осторожно вошел к больному. Его лицо было неподвижно. Только очень слабое подрагивание ноздрей при вдохе показывало, что жизнь еще теплится в его теле. Он по-прежнему был без сознания. Шрей считал необ-

ходимым исследовать мозг больного, однако мы откладывали этот шаг, предоставляя юноше окрепнуть после тяжелой операции.

Я стоял над кроватью больного и внимательно всматривался в его лицо, словно пытаясь прочитать его тайну. Но, кроме ощущения огромной слабости, на лице юноши не отражалось ничего. Вдруг на его щеках задрожали длинные тени, отбрасываемые ресницами, и я затаил дыхание, подумав, что больной просыпается. Однако он лишь вздохнул и вновь застыл. Я проверил автомат, стоявший у изголовья и наблюдавший за больным, и вышел в коридор. Когда я проходил по зеркальным плитам фойе, взгляд мой невольно задержался на араукарии. Я подумал о том, что ее нежные иглы, которые дрожат при малейшем дуновении, теперь со страшной скоростью несутся в пространстве вместе со всей ракетой. Я закрыл глаза. Огромное металлическое веретено «Геи», несущее в себе машины и людей, мчалось вперед сквозь вечную ночь.

Когда я подошел к дверям своей комнаты, послышался негромкий, медленно нарастающий свист. Судно ускоряло свой ход. Это происходило ночью, раз в сутки. Инструкция рекомендовала прекращать всякую работу и ложиться, хотя это было и не обязательно. Перед тем как включить двигатели, через репродукторы, находившиеся во всех помещениях, передавались предупредительные сигналы. Эти сигналы я и услышал на пороге комнаты. Наклонив голову и стоя неподвижно с закрытыми глазами, я долго вслушивался в этот глухой, монотонный звук, который мне придется отныне слушать много лет подряд.

ТРИОНЫ

Каждый из живущих в наше время людей владеет искусством письма, однако прибегает к нему не часто. Признаюсь, я всегда испытывал тайное удивление, когда слышал, что древние владели этим искусством мастерски. Стоит мне написать несколько десятков фраз, как рука устает до такой степени, что я бываю вынужден делать большие перерывы. Историки объясняли, что раньше, когда детей обучали чистописанию с самого

раннего возраста, человеческий организм привыкал к этому, и люди, говорят, могли писать целыми часами. Я верю, что так оно и было, хотя все это кажется мне очень странным

Еще более странным я считаю, что архаический способ накапливания знаний в изготовленных из бумаги книгах удерживался так долго. Это служит поразительным доказательством косности навыков, которые передаются из поколения в поколение. Применяя унаследованные приемы, люди часто осложняют этим решение многих вопросов.

Насколько мне известно — впрочем, мои познания в области истории невелики, — писаные документы существуют много тысяч лет. Различные цивилизации создали различные виды письма. Изобретение книгопечатания принесло большое облегчение, однако я считаю, что уже в XX и XXI веках способ хранения информации в книгах превратился в анахронизм, усложняющий жизнь. Как известно, в этот период существовали так называемые публичные библиотеки, непрерывно пополнявшие собрания имевшихся у них печатных изданий. Уже к середине XX века каждое крупное книгохранилище насчитывало по нескольку десятков миллионов томов. После победы коммунизма просвещение стало расти с необыкновенной быстротой, и процесс увеличения количества книг в библиотеках еще более ускорился. В 2100 году центральные библиотеки континентов состояли из девяноста миллионов книг каждая; их основной фонд удваивался через каждые двенадцать лет, и уже полвека спустя самые большие из них, такие, как берлинская, лондонская, ленинградская и пекинская, имели по семьсот библиотекарей, занятых составлением каталогов. Тогда было подсчитано, что через сто лет в каждой библиотеке необходимо будет привлечь к этой работе по три тысячи, а еще через двести лет — около ста восьмидесяти тысяч человек.

В первой половине третьего тысячелетия были созданы специальные отраслевые библиотеки, широкое распространение получили микрофильмы, составлением каталогов стали заниматься автоматы. Однако приходилось создавать каталоги каталогов и библиографии библиографических работ; этот процесс все более усложнялся,

и в конце концов ученому, который нуждался в какой-нибудь старой книге, приходилось ожидать ее иногда целую неделю — факт, который теперь кажется нам бессмысленным, особенно если учесть, что к тому времени люди располагали значительными техническими средствами, позволявшими радикально изменить такое положение вещей.

Лишь в 2531 году всемирное совещание самых крупных специалистов ввело совершенно новый способ хранения человеческой мысли.

Были использованы открытые уже давно, но применявшиеся лишь в технике трионы: маленькие кристаллы кварца, структуру которых можно изменять, воздействуя на них электрическим током. Кристаллик, по своим размерам не превосходящий песчинки, мог заключать в себе столько же информации, сколько ее содержалось в древней энциклопедии. Реформа эта не ограничилась изменением лишь способа записи. Решающим было введение качественно нового способа пользования трионами. Была создана единая для всего земного шара Центральная трионовая библиотека, в которой начиная с этого времени должны были храниться все без исключения плоды умственной деятельности человека. Каждый житель Земли мог немедленно при помощи простого радиотелевизионного устройства воспользоваться любым материалом, записанным на одном из кристаллов. Мы сегодня, пользуясь этой невидимой сетью, опоясывающей мир, совершенно не думаем о гигантских масштабах и четкости ее работы. Как часто каждый из нас в своем рабочем кабинете в Австралии, в обсерватории на Луне или в самолете доставал карманный приемник, вызывал Центральную трионовую библиотеку, заказывал нужное ему произведение и через секунду видел его на экране своего цветного, объемного телевизора. Каждым трионом может одновременно пользоваться, совершенно не мешая друг другу, любое количество людей.

В трионе можно закрепить не только световые изображения, вызывающие изменения в его кристаллической структуре, — страницы книг, фотографии, всякого рода карты, рисунки, чертежи и таблицы: в нем так же легко можно увековечить звуки, в том числе человеческий голос и музыку; существует способ записи запа-

хов. Короче говоря, все, что доступно воображению, может быть зафиксировано, сохранено в трионе и по требованию абонента предоставлено ему. Автомат, соединенный с трионом по радио, создаст на заводе или фабрике по чертежу или модели нужный предмет. Человек получит все, что хочет, — разнообразную мебель, самую необычную одежду.

Если бы роль трионов свелась только к вытеснению изжившей себя древней формы накопления знаний, к предоставлению каждому возможности пользоваться любым произведением и, наконец, к упрощению системы распределения потребительских благ, и тогда она была бы исключительно велика. Однако она оказалась значительно более важной и положила начало таким изменениям в психике людей, о которых первые реформаторы даже не мечтали.

В коммунистическом обществе в его поздней фазе теоретикам и фелицитологам — ученым, изучающим счастье, — много забот причиняла проблема уникальности некоторых предметов, бывших произведениями природы или делом рук человека. Казалось, к этому случаю, и только к нему одному, неприменим основной принцип коммунизма, гласящий «каждому по его потребностям». На Земле было много предметов, существовавших в одном или немногих экземплярах: полотна крупнейших художников, скульптуры, драгоценности. Каждым таким уникумом мог обладать либо один человек, либо его следовало превратить в доступную для всех общественную собственность.

Конечно, можно было снять много точных копий, для того чтобы удовлетворить всех желающих, но то были бы только копии. Унаследованное от предыдущих общественных формаций стремление к обладанию породило немало странностей. Одной из них была так называемая мания коллекционирования. Лица, страдавшие ею, собирали самые различные предметы, начиная с произведений искусства и кончая монетами и растениями. Так выглядел один из тупиков жажды обладания.

Другой подобный тупик также причинял немало трудностей. Неустанно растущая продукция благ позволяла каждому получить все, что бы он ни пожелал, независимо от того, нужно ли ему это в действительности или оно

призвано лишь удовлетворить его жажду обладания. Чувство радости, вытекающей из самого факта обладания каким-нибудь предметом, бессмысленное и даже смешное для нас, в те годы порождало много проблем, разрешить которые было нелегко. Говорилось, например, что в будущем у каждого будет так много разных вещей, что за автоматами, которые будут заботиться о его собственности, должны будут наблюдать другие автоматы, за этими — еще одни и так далее. Такова была карикатурная картина развития тех устаревших представлений, которые были унаследованы нами от предков.

Применение трионовой техники раз навсегда ликвидировало подобные псевдопроблемы. Любой существующий предмет сегодня можно, как говорят, «иметь по триону». Если, например, кому-нибудь захочется получить картину древнего художника Леонардо да Винчи, изображающую Мону Лизу, то он может повесить в своей квартире в рамке телевизионного экрана эту картину, переданную трионом, и любоваться ее красотой, а потом убрать ее, нажав выключатель. Проблема «оригинала» была разрешена с того момента, когда оригиналами стали кристаллики кварца.

Центральная трионовая библиотека Земли обслуживает всю солнечную систему; даже тот, кто совершает путешествие в пределах орбиты Юпитера, может пользоваться ею.

«Гею» на пути к звездам догонял мощный поток трионовой эмиссии с Земли, однако, по мере того как мы от нее удалялись, время между посылкой сигнала и получением ответа непрерывно росло. Когда для получения заказанного произведения пришлось ждать двенадцать часов, пользование трионами с Земли практически стало невозможным, и наступил великий момент переключения, которого все ждали с замиранием сердца.

«Гея» была первым в мире судном, снабженным собственным собранием трионов, значительно меньшим, чем Центральная трионовая библиотека Земли, но тем не менее насчитывавшим около полумиллиарда экземпляров.

Переключение наших телевизоров с земной эмиссии на судовую было решено произвести в полдень сотого

дня путешествия: по знаку, данному первым астронавигатором в центральной кабине рулевого управления, включилась судовая трионовая библиотека, и с этого момента мы были полностью отрезаны от передач с Земли.

Конечно, между ракетой и Землей продолжался обмен радиоинформацией; мощные передающие радиостанции обеспечивали бы связь, даже когда мы достигли цели путешествия — созвездия Центавра, но прохождение сигналов становилось все более длительным. Вначале оно длилось дни, и мы шутя говорили, что возвращаемся к временам так называемой почты, которая передавала информацию от человека к человеку через сутки и больше, потом сигналы между нами и Землей стали идти недели и месяцы, и радиоволны, двигающиеся со скоростью света, должны были преодолевать все более далекий путь, прежде чем дойти от нас до Земли. Так росло наше одиночество в межзвездном пространстве.

Жизнь на корабле шла своим чередом; создавались известные обычаи и традиции. Наши организмы привыкли к ритму сна и бодрствования, несколько более быстрому, чем на Земле: на «Гее» день и ночь длились по десяти часов. В лабораториях, кабинетах, залах корабля — всюду велась исследовательская работа.

Дни проходили, похожие один на другой. Работали в лабораториях обычно шесть-семь часов в день; правда, по плану полагался пятичасовой рабочий день, но этого почти никто не придерживался. Еще на Земле я как врач советовал людям работать поменьше, но ведь всегда так бывает, что каждый начинает жаловаться на перегрузку, а когда ему предложишь отдохнуть или освободиться от части работы, чувствует себя почти обиженным.

— Не принимай этого близко к сердцу, доктор, ты еще молод и глуп, — говорила мне профессор Чаканджан, седая женщина, руководитель секции палеоботаники в группе биологов. — Ведь человек должен похныкать, без этого ему жизнь не в жизнь.

Профессор Чаканджан приходит в амбулаторию почти ежедневно, то ли в качестве пациента, хотя у нее

почти ничего не болит, то ли как гость, и угощает меня рассказами. Таких «больных» во время моего дежурства набирается с каждым днем все больше; мне кажется, что мои «пациенты» просто хотят доставить мне удовольствие и засвидетельствовать, что мое присутствие на корабле совершенно необходимо. Посидев и решив, что все зависящее от них сделано, пациенты внимательно выслушивают мои наставления и исчезают.

Вчера, например, профессор Чаканджан рассказывала мне об одном из своих коллег, молодом ботанике, влюбленном в Милу Гротриан. Девушка ходила с ним на прогулки (это происходило еще на Земле), а он без устали классифицировал растения и читал Миле лекции. Когда он входил в прекрасный сад, то начинал: «Это происходит потому, что хлорофилл не поглощает зеленой части спектра, следовательно...» За семь недель Мила познакомилась с систематизацией растений, но перестала любить ботаника.

От Чаканджан я усышал также кое-какие подробности о Гообаре Она говорит о нем, как и все, с восхищением, но, по своему обычаю, не может удержаться от колкостей по его адресу. «Да, — сказала как-то она, — это необыкновенный человек, но он несносен значительно больше, чем того требует его гениальность».

Чаканджан рассказывала мне также истории про математика Кьеуна, самого рассеянного человека на нашем корабле. По ее словам, он распевает на какой-нибудь мотив то, что хочет запомнить, но часто бывает так, что слова улетучиваются у него из головы, а остается лишь мелодия, которую он напевает с каждым разом все более громко и фальшиво, пытаясь вспомнить нужное слово. За ним обычно ходит, как собачка, маленький автомат, собирающий все то, что он теряет, и запоминающий, куда Кьеун прячет ту или иную вещь или заметку.

Я предложил Чаканджан, страдавшей излишней полнотой, пройти курс гормональной перестройки организма. Она расхохоталась мне в лицо.

— Так, значит, плясать под твою дудку? — сказала она, немного успокоившись. — Мои железы хромают вот уже семьдесят лет. Думаю, что их хватит еще на столько же.

Анну я встречал лишь в больнице у койки юноши с

Ганимеда или в амбулатории, где мы сменяем друг друга на дежурстве. У Анны свободного времени мало: она работает в коллективе биологов. К тому же мы оба стараемся не быть вместе без официальных поводов.

Юноша с Ганимеда пришел в себя, но совершенно лишился памяти. Уставившись в потолок невидящими глазами, он целыми днями лежит неподвижно в своем боксе. Я боюсь, что он может остаться слабоумным, но не говорю об этом никому.

Людей, которым, как мне, почти нечего делать — ведь при всем желании трудно назвать работой мои кратковременные и никому не нужные дежурства, — на «Гее» немного. Это пилоты и художники. Но я знаю, что они все время работают. Перед обедом, когда лаборатории и рабочие кабинеты заполнены, в опустевшем парке или на прогулочной палубе можно увидеть, как кто-нибудь из музыкантов и видеопластиков бесцельно бродит, замкнувшись в себе: они создают новые произведения искусства.

После обеда залы отдыха, центральный парк и палубы заполняются людьми. Вокруг ученых возникают группы слушателей, обсуждаются результаты исследования, завязываются оживленные споры по поводу известий с Земли. Самые свежие из них уже устарели на месяц, прежде чем попасть к нам, но мы к этому привыкли. Я заметил, что у людей появилась привычка носить в карманах камешки, поднятые на берегу ручья. Они беседуют, ходят или читают и рассеянно вертят в пальцах маленький камешек — осколок гранита с Земли.

Сегодня я был у Нонны. Это девушка действительно способная, но одержимая духом противоречия: она любит казаться экстравагантной. Точную характеристику дал ей Амета. Он сказал: «Ты хотела бы, чтобы о тебе говорили, будто ты полетела в созвездие Центавра только затем, чтобы прикурить от звезды». Она приняла нас в заново отделанной комнате, как бы выстроенной внутри бриллианта: пол представляет собой многоугольную розетку, а потолок пирамидой уходит вверх, опираясь на наклонные треугольники стен. Стол и кресла сделаны из стеклянной массы, они совершенно прозрачны и казались бы лишенными очертаний, если бы не скелет из темного дерева, заключенный внутри каждого предме-

та и подчеркивающий геометрический замысел автора. А автор, конечно, сама Нонна.

— Как вам нравится моя комната? — спросила Нонна, едва мы успели войти.

— Ослепительная! — воскликнул Тембхара, закрывая рукой глаза. А Жмур добавил:

— И ты здесь живешь, бедняжка?

Мы расхохотались. Действительно, сверкание алмазных граней и стен, играющих всеми цветами радуги при малейшем повороте головы, было не особенно приятно, если побыть здесь подольше. Нонна показала нам свои архитектурные проекты. Оживленную дискуссию вызвал проект ракетного вокзала, формой напоминающего рассеченный надвое гиперболоид с серебряными колоннами, похожими на вертикальные крылья, каждое в двести метров высотой. Он мне понравился.

— Слишком красив, — оценил Тер-Хаар. — Зачем эти выкрутасы на высоте в сорок этажей? Разве люди, отправляющиеся в полет, будут задирать головы в то время, когда бегут к ракетам?

— Но зато на известном расстоянии эти колонны прекрасно венчают весь ансамбль! — защищала свой проект Нонна. Она обратилась к молчавшему Амете: — А ты что скажешь, пилот?

— Мне нравится. Я повесил бы этот рисунок у себя. Но как вокзал это не годится.

— Почему?

— Потому что эти вертикальные серебряные полосы во время движения ракеты будут ослеплять находящихся в ней людей. Ты об этом не подумала?

Нонна долго вглядывалась в эскиз, потом схватила его обеими руками и разорвала надвое.

— Он прав, — сказала она в ответ на наши протесты. — Не стоит об этом и говорить.

Двери открылись, в них показался Ериога, пилот, обладавший самым замечательным басом, какой мне доводилось слышать. Его приглашают всюду, но он ходит только туда, куда, как он говорит, приглашают не голос, а его самого. Мы познакомились довольно оригинально. Однажды утром в амбулаторию явился широкоплечий мужчина с такими светлыми волосами, что они резко выделялись на загорелом лице. Он вошел в кабинет, где

я проводил прием, и начал внимательно рассматривать меня, будто я был больным, а он — врачом.

— На что ты жалуешься? — спросил я, чтобы прервать этот осмотр.

— Ни на что, — отвечал он, добродушно улыбнувшись. — Я хотел лишь увидеть того, кто победил Мегиллу!

Сегодня он появился у Нонны в приподнятом настроении и уже от дверей закричал:

— Слушайте! Пущен гелиотрон! Только что было сообщение с Земли. Час назад пущен гелиотрон!

— Не час, а месяц, — поправил Тембхара, — на столько времени теперь опаздывают сообщения.

— Да, верно!

Ериога взволнованно воскликнул:

— Это неслыханно! Мы с таким опозданием узнаем об этом... Что-то происходит там, на Земле, а мы здесь ничего не знаем...

— Что происходит? Да то же, что и в сто десятом году, когда Тер-Софар закончил свою работу о фотонах, помнишь? — сказал я. — Люди тогда останавливали друг друга, спрашивали, когда будет передаваться очередное сообщение. В нашем институте — а я был тогда еще студентом — должны были начаться соревнования по гребле. Вдруг из репродукторов послышалось сообщение, что Тер-Софар будет продолжать изложение своей теоремы, и через минуту весь пляж опустел. Два часа лодки мокли пустые на реке, а люди стояли, прижавшись плечом к плечу, и слушали Тер-Софара.

Мы обедали в саду за столиками, живописно расставленными среди цветочных клумб. Это нововведение мы приняли с большим удовольствием. Тембхара, знавший бесчисленное количество исторических анекдотов, рассказывал об архитекторах XXII века, проектировавших «летающие города», целые каскады металлических дворцов, удерживаемых в воздухе вращением гигантских винтов. Нонна, в свою очередь, рассказала о знаменитом чудаке, специалисте по кибернетике XXIV века Клаузиусе, который создавал механических пауков, ловивших механических мух.

После обеда профессор Шрей, Тер-Хаар и я перебра-

лись на скалы над ручьем, чтобы закончить нашу беседу «на лоне природы». Неподалеку на лужайке играли двое детей: мальчик лет семи и девочка поменьше, вероятно брат и сестра. У обоих были темные волосы и кожа того глубокого золотистого оттенка, который появляется после долгого пребывания на солнце. Девочка то сжимала, то разжимала кулачок под носом у брата.

— А ты не знаешь, что это такое, — услышал я его слова.

— Нет, знаю: денежка!

— А что такое денежка?

Девочка задумалась так крепко, что даже сморщила носик.

— Я знала, да забыла.

— Ты всегда так! — с презрением произнес мальчик. — Никогда ты не знала. Деньги — это такая штука... Эх! — Он махнул рукой. — Все равно не поймешь.

— Ну, скажи же, скажи!

— Давно, очень давно за это получить можно было все. Ну вот, и больше ничего.

— Что?

— Все равно ты ничего не поняла. Я так и знал.

— А вот поняла, все поняла! За такие кружочки давали все, что хочешь. Значит, взрослые тогда тоже играли? Вот было хорошо! Знаешь, попросим папу, он сделает нам еще такие де-неж-ки.

С трудом сдерживая смех, хирург прошептал Тер-Хаару:

— Слышишь? Наконец нашелся человек, пожалевший о «добром старом времени»!

Мальчик бросил взгляд в нашу сторону. Шрей улыбнулся и кивком головы подозвал его к себе. Малыш смело подошел.

— Как тебя зовут?

— Андреа.

— А я Шрей. Я врач, а вот он, профессор Тер-Хаар, как раз изучает те старинные времена, о которых ты говорил, понятно? Он может рассказать тебе о них много интересного!

Затем, посмотрев на часы, он встал и, взяв меня под руку, добавил:

— А мы простимся с вами: нам надо идти в больницу. Веселой беседы!

Удаляясь, я перехватил полный отчаяния взгляд Тер-Хаара. Прямодушный Шрей даже не подозревал, какую медвежью услугу оказал он историку, принеся его в жертву детям.

Когда двумя часами позднее я зашел в сад подышать свежим воздухом, то был крайне удивлен, увидев Тер-Хаара на том же месте над ручьем. Я уселся рядом и стал слушать, как он рассказывает мальчику о том, что происходило тысячи лет назад. Он говорил о временах, когда люди были привязаны к маленькому кусочку земли и надрывались в непосильном труде, о страшных войнах, уничтожавших в течение нескольких часов то, что создавалось веками, о тиранах, живших в роскоши, в то время как их подданные умирали с голоду. Мальчик слушал, забыв все на свете: он перестал поправлять спадающие на лоб волосы, его глаза становились все темнее и как бы старше. Он прижал загорелые ручонки к груди и долго держал их в таком положении после того, как ученый закончил свой рассказ. Наконец он ушел, погруженный в глубокое раздумье.

Тер-Хаар сиял от радости, что нашел такого понятливого слушателя. Потом мы прошлись с ним по парку, слушая хоровое пение. Наступили сумерки, и искусственная, очень красивая луна залила деревья серебристым светом. Вдруг из боковой аллейки показался мальчик. Он быстро подошел к историку, поклонился и сказал:

— Извини меня, но все, что ты рассказал, — это только сказка, верно?

Тер-Хаар ответил не сразу. Он посмотрел на мальчика, и улыбка постепенно исчезла с его лица.

— Да, — сказал он, — это только сказка...

Прошла неделя после пуска трионовой библиотеки, и мы перестали встречать некоторых членов экипажа. Уединились почти все астронавты, физики, нигде не показывались конструкторы Утенеут и Ирьола, словно их вообще не было на ракете. Однако никто не придавал этому особого значения. Заметив отсутствие кого-либо из экипажа, многие говорили себе, как я: «У него есть свои причины».

В тайну я проник случайно. Один молодой математик пожаловался мне, что, когда он хотел произвести какие-то весьма сложные расчеты при помощи главного электромозга «Геи», Тер-Акониан наотрез отказал ему, заявив, что аппаратура временно перегружена.

— Что за условия работы! — жаловался юноша. — Какой-то примитивный быт; в каменном веке у каждого человека был, по крайней мере, свой кремень и он производил расчеты, рисуя черточки, сколько ему хотелось. Камней, тогдашних счетных машин, было вволю. А теперь? И еще говорят, что у нас здесь есть все, что нужно!..

После обеда я отдыхал у Тер-Хаара. У него собралось много гостей, в том числе сотрудники Гообара — биофизик Диоклес и математик Жмур. Диоклес — темноглазый брюнет небольшого роста; он отличается какой-то, я бы сказал, вечной озабоченностью. Создается впечатление, будто он что-то потерял и только что узнал об этом прискорбном факте. Напротив, Жмур показался мне исключительно спокойным, владеющим собой в любых обстоятельствах, в которых его малорослый коллега теряется. Он рассказывал нам о Гообаре. Я с интересом слушал его, потому что он был хорошим рассказчиком и обладал немного суховатым юмором. Он объяснял, почему одни студенты страстно любят лекции великого ученого, а другие терпеть не могут. Когда Гообар читает лекцию, сознавая, что сообщает слушателям неизвестный и очень трудный для них материал, он тянет, повторяется, заикается, и в таком случае лучше прочитать учебник. Когда же он начинает рассказывать о вещах, близких и дорогих ему, то вся медлительность исчезает; со свойственной ему манерой перескакивать от одного пункта доказательств к другому, очень далекому, он с подъемом и страстью ведет за собой слушателей...

— Ну, это обычное явление, — сказал Жмур. — Трудно требовать от серны, чтобы, взбираясь на скалы, она соразмеряла прыжки с шагами пешехода. Если же она, приложив все усилия, пойдет так же медленно, как и он, то беспрерывно будет выполнять десятки излишних движений: то забегать вперед, то останавливаться и отступать назад, и ее искусственно замедленным движениям тогда будет не хватать красоты и силы, каки-

ми она поражает лишь в свойственном ей молниеносном беге.

Кто-то из присутствующих вспомнил анекдот, в котором говорилось, что, когда Гообар впервые излагает новую теорию, ее никто, даже он сам, не понимает. При вторичном изложении ее понимает лишь он один, а простым смертным, то есть рядовым специалистам, она начинает становиться ясной не раньше чем при повторении в восьмой или девятый раз. Все рассмеялись, беседа перескочила на другую тему, но вскоре вновь послышалось имя Гообара. Я сказал, что мы представляем себе гения только стариком, а Гообар совсем не стар. Я попытался припомнить черты Гообара, но не смог этого сделать: воображение рисовало мне лишь выражение глаз, нависший лоб и рот. О внешности Гообара думал не я один, потому что кто-то вдруг спросил:

— А какого цвета у него глаза? — И никто из сотрудников Гообара не сумел ответить на этот вопрос.

— Вот видите! — торжествующе сказал тот, кто задал этот вопрос, словно он проводил опыт, который должен был доказать какое-то не высказанное им положение.

От Тер-Хаара я вышел уже поздно вечером и направился к себе домой. В глубокой нише атомного барьера я увидел Ирьолу, молодого Руделика и неизвестную мне женщину. Я хотел пройти мимо, но послышался предостерегающий свист: через минуту «Гея» должна была ускорить ход. Я не успел бы дойти до лифта и остановился около них. Они обменялись взглядами, говорившими, как мне показалось, о некотором смущении, но, прежде чем кто-либо успел сказать хоть одно слово, автоматы включили двигатели. Ничего не изменилось: только наши тела, казалось, стали тяжелее. Если бы не сознание того, что двигатели работают, я мог бы думать, что мной овладел внезапный приступ тоски. Остальные трое в это время забились в самый дальний угол ниши. Они наклонились над выступающей из броневой стены массивной плитой, представлявшей собой продолжение одной из огромных внутренних балок корабля.

Не без удивления я заметил, что Ирьола курит папиросу; вообще это очень редкое зрелище, а его я никогда до сих пор не видел курящим. Он наклонился над

плитой и стал стряхивать на нее пепел, рассыпавшийся тонким слоем. Это продолжалось несколько минут и походило на странную забаву, но я заметил, с каким вниманием все вглядываются в поверхность металла. Невольно наклонился и я, чтобы что-нибудь увидеть. Мельчайшие частицы пепла не лежали неподвижно, но весьма медленно передвигались, образуя какой-то рисунок. Первые несколько десятков секунд я не мог уяснить себе его характер, затем внезапно увидел: пепел собирался концентрическими дугами, центр которых находился где-то за барьером, в глубине атомных камер. Работающие двигатели вибрировали слишком слабо, чтобы можно было ощутить эту вибрацию, но барьер пе-

редавал неуловимое глубинное содрогание тонкому слою пепла, который накоплялся в неподвижных местах, то есть в узлах, образуемых волнами.

Ирьола что-то записал, женщина закрыла крышку прибора, стоявшего на треножнике, еще мгновение — и короткий, глухой вздох проводов известил, что двигатели выключены.

— Что вы делаете? — спросил я.

Ирьола посмотрел мне в лицо и прищурился.

— Прежде всего, доктор, никому ни слова. Ладно?

— Никому об этом не говорить? — удивился я. — Хорошо, обещаю. Но скажите мне, в чем дело?

— Вибрация, — загадочно произнес Ирьола.

Руделик не смотрел на нас: задумчиво или, может быть, встревоженно, он потирал подбородок. Только незнакомая мне женщина стояла спокойно, вглядываясь в пустоту коридора.

— Но почему же вибрация опасна? — спросил я.

Ирьола пожал плечами.

— Нагрузка двигателей всегда одинакова; при более низких скоростях вибрации не было, она появилась начиная с...

— ...с шестидесяти тысяч километров в секунду, — вдруг сказал Руделик и взглянул на нас, как бы очнувшись от задумчивости.

— Но в чем же все-таки дело?..

— Не знаю, — просто сказал Руделик. — Мы не предвидели такого положения; оно необъяснимо с точки зрения теории. Значит...

— ...значит, теория ошибочна... — закончила женщина. Она стояла неподвижно. В ее голосе слышалась огромная усталость.

— Ну хорошо, — сказал я, — но какое имеет значение такая слабая...

Ирьола вскинул глаза, коротко взглянул на меня и вновь опустил взгляд. Меня поразила смутная догадка.

— Великое небо! — воскликнул я. — Эта вибрация усиливается по мере ускорения полета, верно?

— Тише!

Руделик сжал мою руку.

— Извини! — смутившись, пробормотал я.

Ирьола, казалось, не заметил этой сцены.

— Усиливается ли она? — спросил он как бы у самого себя и ответил после небольшой паузы: — Да, усиливается, но...

— ...но не в прямой пропорции, — докончил Руделик.

Он словно сжался, его глаза сверкали, я видел, что в это мгновение он забыл о моем существовании и обращался к одному инженеру; инстинктивно он вытащил карманный анализатор.

Жестом руки Ирьола как бы зачеркнул его слова.

— Ну хорошо, — сказал он, — допустим, что вибрация достигает максимума при скорости в сто тридцать тысяч километров в секунду, а потом начнет ослабевать, хотя и ненамного. Правда, Гообар говорит, что и это хорошо, но...

— Как, вы и Гообара втянули в эту историю?

Вместо ответа Ирьола сдержанно улыбнулся, как бы говоря: «Ты все еще ничего не понимаешь...»

— Он говорит, что это хорошо, — продолжал инженер, — но, по правде говоря, утешительного для нас мало: это явление интересует его лишь поскольку оно связано с текущей работой.

— А оно все-таки связано, — вставила женщина.

— Да, и он даже доволен. Говорит, что оно помогло ему.

— Что же все это значит? Разве есть какая-нибудь опасность? — спросил я и сам не знаю почему почувствовал стыд.

— Опасность? — удивленно спросил инженер. — Не думаю: конструкция «Геи» рассчитана с семидесятикратным запасом прочности...

— Так что же?

Ирьола встал. Все собрались уходить. Женщина подняла установленный у стены виброметр, а Руделик потянул автомат, который двинулся за ним, как маленькая собачонка.

Они, не простившись, прошли мимо меня, будто я растаял в воздухе. Ирьола шел позади всех; вдруг он остановился и взял меня за руку. Я ощутил крепкое пожатие.

— Это то, от чего нас отучила жизнь, — сказал он, глядя мне в глаза. — То, что не вмещается в здание, которое мы возвели за тысячу лет, — и он сделал жест ру-

кой, как бы указывая на окружавшее его, но я понял, что он имеет в виду здание науки. — То, что хуже опасности, — добавил он тише.

— Хуже опасности?... — переспросил я.

— Да, — ответил он. — Неизвестность.

Ирьола отпустил мою руку и пошел вслед за остальными. Долго, очень долго смотрел я на полустертые следы вибрации на поверхности плиты, похожей на запотевшее зеркало.

ЗОЛОТОЙ ГЕЙЗЕР

Прошло пять месяцев с начала нашего путешествия и два месяца с тех пор, как начали заметно опаздывать радиосигналы с Земли. Теперь у меня свободного времени было меньше, чем прежде: я был занят юношей с Ганимеда. Профессор Шрей провел со мной и Анной консилиум, на котором мы решили тщательно исследовать мозг больного. Главный хирург предложил запросить о нем Землю: он считал, что нам придется заставить юношу выучить свое прошлое, как бы записывая все заново в его памяти, которую опустошила катастрофа.

Юноша был совершенно пассивен и позволял делать с собой что угодно, не оказывая никакого сопротивления. Им можно было руководить, как ребенком. Анна уделяла ему много внимания. Я часто видел, как она ходила в саду между цветочными клумбами, держа его за руку, а он, высокий, стройный и весьма серьезный, послушно шел за ней, по временам стараясь приспособиться к ее мелким шажкам. Она говорила с ним, показывала цветы, называла их, но все разбивалось о его спокойствие восковой куклы.

Наконец Шрей назначил решающее исследование. Громоздкая энцефаловизионная аппаратура имела какой-то дефект, устранить который я сам не мог, поэтому мне было поручено договориться об этом со вторым астронавигатором Ланселотом Гротрианом, на обязанности которого лежало наблюдение за автоматами технического обслуживания. Я не сразу нашел его: он только что закончил дежурство и ушел из кабины рулевого управления. Автоматы-информаторы тоже не сумели

указать мне, где он находится. Блуждая по всему кораблю, я зашел в самый дальний его конец. Перед малым концертным залом коридор расширялся, образуя большое фойе. Посредине фойе возвышалась белая статуя. Гротриан стоял у боковой колонны. Я передал ему свою просьбу.

Во время беседы мы начали ходить; шум наших шагов, усиленный резонансом от сводчатого потолка, похожего на поднятую высоко раковину, громко отдавался в коридоре. Не знаю, как это случилось, но мы, как бы сговорившись, остановились прямо против статуи. Это был юноша, который отправился в дальнюю дорогу и остановился отдохнуть. Его лицо было банально, неинтересно. Но оно напоминало раннее мартовское утро и голые, обрызганные водой деревья, протягивающие в тумане свои ветки навстречу встающему бледному солнцу в ожидании радостных летних дней. Такое было у него лицо: оно говорило о том, что он ждет исполнения всех своих желаний, самых заветных. Гротриан сказал, что скульптуру изваяла Соледад. При этом я вспомнил маленькую сценку, происшедшую неделю назад. Я встретил Соледад в саду, она сидела на вершине холма с настоящей, старинной книгой на коленях. Заинтересовавшись, я спросил, что это за книга. Она не ответила, даже не подняла головы, но начала читать вслух:

— «Его спросили:
— Как тебе жилось?
— Хорошо, — ответил он, — много работал.
— Были ли у тебя враги?
— Они не помешали мне работать.
— А друзья?
— Они настаивали, чтобы я работал.
— Правда ли, что ты много страдал?
— Да, — сказал он, — это правда.
— Что ты тогда делал?
— Работал еще больше: это помогает!»
— О ком это? — спросил я.

Она назвала какого-то древнего скульптора и вновь принялась читать, сразу же забыв о моем присутствии.

Я рассказал об этом Гротриану и спросил, считает ли он, что участие в экспедиции может быть полезным Соледад как скульптору.

— Думаю, что да, — сказал он. — Очень трудно отразить на поверхности камня то, что кроется глубоко в людях. И — можно многое узнать о человеке, глядя на звезды...

Во время этой беседы я изучал лицо астронавигатора. На нем проступали следы старости — линии, сбегавшие вниз. Были тяжелы морщины вокруг глаз и складки щек. Глаза под седыми бровями заволакивал какой-то туман. Но, посмотрев с последними словами на меня, он — странное дело — показался моложе меня самого.

Вечером мы собрались в операционной и уложили юношу, по-прежнему безразличного ко всему, на металлический стол. Когда Шрей начал опускать вниз широкие пластинки электродов, которые должны были опоясать голову юноши, тот неожиданно закрыл лицо руками. Этот порывистый жест испуга так поразил нас, что мы остановились в недоумении — мы привыкли к его всегдашней пассивности.

Анна наклонилась над ним и заговорила тихо, ласково, нежно, разгибая его пальцы, словно играла с ним в детскую игру. Юноша перестал сопротивляться, хотя его лицо продолжало оставаться напряженным. Металлические захваты обняли его виски, опустились на щеки ниже глаз. Кремовое покрывало прикрыло его торс, и только обнаженная грудь равномерно колебалась в гаснущем под рукой Шрея свете. Наконец воцарился полумрак. Из сверкающего колпака, который теперь плотно покрывал череп больного, торчали, как колючки ежа, приемники токов. Все вместе они образовали подобие экрана, который воспринимал слабые электрические разряды мозга и, усиливая их в тысячу раз, передавал на аппаратуру, расположенную у изголовья операционного стола. Там возвышался стеклянный аппарат, своими очертаниями напоминавший глобус.

Как известно, распространенная когда-то гипотеза, что можно будет, записывая электротоки мозга, прочитать человеческие мысли, не оправдалась, поскольку у каждого человека ассоциации возникают по-иному и сходным кривым не соответствуют сходные понятия. Поэтому врач с помощью энцефалоскопа не может узнать, о чем думает больной, но может установить, как формируется динамика психических процессов, и на этом

основании определить заболевание или повреждение мозга.

Долгое время Шрей сидел неподвижно, вслушиваясь в гудение усилителей, будто надеялся уловить в этом хаосе звуков какую-то мелодию, затем включил аппарат.

Прозрачный глобус осветился изнутри. Тысячи искр мелькали в нем так быстро, что видны были лишь дрожащие спирали и круги—фантастическое кружево света, висящее в пространстве и изрезанное тонкими, острыми зубчиками. Кое-где более густые волокна света сливались в туманные пятна жемчужного оттенка; постепенно весь шар наполнился фиолетовым светом и стал похож на маленькое небо, изрезанное падающими звездами. Извилистые линии то сплетались, то расплетались, создавая рисунок исключительной красоты и тонкости.

— Говорите с ним, говорите, — прошептал Шрей, обращаясь к Анне.

— *О чем? — нерешительно спросила Анна.*

— О чем хотите, — проворчал Шрей и еще ниже наклонился над светящимся шаром.

Анна приблизила голову к колпаку. Я увидел лишь ее темный профиль на светлом фоне.

— Юноша, ты слышишь меня, правда?

В хаосе переплетенных светящихся линий ничего не изменилось.

— Скажи мне, кто ты? Как тебя зовут?

Ее голос на фоне монотонного гула аппаратов звучал слабо. Этот вопрос мы задавали ему десятки раз, но никогда не получали ответа; и теперь больной молчал, а яркие искры продолжали двигаться по замкнутым кривым, колеблясь то вверх, то вниз. Анна задала юноше еще несколько вопросов, напомнила о Ганимеде, звездоплавательной станции, называла общеизвестные имена, но все это не вызывало никаких изменений в движении световых точек.

Хотя до этого мне не часто приходилось присутствовать при таком тщательном исследовании мозга, я вспомнил все, что слышал об этом на лекциях: искры, непрерывно двигаясь по орбитам, к которым они словно были привязаны, отражали жизненные процессы, происходившие в мозгу. Их ритмику и симметрию не нарушали не-

регулярные спиралевидные разряды, производившие хаотическое впечатление, хотя они-то и показывали картину мышления. Будучи студентом, я с трудом мог понять, как такие молнии, мечущиеся в беспорядке, отражают кристаллически ясный порядок мышления.

Склонившись над черневшим во мраке плечом Шрея, я смотрел в глубь шара. Кое-где он светился неравномерно: поток света как бы разбивался о невидимые рифы и золотыми струями обтекал их, создавая туманные контуры волн и водоворотов.

Наконец Анна, обескураженная, замолкла. Меня уже начала охватывать усталость, вызванная неудобным положением: я стоял, сильно наклонившись вперед. Шрей что-то глухо бормотал себе под нос, наконец крякнул и сказал:

— Довольно.

Казалось, Анна не расслышала его. И спустя секунду она в тишине, нарушаемой лишь гулом усилителей, задала больному вопрос:

— Ты кого-нибудь любишь?

Прошла доля секунды; вдруг световые точки, летавшие внутри шара, вздрогнули. В темноте возник золотой фонтан, он засверкал, разметал замкнутые орбиты и выстрелил вверх; казалось, что он пробьет стены стеклянной тюрьмы. Потом свет опустился и погас, все приняло прежний вид, и снова на экране было видно лишь, как в призрачном фосфорическом сиянии стремительно носятся яркие искры.

Шрей выпрямился, выключил аппарат и включил верхнее освещение. Ослепленный ярким светом, я закрыл глаза.

— Так, — сказал хирург, как всегда, словно разговаривал с самим собой. — Моторная афазия... Тяжело повреждено около десяти полей...

Тут он подошел к Анне и, положив ей руки на плечи, сказал:

— Замечательно, девочка! Как это тебе пришло в голову?

Анна беспомощно улыбнулась:

— Не знаю. Я даже подумала, что это было глупо с моей стороны, потому что нервные пути...

— Не глупо! Совсем не глупо! — прервал Шрей. —

Нервные пути нарушены, не правда ли? Но есть воспоминания, которые можно уничтожить лишь вместе с человеком. Ты поступила замечательно! Не знаю, но...

Не окончив фразы, он подошел к койке и освободил лежащего. Юноша широко раскрыл глаза с огромными зрачками — такими огромными, что они казались двумя черными солнцами, скрытыми затмением и окруженными узким венчиком серо-синего ореола. Эти глаза смотрели сквозь нас безразлично, неподвижно.

— Абулия... лобные поля... — бормотал Шрей. — Дело плохо, но ничего, будем оперировать еще раз...

Местом, где регулярно встречались люди самых различных профессий и групп, был спортивный зал. Я советовал всем систематически заниматься гимнастикой и сам показывал пример другим, являясь через день на спортивные занятия. Нашим тренером был друг Аметы — Зорин. Я так никогда и не узнал, пилот ли он, занимающийся попутно кибернетикой, или же специалист по кибернетике, который упражняется в пилотаже. Он говорил, что ему пришлось столько поколесить по различным звездоплавательным станциям, что, выбившись совершенно из ритма сна и бодрствования, он мог работать или спать в любую пору дня и ночи. Зорин был настоящим атлетом; таким именно я представлял себе Амету, когда еще не знал его. Самые сложные гимнастические упражнения он выполнял без всякого напряжения. Во всех его движениях, в том, как он подавал руку, во внешне тяжелой, но беззвучной походке таилась сонная, кошачья грация, словно он и радовался, обладая таким великолепным телом, и вынужден был непрерывно преодолевать его лень.

Мы все обожали его; он умел разжигать в нас какое-то детское честолюбие. Я помню, как Рилиант по вечерам приходил в зал, чтобы отработать какой-нибудь бросок, и трудился над этим несколько недель лишь ради того, чтобы Зорин одобрительно кивнул головой.

Говорили, что Зорин был замечательным конструктором; его товарищи из группы Тембхары часто рассказывали о чудесной интуиции, с которой он предвидел самые отдаленные последствия того или иного решения

проблемы. Никто не знал, как и когда он работает, — он приходил к Тембхаре как гость, проводил часок в лаборатории, брал тему и возвращался через два-три дня с готовым решением. У него была удивительная память: он никогда не делал заметок. Его просторный селенитовый комбинезон, испускавший голубоватый свет, можно было неожиданно заметить в одной из самых удаленных от центра корабля темных галерей, где-нибудь близ ангара или на нулевой палубе; он часто забирался туда один. Если же рядом с ним шагал кто-то, можно было биться об заклад, что это был Амета. Они, казалось, вообще не разговаривали друг с другом: каждый из них владел искусством молчания, которое меня всегда так удивляло и даже тревожило, поскольку было мне совершенно чуждо. Иногда они ходили по смотровой палубе, изредка обмениваясь между собой непонятными никому словами — названиями кораблей или звездоплавательных станций — и вновь молчали, словно обдумывая одну, совместно избранную ими тему.

К этому времени «Гея» достигла скорости девяноста тысяч километров в секунду. На первый взгляд она продолжала висеть неподвижно среди звезд, и лишь оттенки их света начали постепенно меняться в результате эффекта Доплера; звезды, расположенные прямо по носу, сияли голубым светом, те же, которые находились за кормой, становились все более красными. Чувствительные аппараты, регистрировавшие эти изменения, вычисляли скорость полета, страшную и непонятную в условиях Земли: снаряд, несшийся с такой быстротой, столкнувшись даже с наименее плотными слоями земной атмосферы, испарился бы, превратившись в газовое облако. Однако здесь все было тихо и беззвучно: так же спокойно светили звезды, так же безмолвна была черная бездна. Солнце можно было видеть лишь с кормовых палуб: оно походило на довольно крупную золотистую звезду, сиявшую в глубине облака зодиакальной пыли, вращающегося в плоскости эклиптики.

Увеличение расстояния от Земли выражалось лишь в увеличении ряда мертвых цифр на показателях приборов: они были уже непостижимы для ума.

Мне неоднократно предлагали включиться в различные группы, и я, признаюсь, даже собирался заняться

видеопластикой, но затем воздержался. Зато я все больше увлекался занятиями медициной и вечерами, ощущая приятное чувство физической усталости после тренировок, проводил сложные операции на трионовых моделях и изучал богатейшие медицинские пособия, которые были в судовой библиотеке.

Хотя занятия медициной поглощали все мое время, тем не менее я чувствовал какую-то смутную неудовлетворенность. То мне казалось, что я слишком мало общаюсь с людьми, то приходило в голову, что моя наука носит слишком академический характер и никому на корабле не приносит пользы. Надежда на практику по возвращении на Землю была такой отдаленной, что фактически потеряла реальный смысл.

Я учился, читал. Принимал здоровых «пациентов», посещал Тер-Хаара, прогуливался с Аметой, а в это время на корабле медленно происходили неотвратимые изменения. Мелкие, но многочисленные события и факты должны были привлечь мое внимание, однако я был глух и слеп. Впоследствии я немало удивлялся тому, как мог ничего не замечать, но теперь я думаю, что мой ум в реакции самозащиты не хотел допускать вестников приближавшихся событий, того, что уже ожидало нас в одной из черных, холодных пучин, сквозь которые без устали мчался наш корабль.

Однажды вечером, когда мы, усталые от бега, полуголые отдыхали на лежаках и от наших тел после душа поднимался пар, кто-то из нас, лениво похлопывая себя по бедрам ребром ладони, как бы вновь начиная прерванный массаж, пожалел, что мы не можем заниматься греблей. Зорин, улыбнувшись, сказал, что собирается организовать на «Гее» регату восьмерок, и в ответ на наши удивленные вопросы рассказал, как он это себе представляет. Лодки можно установить в небольших прямоугольных бассейнах с водой, окружить их видеопластическим миражем озера или даже моря, и экипажи начнут соревнования: скрытые измерительные аппараты определят, какая из восьмерок гребла быстрее, и та будет признана победительницей. Он уже по своей привычке рисовал в воздухе контуры, как вдруг физик Грига сказал с досадой:

— Это будут не соревнования, а галлюцинация. Вооб-

ще здесь слишком много этой видеопластики. Искусственное небо, искусственное солнце, искусственная вода; кто знает, может быть, все мы сидим в обыкновенной бочке, а «Гея», экспедиция и межпланетные пейзажи — все это лишь видеомираж!

Кое-кто из нас рассмеялся, но наш смех еще больше задел физика.

— К черту такую забаву! — воскликнул он и, вскочив, разразился гневной речью: — Все это самообман! Если так будет продолжаться, мы дойдем до того, что вообще никто не будет делать ничего, даже видеопластика будет не нужна. Чтобы пережить восхождение на Гималаи, достаточно будет проглотить пилюлю, которая вызовет соответствующее раздражение в мозгу, и, сидя в своем кресле, ты будешь испытывать самое подлинное впечатление того, что находишься среди скал и снегов! Хватит дурачить нас! Это какие-то наркотики, отвратительные суррогаты! Если человек не может что-нибудь делать по-настоящему, не нужно этого делать вообще!

Последние слова он почти выкрикнул. Вначале некоторые из нас засмеялись, но смех прервался. Биолог попытался было что-то рассказать про наркотики, но беседа не клеилась, и мы быстро разошлись.

Долгое время мне не давала покоя мысль о том событии, о котором я случайно узнал у атомного барьера. Я дал слово никому не рассказывать об этом, но должен признаться, что несколько дней подряд ожидал вечернего сигнала с растущим беспокойством и, где бы ни находился, внимательно наблюдал за окружающим. Несколько раз я заглядывал вечером в нишу атомного барьера. Там было пусто и темно. Мне хотелось повторить эксперимент Ирьолы с пеплом, но я опасался, как бы кто-нибудь не застал меня за этим занятием. В конце концов проблема разрешилась сама собой. Ирьола к концу следующего месяца вновь стал приходить в столовую. Он был в прекрасном настроении и, казалось, совсем забыл о нашей ночной встрече. Несколько раз я пытался намеками напомнить ему то, что произошло, но он не понимал их, и я вынужден был спросить его прямо.

— Ах, ты об этом, — сказал он. — Такие вещи случаются, когда что-нибудь делаешь впервые. Ничего, все в порядке.

...На восьмом месяце путешествия ракета достигла скорости ста тысяч километров в секунду. В своем беге она рвала в клочья встречные световые волны и рассеивала их далеко позади. Мы достигли трети максимальной скорости, существующей в мире. Но звезды оставались неподвижными и безразличными к нашим усилиям. Самого малого передвижения созвездий, измеряемого микроскопическими величинами, надо было ждать не дни, не месяцы, а годы. Мы неслись день и ночь, автоматы включали двигатели, струи атомного огня с грохотом вылетали из дюз, ракета ускоряла свой бег, пролетала 105, 110, 120 тысяч километров в секунду, а звезды по-прежнему оставались неподвижными...

ДЕВЯТАЯ СИМФОНИЯ БЕТХОВЕНА

Все то новое, еще не изведанное, что тлело где-то в глубине сознания, все то, что подавлялось при встречах с людьми или в часы, проведенные за аппаратами, настроенными на передачи с Земли, но бурно вспыхивало в те минуты, когда я просыпался ночью, или во время одиноких прогулок под звездами на заре, — все это собралось вместе и всплыло на двести шестьдесят третий день путешествия.

Я закончил обычные занятия позднее, чем всегда, и, стоя под большой араукарией на полпути между больницей и моей комнатой, думал о том, как убить остаток вечера. Не придя ни к какому решению, я отправился в сад.

Спускался ранний весенний вечер. Вероятно, по просьбе кого-нибудь из товарищей, ветер дул с большей силой, чем обычно, и его порывы, раскачивавшие ветви деревьев, будили во мне давно забытые, но приятные воспоминания. В потемневшем небе над головой плыли большие, бесформенные облака, низко опустившееся солнце то пряталось за ними, то бросало последние лучи, и тогда все деревья и кусты, как бы внезапно проснувшись, отбрасывали на землю четкие тени.

На скалах под обрывом, с которого стекал ручеек, сидело трое ребят в возрасте от двенадцати до пятнадцати лет. Самый младший из них слизывал сахарную пуд-

ру с пирожного. Священнодействие его было таким глубоким, что я невольно залюбовался им. Второй насвистывал какой-то мотив из симфонии, при этом фальшивил и в трудных местах помогал себе, изо всех сил качая ногами; третий, в котором я узнал Нильса Ирьолу, забрался выше всех, уселся в естественном каменном седле, скрестил руки на груди и смотрел на горизонт с видом властителя беспредельных просторов. По другую сторону ручья находился человек, которого я не мог рассмотреть. Он стоял над пенящимся потоком, вода которого в тени казалась черной и густой, как смола. Время от времени оттуда вырывались сверкавшие белизной клочья пены.

— Когда же начнется эта страшная пустота, о которой так много говорят? — спросил самый младший из мальчиков, повернувшись к невидимому человеку. Он отломил кусок пирожного и засунул за щеку.

— Тогда, когда ты ее заметишь, — ответил невидимый.

Я узнал голос Аметы. В то же время кто-то положил мне руку на плечо. Это была Анна.

— Давненько мы с тобой не виделись. Что поделываешь? — сказал я, улыбнувшись и повертываясь к ней; я слышал, как мальчики продолжают беседу с пилотом, но уже не мог следить за ее содержанием.

— Сегодня концерт, — сказала Анна, тряхнув головой.

— В программе — Руис-старший?

— Нет, на этот раз нечто очень древнее: Бетховен. Девятая. Знаешь?

— Знаю, — ответил я. — Ну что ж, пусть будет концерт. Ты идешь?

— Да. А ты? — спросила она. Вдали мелькали яркие платья детей.

— Обязательно, — сказал я. — Если можно — с тобой.

Она кивнула утвердительно и подняла руки к вискам, чтобы привести в порядок прическу.

— Уже пора идти? — спросил я.

Меня неожиданно охватило легкое, приятное настроение, будто я выпил бокал игристого вина.

— Нет, начало в восемь

— Ну, впереди еще целый час, — посмотрел я на часы. — Может быть, мы договоримся, где встретиться? — добавил я с улыбкой.

На «Гее» было принято поступать именно таким образом. Мы как бы подчеркивали, что свобода наших поступков не ограничена стенами ракеты; это составляло один из элементов все увеличивающейся системы иллюзий; мне, как и другим, этот обычай нравился.

— Конечно, — серьезно ответила она, — встретимся... через час вон под той елью.

— Ровно через час я буду там. А теперь я должен оставить тебя?

— Да, мне нужно еще кое-что сделать.

Я вновь остался один и решил побродить по саду. Зная каждый его уголок, каждую аллею и клумбу, я мог бы с закрытыми глазами идти в любую сторону. Мне было хорошо известно, где кончается пространство, по которому можно прогуливаться, и начинаются призрачные красоты, созданные видеопластикой. Вдруг мне пришло в голову, что моя прогулка похожа на прогулки древних каторжников, и я почувствовал внезапное отвращение к кустам и деревьям, так сильно шумевшим сегодня.

Я отправился на восьмой ярус навестить Руделика, однако уже на пятом вышел и вернулся вниз, надеясь найти Амету, но не встретил его.

Послушный лифт снова помчался вверх. Я закрыл глаза и наугад нажал подвернувшуюся под руку кнопку, затем стал терпеливо ожидать, что будет дальше. Двери открылись с едва слышным шипением. Оказалось, что я приехал на одиннадцатый ярус. Я медленно пошел к большой стене, за которой находилась лаборатория Гообара.

Сложенная из поляризованных плит, стена была непрозрачна: в определенном положении плиты пропускали свет, в другом — поглощали его. Теперь стена была темной и переливалась, как покрытая бархатом. В одном месте на уровне головы в ней имелось оконце. Я заглянул в него: была видна часть лаборатории с математическими аппаратами, поднимавшимися до самого потолка. Лабораторию заливали потоки света. В первое мгновение мне показалось, что она пуста. В глубине комнаты

я заметил слабое повторяющееся движение: это ритмически колебались стрелки реле.

Я увидел Гообара. Он ходил мимо ощетинившихся контактами машин и, казалось, разговаривал с кем-то невидимым; его голос поглощался стеклянной стеной и не доходил до меня.

Заинтересовавшись, с кем он так оживленно беседует, я сделал еще шаг, забыв, что меня могут заметить. Теперь Гообар стоял, расставив ноги, подняв вверх руку, в которой была зажата небольшая черная палочка, и что-то быстро говорил. Перед ним на экранах двигались бледно-зеленые линии.

Он был наедине со своими автоматами и спорил именно с ними. Это было странное зрелище: Гообар, казалось, объяснял что-то собранной вокруг него группе машин. Центральный электрический мозг, огромный металлический массив, выпуклый, как лоб гиганта, покрытый толстым панцирем, с глазницами циферблатов, отвечал ему рядами расчетов и чертежей, которые появлялись и вновь исчезали на его экранах. Гообар читал эти ответы и медленно качал головой в знак несогласия. Иногда он принимался шагать с выражением отвращения на лице, но, сделав несколько шагов, вновь поворачивался к машине, бросал отдельные слова, дотрагивался до какого-нибудь контакта, уходил в сторону, что-то вычислял при помощи небольшого электроанализатора,

затем возвращался с карточкой и бросал ее внутрь машины. Машина начинала работать, экраны загорались и гасли, и по временам казалось, что машина понимающе подмигивает ученому зелеными и желтыми глазами. Но тот, ознакомившись с тем, что она хотела ему сообщить, вновь покачивал отрицательно головой и отвечал односложно: «Нет!» — я уже научился различать это слово по короткому движению губ.

Беседа затянулась. Гообар несколько раз скупым жестом руки с зажатой в ней черной палочкой останавливал автомат, подводивший длинный итог, и заставлял повторять расчеты; вдруг, нахмурив брови, он отбросил в сторону палочку и скрылся из поля зрения. Несколько мгновений в лаборатории не было никого, только автомат все медленнее выбрасывал на остывавшие и как бы превращавшиеся в куски зеленого льда экраны свои чертежи, словно еще раз продумывал без хозяина все отвергнутые аргументы.

Минуту спустя Гообар вернулся; с ним был механоавтомат, который направился к электромозгу. Ученый отступил, прищурил глаз и что-то сказал механоавтомату. Тот вооружился сверлом, проделал в бронированной лобной плите электромозга отверстие и отодвинул при помощи рычага его наружную оболочку. Затем механический хирург остановился, а Гообар стал смотреть внутрь открытой машины, потом взял несколько мелких инструментов и начал менять соединения проводов. Некоторое время он пристально всматривался в обнаженную полость, в которой извивались серебряные и белые витки проводов, и еще раз переместил некоторые из них; наконец по его знаку механоавтомат поднял подрезанную лобную плиту и установил ее на прежнее место.

Гообар включил ток. Мозг ожил, на экранах появился вибрирующий свет, в пальцах ученого вновь возникла, как по волшебству, черная палочка. Гообар сел на высокий стул и долго смотрел на появляющиеся в глубине экранов кривые, наконец утвердительно кивнул головой и сказал что-то, вглядываясь в невидимую для меня часть комнаты.

Я подумал, что он, вероятно, создавал новую, не существующую до сих пор область математики, нужда в которой возникла в связи с новыми достижениями науки,

и что я был свидетелем операции, при помощи которой он направлял рассуждения электромозга на новые рельсы.

Гообар сидел на стуле и вглядывался в электромозг, продолжавший работать; иногда свет экранов слабел, и тогда Гообар слегка шевелился, готовый к дальнейшему этапу операции, но экраны мозга снова начинали мерцать, а совсем было остановившиеся реле возобновляли колебания, определяя равномерный, однообразный ритм механической жизни.

Затем я увидел Калларлу. Она остановилась рядом с Гообаром, заслонив его от меня, потом повернулась и направилась к окну. Гообар что-то сказал ей. Калларла ответила лишь неуловимым движением губ и даже не оглянулась. Она не принимала участия в беседе, касавшейся каких-то технических вопросов. Казалось, она ничего не видела.

Темная фигура Гообара, отступившая на второй план, внезапно показалась мне нелепой; огромные аппараты, окружающие его, были похожи на усовершенствованные механические игрушки рядом с этим сияющим женским лицом с гладким лбом, сжатыми губами и глазами, словно устремленными в бесконечность. Калларла повернулась к Гообару, который продолжал разговаривать с машинами, и посмотрела на него; тогда, чувствуя, что на моем лице выступил жаркий румянец стыда за то, что я подглядывал за нею, я тихо отступил.

Лифт спустил меня на тот ярус, где помещался концертный зал. В глаза мне ударил яркий свет. Я стоял на мраморных плитах у входа; последние зрители спешили занять места. Я увидел Анну, схватил ее за руки и начал шептать какие-то сбивчивые оправдания. Она казалась выше, чем всегда, в длинном платье, затканном старым матовым серебром. Анна сжала губы в знак того, что очень сердится.

— Иди, иди, — сказала она, — посчитаемся после.

Едва мы успели войти, как верхний свет погас, осветилась огромная раковина в конце зала, на фоне сверкающих инструментов и двигающихся голов появилась тонкая черная фигура дирижера. Сухо застучала палочка.

Вначале эта старинная музыка как-то обтекала меня, и я был к ней равнодушен. Я испытывал удовольствие,

рассматривая сверкающие медью и лаком инструменты, на которых всегда исполняются произведения древних композиторов. Металлические улитки труб, барабаны, обтянутые кожей, тарелки — все это казалось мне забавным и волнующим. Когда я начинаю думать об отдаленном прошлом, я поражаюсь контрасту между творческим вдохновением людей той эпохи, так же как и мы любивших музыку, и тем, как они получали ее, извлекая из струн и деревянных коробок!

В голове у меня перемешивались обрывки образов, голосов, неоконченных слов, мыслей, которые вызывала звучная, то нарастающая, то затихающая музыка. И вдруг эта музыка ворвалась в меня; ворвались мощные, захватывающие ноты, словно началось наводнение, и там, где мгновение назад текла скромная, будничная жизнь, теперь крутились огромные омуты. Музыка овладела мной; я сердился, я не хотел поддаваться ей, стремился обуздать мелодию, но напрасно. Мою мысль, память, все, чем я был, уносил куда-то бурный поток. Вот сломано последнее сопротивление, и я, обезоруженный, беззащитный, стал похож на русло страшного потока, который, врезаясь все глубже и глубже, бушевал, обрушивал берега, снова возвращался и наносил удары с удвоенной силой.

В этой грозе слышались неустанно повторяющиеся звуки, словно сверхчеловеческий голос призывал кого-то. Но вот все заколебалось, словно на мгновение испугавшись собственной смелости, перестала действовать огромная сила: настала тишина, такая короткая и резкая, что остановилось сердце; потом вновь зазвучала мелодия.

Я не мог больше выносить музыку. Тайком, пригибаясь, кое-как я преодолел путь к выходу и очутился в полукруге мраморных колонн, неровно дыша, будто закончив утомительный бег. Музыка, хотя и приглушенная, догоняла меня здесь: я стал спускаться вниз.

На ступенях стояла Анна. Я молча взял ее за руку. Все кругом замирало, нас провожали все более удаляющиеся аккорды симфонии. Мы вошли в лифт. Несколько шагов — и перед нами открылась смотровая палуба.

Не знаю, сам ли я шел туда или меня вела Анна. Мы стояли неподвижно, а у наших ног разверзалась бездна,

пропасть без конца и края, вечная и неизменная бесконечность, в которой сияли жестокие звезды.

Я пожал руку Анны. Ее тепло словно переливалось в меня, но я чувствовал себя одиноким.

— Дитя... — прошептал я, — ты не знаешь... он... ему было все о нас известно, слышишь? Он все знал, этот немец Бетховен, глухой музыкант... Он все предвидел, его голос жив и сегодня... Там, в зале, мне казалось, что все смотрят на меня, потому что он рассказал то, в чем я не осмелился бы признаться даже самому себе... Он знал даже это... — И я поднял руку к звездам.

В бесконечно древних безднах с равнодушной усмешкой мерцали холодные, молчаливые искры. Я не мог закрыть глаза, но не мог и смотреть. Только Анна могла защитить меня от них. Я взял ее за плечи, почувствовал их тепло, ощутил ее дыхание на моем лице. Наши губы встретились.

Было тихо, слышались лишь слабые удары замиравших сердец. Она доверчиво прижалась ко мне.

— Анна, — прошептал я, — послушай, я...

Она закрыла мне ладонью рот; как мне забыть этот жест, полный женской мудрости!

— Молчи, — тихо прошептала она.

Мы не видели друг друга. Всюду царил мрак, бездна окружала нас со всех сторон и следила за нами, ловя каждый взгляд. Вдруг будто птица села мне на волосы — птица, здесь? На корабле не могло быть птиц. Они как слепые бились бы о стены обманчивого миража «Геи»... Это Анна гладила меня по голове. Я прижался губами к ее шее и услышал удары ее сердца; оно билось равномерно, точно со мной говорил кто-то очень близкий, хорошо знакомый. Мы прошли вперед, прижавшись друг к другу, молчаливые, словно сказавшие друг другу все.

Промелькнула освещенная ночным светом лестница, потом другая, длинное боковое ответвление, огромное фойе... Мы подошли к моей комнате. Рука Анны слегка напряглась в моей руке, но она сама нажала ручку двери и первая перешагнула порог. Я повернулся назад, ощупью ища дверные створки, чтобы закрыть их за собой, и вдруг вздрогнул. Возник долгий, протяжный, глухой свист: «Гея» увеличивала скорость.

СОВЕТ АСТРОНАВИГАТОРОВ

Каждая звезда существует благодаря столкновению двух противоположных сил: тяжести, привлекающей ее массу к центру, и излучению, которое стремится расширить эту массу, оказывая на нее сильное давление. Звезда извергает потоки материи, преобразованной в энергию. Так проходят миллиарды лет.

Когда атомное топливо исчерпывается, иссякает неустанный, бьющий одновременно во все стороны поток молний — излучаемая энергия. Внутренность звезды начинает остывать тем быстрей, чем активнее происходит утечка энергии через ее поверхность. Давление, стремящееся расширить газовый шар, слабеет и уже не может противостоять сжимающей силе тяжести. Звезда начинает сокращаться в объеме; непрерывное вращение срывает внешние покровы атмосферы, и утечка энергии звезды через обнаженные раскаленные слои поверхности усиливается еще больше. При этом может случиться, что звезда вдруг начнет сокращаться необычайно быстро. Страшное давление при огромной температуре вгоняет свободные электроны в атомные ядра; происходит нейтрализация электрических зарядов, и вся звезда превращается в сборище нейтральных частиц — нейтронов, а те, не отталкиваясь друг от друга, могут сблизиться значительно сильнее, чем ядра обычных атомов. Тогда происходит то, что можно определить словами «звезда обрушилась внутрь себя».

Шарообразное скопление раскаленной материи, в котором могла бы поместиться целая солнечная система, превращается в небольшой шарик, диаметром в несколько километров, в котором масса нейтронов создает небывало плотный вид космической материи. Сжатая таким образом масса Земли представляла бы собой шарик диаметром в сто метров. Высвобожденная энергия извергается в пространство с огромной силой; в течение нескольких десятков дней звезда светит сильнее, чем сотни миллионов солнц вместе взятых, затем пламя этого космического извержения гаснет, и звезда или, вернее, оставшаяся после нее раскаленная добела бесформенная масса уплотненной материи, погружается навеки во мрак.

Астрофизики «Геи» предсказали, что такое именно

явление, происходящее раз в несколько сот лет в каждой внегалактической туманности, мы увидим в недалеком будущем. Вспышка сверхновой звезды интересовала весь экипаж. Учитывая невозможность точно измерить некоторые факторы, определяющие момент вспышки, ее ожидали приблизительно через полторы недели.

Самые нетерпеливые собирались в обсерватории задолго до указанного срока. Сверхновая звезда должна была засверкать почти прямо на продолжении продольной оси корабля, и восьмиметровый экран главного телетактора был направлен в сторону Южного полюса Галактики. Лежащий в этом районе мыс Млечного Пути рассыпался на неисчислимые тучи звезд; впрочем, все они казались маленькими облачками: даже увеличение во много миллионов раз не было в состоянии преодолеть разделяющую нас бездну. Между шарообразными громадами Омеги Центавра и Южного Креста виднелись внегалактические туманности, похожие на бледные диски с более темным пылевым ореолом; каждая туманность была совокупностью многих сотен миллионов звезд.

Центром внимания астрофизиков оставалось Малое Магелланово Облако и особенно та его часть, где, как ожидали, вспыхнет сверхновая звезда. Несмотря на непрерывные потоки посетителей, астрофизики продолжали свое дело. Небольшой математический автомат все время был в работе, выполняя сложные вычисления; из рук в руки переходили увеличенные фотоклише и ленты спектрограмм, испещренные цифрами; вся эта размеренная деятельность производила на посетителей какое-то удивительно успокаивающее впечатление. Для астрофизиков не было ничего тревожного ни в бесконечных пространствах вечной ночи, ни в наполняющих бездну облаках черного и белого огня; их деловой, классификаторский подход к бесконечности незаметно передавался и нам; я заметил, что смотровые палубы, заброшенные за последнее время, вновь стали заполняться людьми.

Меня удивило, что руководители экспедиции придавали ожидаемому событию большое значение. Я как-то сказал Ирьоле, что толпы любопытных могут помешать астрономам работать, но инженер лишь усмехнулся и как бы вскользь заметил, что это окупится.

Когда срок вспышки приблизился вплотную, зал об-

серватории с трудом вмещал всех посетителей. Однако ни в этот день, ни на следующий, ни на третий ничего не произошло.

На четвертый день любопытных пришло уже меньше, на пятый — всего четверть обычного количества. На шестой день утром сверхновая звезда вспыхнула ослепительно белой точкой в районе Малого Облака. Быть может, потому, что мы слишком долго ожидали этой вспышки или зрелище представлялось нам более грандиозным, мы встретили его довольно равнодушно. Волна энтузиазма пошла на убыль и угасла значительно раньше, чем начала угасать и сливаться с однообразно светящимся облаком искорка сверхновой звезды.

Координатором группы астрофизиков был профессор Трегуб, знаменитый исследователь внегалактических туманностей, ловец звездных облаков, движущихся на границах досягаемости самых мощных телескопов. Достаточно было увидеть его один раз, чтобы запомнить навсегда. Его голова с мощным изогнутым, как тупой клюв, носом, нахмуренными над переносицей бровями, сросшимися в живой, дрожащий волосатый узел, сидела на плечах, как голова нахохлившейся птицы. Он говорил короткими фразами, никогда не повышая голоса, однако его слова всегда были слышны тому, к кому профессор обращался. Он принимал посетителей в обсерватории с исключительной любезностью, но ни на минуту не прерывал работы. Иногда могло показаться, что он хочет ошеломить собеседника необычными высказываниями. Однажды, когда я вспомнил про Землю, он сказал:

— Мы и на Земле находимся в окружении звезд: от межзвездного пространства нас отделяет лишь небольшое количество воздуха да плотный слой земли под ногами.

Он был автором проекта, наделавшего немало шуму, но не принятого никем, кроме него самого, всерьез. По его мнению, в межзвездное путешествие следовало бы отправить не ракету, а всю Землю; мощными взрывами атомной энергии надо выбить ее из орбиты, медленно развернуть по спирали, все больше удаляющейся от Солнца, и, наконец, направить к избранной звезде; в этом космическом путешествии тепло и свет жителям Земли могли бы давать многие искусственные атомные солнца.

— Можно уже сегодня в общих чертах подсчитать, — говорил он, — что наше Солнце через каких-нибудь десять или двенадцать миллиардов лет угаснет и мы вынуждены будем искать себе другое; проще предупредить это событие и сделать сейчас по собственной воле то, что мы все равно будем вынуждены сделать в будущем!

Мне, признаюсь, больше всего понравилось словечко «мы», словно он всерьез намеревался прожить двенадцать миллиардов лет. Впрочем, он не делал ничего, чтобы понравиться кому-нибудь; это его совершенно не интересовало. Со своими оригинальными взглядами он нередко оставался в одиночестве; тогда он говорил о «бунте» своих товарищей и сотрудников. Следует добавить, что он любил посмеяться, и в полумраке обсерватории часто слышался его басовитый хохот, когда, рассматривая на свет какой-нибудь снимок, он находил подтверждение своих гипотез. Я любил смотреть на этого человека, полного кипучей энергии.

В группе Трегуба работали Борель с женой. Павел Борель, планетолог, на Земле — заядлый альпинист, стройный седеющий человек с кожей, потемневшей от солнца и ветра. В уголках глаз, которым приходилось так часто щуриться на сверкающих ледниках, разбегались острые морщинки. Его жена Марта ничем особенным не отличалась. Когда она стояла в группе людей, взгляд не задерживался на ней. Я не сразу увидел скрытую, мало заметную красоту ее лица, открывавшуюся навстречу радости или горю.

Супруги обычно работали отдельно; он — на телетакторах или спектроскопах, она — на счетной аппаратуре. Это была однообразная, углубленная работа. Изредка можно было уловить взгляд, брошенный Борелем на жену. Этот взгляд не был особенно выразителен. Нет, это было просто утверждение: «Ты тут!», после которого он снова погружался в работу.

Анна уклонялась от встреч со мной. Наши отношения были очень сложными. Ее поступки часто были мне непонятны. Она пропадала целыми днями, а когда я спрашивал, где она бывает, ссылалась на большую работу у Чаканджан. Я предлагал ей погулять вместе или послушать концерт, но она находила неотложные дела. Иногда

она приходила такая же, как прежде, — доверчивая и спокойная. Временами ее охватывала грусть, но она разгоняла ее улыбкой.

Я то пытался быть таким же внешне спокойным, как и она, но вместо этого получалось лишь искусственное безразличие, то стремился быть искренним, но эта деланная искренность ничего не выражала, кроме мимолетного настроения.

Иногда я строил планы совместной жизни; она слушала внимательно, но к ее улыбке примешивалась искорка иронии, словно она не относилась серьезно ни к тому, что я говорил, ни ко мне самому. Тогда разговор обрывался, и я вынужден был прилагать усилия, чтобы поддержать его; это меня сердило, я чувствовал себя как на сыпучем песке. Каждый раз я должен был заново искать ту Анну, которую я видел ночью после Девятой симфонии Бетховена, искать пути к ней.

Однажды я спросил ее:

— Хорошо тебе со мной?

— Нет, — ответила Анна, — но без тебя мне плохо.

Я любил смотреть, как она делает утром завтрак: в свободном светлом утреннем халате, с рассыпавшимися волосами, похожая на древнего алхимика, она сосредоточенно наклонялась над столом, перемешивая нарезанные овощи. Я называл ее про себя «звездной Анной» — это имя возникло у меня по контрасту с «земной Анной», и поэтому я не называл ее так вслух.

Она была красива. На Земле встречаются пейзажи — все равно, величественные или скромные, — которые природа создала как бы в задумчивости, наполнив их собственной красотой. Было нечто такое и в Анне, в ее темных волнистых и легких волосах, в ее дыхании, в бровях, взметнувшихся, как крылья ласточки, в сжатых губах, словно она наблюдала за чем-то, созревавшим медленно, но неуклонно.

Помню, однажды я с волнением смотрел, как она спала, видел легкие вздрагивания ресниц, колебания груди, движимой теплым дыханием. Вдруг она проснулась под моим взглядом и, как бы идя мне навстречу из сна, посмотрела на меня один миг своими большими глазами и внезапно вся вспыхнула. Я сразу же задал десятки инквизиторских вопросов, чтобы узнать причину, заставившую

ее покраснеть. Она долго не хотела отвечать, наконец нехотя, сурово произнесла:

— Ты мне снился, — и больше не сказала ничего.

А на «Гее» жизнь шла своим чередом. Лаборатории работали, по вечерам мы собирались у радиоприемников слушать направленные передачи с Земли, смотрели видеопластические спектакли, в спортивных залах тренировались команды, готовясь к очередным соревнованиям, своды концертного зала наполнялись звуками музыки — словом, если смотреть издали, все выглядело по-прежнему. Однако уже появились предвестники чего-то, что приближалось, ложилось на нашем беспредельном пути и незаметно проникало сквозь герметические оболочки внутрь корабля, отравляя наши мысли и сердца.

Это началось, пожалуй, со снов. Мои собственные сны стали теперь очень яркими и богатыми, но это было непрошеное и нежелательное, даже невыносимое богатство. Я видел сны, назойливо повторявшиеся несколько ночей подряд; некоторые из них были продолжением предыдущих. Особенно врезался мне в память один: о городе, населенном слепцами. Я тоже был слеп и жил во мраке, окруженный какими-то перепутанными ветвями. В этом сне у меня была долгая и сложная биография, совершенно непохожая на настоящую: я предпринимал путешествия в далекие миры, встречался с неизвестными людьми, и все это без малейшей искры света, в вечном мраке, сжимавшем мою голову и грудь. Этот сон или, скорее, целое созвездие снов, растянувшееся на недели, так измучило меня, что впервые в жизни я стал прибегать к снотворному, выключавшему деятельность мозговой коры; тогда я спал каменным сном, без сновидений. Однако, когда я прекращал прием лекарства, кошмары возвращались вновь.

С жалобами на ночные кошмары приходили в амбулаторию и другие. Обычно посетители смущались: им казалось, что их жалобы смешны, они делали вид, будто это лишь пустяк, не причиняющий серьезного беспокойства, но, наученный собственным опытом, я тщательно выслушивал их и прописывал средства, которые применял сам. Мои пациенты часто отказывались прибегать к

этим средствам. В наше время никто не любит лекарств, и медицина больше занимается предупреждением болезней, чем их лечением.

Но главное состояло в том, что мои пациенты не хотели спать каменным сном; они признавались, что хотят видеть сны, сны о Земле. «К сожалению, — отвечал я им, — мы еще не умеем вызывать сны по своему желанию». Я вынужден был отправлять своих больных ни с чем, ограничиваясь лишь кое-какими советами: заниматься физическими упражнениями, больше бывать на «свежем» воздухе.

Упоминание о парке «Геи» часто пугало. Творение видеопластиков, которым эти художники гордились, вызывало теперь у людей лишь чувство отвращения. Одно время обсуждался вопрос об изменении нашего сада. Был выдвинут проект его перестройки: хотели придать новые очертания ему самому и миражу, окружающему его. Но выяснилось, что никто всерьез не хочет этого. Многие жаловались: «искусственный характер и неправдоподобие дождя бросается в глаза», «отсутствие птиц уничтожает всякую иллюзию», «небо и тучи носят на себе клеймо обмана и совсем не похожи на те, которые мы видели на Земле».

Видеопластики были оскорблены этими упреками. Они уверяли, что мираж абсолютно точен, что ими были приняты во внимание все факторы, воздействующие на человека, а аппаратура сейчас работает так же, как и в начале путешествия. А ведь тогда все выражали восторг по поводу исключительной правдоподобности иллюзий!

К концу первого года путешествия у меня появились новые пациенты. Они жаловались на расстройство чередования суточных периодов сна и бодрствования. Одни испытывали сонное состояние рано вечером и просыпались задолго до рассвета, другие, напротив, предпочитали работать до поздней ночи и спать до полудня; беспорядок в работе, возникший вследствие этого, усиливался и грозил разрушить целые коллективы.

За три дня до очередного совещания астронавигаторов, которые созывались регулярно, Тер-Акониан обратился ко мне с просьбой сделать сообщение о нервных заболеваниях среди экипажа «Геи». Я засел на несколько часов и подготовил пространный доклад.

Я немного опоздал на собрание, потому что один из мальчишек, друзей Нильса, взбираясь на опорный столб ракетодрома, вывихнул ногу и мне пришлось вправлять ее. Когда я пришел на совещание, выступала Лена Беренс. Я уселся позади, в углу просторной комнаты.

Находившийся на «Гее» филиал Института фелицитологии проводил учет посещения помещений корабля членами экипажа. Оказалось, что в первые месяцы путешествия большая часть людей охотно находилась на смотровых палубах; однако, чем дальше, тем все больше людей сторонилось их, и местом отдыха стал преимущественно парк. Теперь же и палубы и парк часто были пусты.

— Где же все проводят свободное время? — спросил Тер-Акониан. Наклонившись над своими заметками, он не смотрел ни на кого.

— Наш контроль распространяется лишь на общественные помещения, — возразила Лена, — однако нетрудно догадаться, что большинство проводит время у себя дома.

— Не замечали ли вы — товарищи собираются большими группами или нет? — спросил Тер-Акониан, все еще не поднимая головы.

Я не очень соображал, куда он клонит.

— Не знаю, — ответила Лена, — но, судя по себе и по моим близким, могу сказать: нет.

— В чем же причина? — спросил Тер-Акониан.

— Полагаю, что... в одиночестве, — отозвался кто-то сзади.

Все головы повернулись туда, откуда доносился голос. Это говорил Трегуб.

— Доктор, — обратился ко мне Тер-Акониан, — предоставляю тебе слово.

Я встал и в ту краткую долю секунды, когда готовился начать свой доклад, понял, что он бесполезен.

— Товарищи, — сказал я, — вот у меня здесь подготовлена сводка различных жалоб моих пациентов за последние месяцы, но я понял сейчас, что классификация и подсчет этих жалоб не имеет смысла. Все они вытекают из одной общей причины: ее сейчас назвал профессор Трегуб. Она не была понятна до сих пор ни пациентам, ни мне, их врачу. Это, по-моему, происходило пото-

му, что мы с детских лет учились преодолевать жизненные конфликты лишь при помощи логики... Мы предпочитаем умалчивать о неразрешимых вопросах, так как перекладывать собственное бремя на другого можно лишь в том случае, если у тебя есть надежда получить помощь. Эту помощь более сильные, умные, стойкие оказывают более слабым, колеблющимся. Однако все мы одинаково бессильны перед лицом безграничного пространства. Поэтому мы одинаково молчим об этом, и молчание растет.

После того как я сел, слово попросил Ирьола.

— Товарищи говорят, что одиночество и молчание представляют собой первые признаки воздействия пространства на человека. Не знаю, верно ли это. Я говорю, что не знаю, и хотел бы обсудить это вместе с вами. Что лежало в основе нашей жизни на Земле? Что связывало нас крепче всего с другими людьми? Некогда, в древности, людей объединяли общие традиции, обычаи, родовые и национальные связи. А нас сильнее всего связывает наша деятельность по завоеванию будущего. Мы смотрим далеко за пределы личной жизни одиночки. В этом наша сила, основа нашей жизни: мы не ждем пассивно будущего, но сами творим его. Мне кажется, что некоторые эту основу начинают терять. Невольно они уже теперь ожидают, когда же кончится путешествие, но от окончания его нас отделяет много лет, и поэтому такое явление опасно: нельзя же проводить лишь в одном ожидании значительную часть жизни!

— А наша работа? — помолчав, спросил Тер-Акониан.

Ответил Руделик:

— Все возрастающее опоздание в получении радиосигналов с Земли серьезно затрудняет проведение исследовательских работ, но, пожалуй, не это самое главное. Люди пытаются с головой уйти в работу: они работают даже больше, чем прежде, труд поглощает время, отвлекает внимание от нашего положения, от размышлений о будущем, о долгих годах нашего путешествия. С точки зрения этих долгих лет повседневная деятельность, на которую мы прежде не обращали внимания — необходимость встать, одеться, поесть, — столь однообразна и монотонна, что каждому то, что он делает, представляется мелочным, не стоящим даже поднятия руки. Поэтому пу-

стеют концертные залы, парки, палубы... То, что было для нас на Земле самым ценным — время, — становится здесь нашим врагом.

— Простите... Что здесь происходит?.. — вдруг заговорил Трегуб. Он встал позади своего стула, положив руку на его спинку, как бы собираясь уйти. — Вы ищете названия того, что творится сейчас на «Гее»? Зачем? Ведь мы все знали, что это наступит; не знали лишь, когда. Отбросив удобства искусственно созданной обстановки Земли, мы отправились в пространство. Бесконечная пустота? Да. Так что же, надо ли нам жаловаться? На что? На законы природы? Но перечисление всех наших теперешних и будущих огорчений не уменьшит их ни на волос. Вспоминая об одиночестве, я имел в виду нечто совсем иное, чем вы. Каждый из нас среди товарищей, в работе, в споре таков, каким был; другим он чувствует себя лишь тогда, когда остается один. Вот он и хочет остаться один, чтобы проверить себя. Что может быть проще? Это единственное одиночество, достойное человека. Но что может сделать с нами пространство?

— Победить нас, — отозвался я вполголоса.

Он услышал меня.

— О нет, — сказал он. — Материальные силы Вселенной могут уничтожить нас, например, в столкновении. Но, чтобы победить нас, Вселенной недостаточно. Для этого нужен... человек.

Он помолчал с минуту.

— Наши рассуждения ни к чему не ведут. Вы это знаете так же хорошо, как и я. Решение известно давно. Мы сами приняли его; так есть и так будет, какие бы изменения ни происходили в нас самих. Пусть они наступают, пусть выявляются. Слабы мы или сильны, довольны или исполнены нетерпения, все это неважно по сравнению с единственной непоколебимой уверенностью: полет продолжается!

БАЛ

В день, когда исполнилась первая годовщина с начала нашего путешествия, на «Гее» состоялась товарищеская встреча, которую впоследствии в шутку стали называть балом.

Годовщина вылета с Земли была лишь предлогом; руководители экспедиции хотели вновь завязать распавшиеся было связи между членами экипажа. На вечер должны были явиться все, в том числе и самые видные ученые, очень занятые и поэтому редко появляющиеся в обществе. Празднество должно было всколыхнуть нашу общественную жизнь, которая все более ограничивалась замкнутыми лабораториями. Много было сделано, чтобы до неузнаваемости изменить известные всем помещения корабля. Группа видеопластиков уже за неделю до праздника заперлась в барочном зале, вход в который остальным был строжайше запрещен. Встречаясь с нами в столовой, видеопластики намекали на то, какое великолепное зрелище ожидает нас, но, как только дело доходило до подробностей, загадочно замолкали.

Утром знаменательного дня я получил приглашение, по-старинному отпечатанное на карточке из полупрозрачной, пронизанной прожилками, похожей на мрамор бумаги. Под моей фамилией стояло два слова: «Одежда тропическая». Это создало у меня настроение, которое я испытывал в юности, радостно готовясь к весенним праздникам.

Ровно в шесть часов вечера я надел белый костюм и отправился на палубу третьего яруса. У входа в зал стояли все видеопластики; с ними находился третий астронавигатор — кудрявый Сонгграм.

Мы церемонно отвесили друг другу поклоны; торжественные жесты, изысканные одежды — все это веселило нас. На лицах видеопластиков то и дело проскальзывали озорные улыбки. Самая младшая из них, Майя Молетич, сестра историка, взяла меня под руку, приказала закрыть глаза и повела в зал. Я почувствовал дыхание теплого ветерка, в лицо мне повеяло влажным теплом и сладким, терпким ароматом экзотических цветов.

— Пора! — воскликнула Майя.

Я открыл глаза и остановился изумленный.

Мы находились в зале, таком огромном, что он занимал, пожалуй, половину всего корабля. Его стены поднимались вверх и на высоте нескольких ярусов сходились вместе пологими сводами. Внизу я заметил длинные темные галереи. Раскрытые настежь двери вели на широкую

террасу, окруженную каменной балюстрадой. Уже издали я увидел необъятное, сияющее море. Я вышел на террасу. Внизу простирался залитый солнцем пляж, спускавшийся к морю уступами — следами ударов волн, которые с непрерывным рокотом двигались от самого горизонта, разбивались о прибрежные отмели и зеленой громадой обрушивались на берег.

На подводных рифах кипел прибой. Там, вдали, синела бескрайная голубизна, сливаясь у горизонта с затуманенным небом. На горизонте дымился затянутый синеватой мглой вулкан. Из его вершины поднималась желтоватая полоса дыма, лениво расплывавшегося в воздухе. Мы наклонились через балюстраду, и я увидел крутой потрескавшийся склон скалистого массива, на вершине которого находилась терраса. С моря доносился очень слабый, едва ощутимый ветерок; я облизнул губы: на них был солоноватый привкус. Позади меня кто-то восторженно выругался: я обернулся — это был пилот Ериога. У него горели глаза.

— Вот что значит старые атомники!

Я решил, что иллюзия ему понравилась, но он сказал:

— Вот бы теперь поплавать... А?

Он оперся о балюстраду, как бы раздумывая, не спрыгнуть ли ему вниз, потом ударил по ней кулаком и вернулся в зал. Я пошел за ним.

Людей пока было немного. То, что я в первые минуты, ослепленный блеском моря, принял за галереи, было балконами, тянувшимися вдоль стен; между ними находились овальные ниши, в которых стояли сверкающие автоматы. Пространство в центре было свободно, в самой середине его поднималась широколистая пальма; ее ствол был покрыт продолговатыми, похожими на языки жесткими чешуйками. Вокруг нее стояли ряды низких столиков. За балконами поднимались вверх колонны, на которые опирался потолок. Над входом в зал светился громадный витраж. Двое — мужчина и женщина — шли босиком по густой траве, огромные, загорелые, нагие; их взгляд вырывался из плоскости витража и поверх наших голов уходил в безграничные морские дали, где, казалось, сияла видимая только им цель.

Вдоль стен, разделенные между собой алебастровы-

ми колоннами, светились объемные панорамы. Они были похожи на окна, пробитые в стенах и открывающие вид на таинственные дали. В одних роились жесткокрылые золотистые жуки, в других висели в воздухе осы, разукрашенные черными и желтыми полосами. Тут тянулись процессии муравьев с мощными челюстями, там отдыхали толстые ночные бабочки, словно окутанные серебристым мехом. Все они были созданы из драгоценных камней, дрожали и переливались в воздухе. Глаз, переходя от картины к картине, видел фиолетовый свет циркония, зеленым пламенем сверкали смарагды, яркой радугой вспыхивали бриллианты, горели кроваво-красные рубины, фосфорически светились дистены, амфиболы, цианиты. Глаза слепил вихрь ярких вспышек. Повернувшись к террасе, я с облегчением стал смотреть в голубое небо.

Неисправимая Нонна! Я готов был биться об заклад, что это дело ее рук. Злое замечание уже готово было сорваться с моего языка, но когда я увидел выражение ожидания на ее лице, то улыбнулся и сказал несколько одобрительных слов. Что же, видно, она не могла не злоупотреблять большими масштабами. Вдруг неожиданная мысль прервала мои размышления: я старею или, вернее, вступаю в солидный возраст, потому что сам себя уговариваю примиряться со вкусами, которые диаметрально противоположны моим собственным.

Собиралось все больше гостей. В одиночку, парами, целыми группами со всех сторон корабля сходились астрономы и тектонофизики, гравиметристы и инженеры, художники и математики, биологи и кибернетики, пилоты и биофизики. Большой занавес у входа трепетал, как крыло птицы, на его фоне вырисовывались белые фигуры — все были празднично одеты в белые одежды. Встречались костюмы белоснежные и серебристые, голубоватого и зеленоватого оттенков; женщины были в длинных платьях. Вдруг я увидел Зорина и не мог удержаться от улыбки: обычно он щеголял в серебристо-голубом комбинезоне, сегодня же ему пришло в голову одеться в травянисто-зеленый костюм; его светлая голова возвышалась, как горящий факел.

Все с искренним восхищением рассматривали чудеса, созданные видеопластиками, и, как мне казалось, не

очень хорошо представляли себе, что им следует делать. Молодежь вынесла стеклянные столики на террасу, немедленно ставшую самым людным местом. Здесь стоял гул, заглушаемый лишь шумом океана.

Я прислонился к стене, не зная, чем заняться. Посмотрев в сторону, я увидел готовый к услугам автомат. Он, как и другие, выглядел сегодня празднично. Его будничную оболочку сменил кованый серебряный панцирь, на щите были барельефы, изображающие мифологические сцены. Я собрался было рассмотреть их поближе, как вдруг позади меня раздался звонкий девичий голос:

— Роман с автоматом, доктор?

Раздался взрыв смеха. Я обернулся. Передо мной стояла группа молодых людей, среди них — Нонна, Майя, младший Руделик, астронавигатор Сонгграм и два историка — Молетич и другой, имени которого я никак не мог запомнить.

— Роман с автоматом? Ведь была такая книга, очень древняя, XXIII или XXIV века, правда? — спросила Майя.

Она обмахивалась длинным узким футляром, в котором хранила записную книжечку.

— Тебе жарко? Постой, я сейчас... — вызвался было ее спутник.

— Нет, нет, — схватила она его за руку. — Пусть мне будет немного жарко, совсем как в доисторические времена. Посмотри, даже автоматы сегодня выглядят так, будто они пришли непосредственно из средневекового замка.

— В средние века не было автоматов, — поправил Молетич.

Майя, продолжая обмахиваться, посмотрела на меня.

— Доктор, — сказала она, — мы начинаем дискуссию о любви: на какую профессию она больше всего похожа? Это я сама придумала. Что ты скажешь, доктор?

— Надо по очереди... — заметил бывший с ней молодой человек.

— Ну, пусть будет в алфавитном порядке... Скажи сначала ты, — обратилась она к Сонгграму.

— Но ведь мое имя начинается на «с».

— Верно, но зато профессия — на «а»: ты ведь астронавигатор.

— Что правда, то правда! — ответил Сонгграм. Обведя нас всех взглядом, он начал: — Любовь приносит бессонные ночи, как профессия водителя корабля в мировом пространстве: и астронавту, и тому кто любит, надо быть бдительным. Тот, кто любит, не умеет объяснить, почему он любит. Я тоже не знаю, почему стал астронавтом. Любовь преодолевает расстояние между людьми, а звездоплавание — между звездами; и любовь и эта профессия берут всего человека без остатка; в любви и звездоплавании каждое новое открытие приносит как радость, так и тревогу...

— Ну вот, пожалуйста, — воскликнул, прерывая его, молодой человек. — Тебе-то хорошо: ты говоришь первым и исчерпал все. Я хотел то же самое сказать о математике.

— А я — о физике, — негромко отозвался Руделик.

Стоя на пороге двери, ведущей на террасу, он смотрел поверх голов в небо.

— Ну, а ты, доктор, что скажешь? — спросила Майя, пытаясь спасти свою тему.

— Не знаю... — начал было я, но в это мгновение увидел Анну; она стояла между Зориным и Нильсом.

— Ну же, — настаивала Майя.

Вдруг она посмотрела на стоявших неподвижно товарищей и смутилась.

— Подожди, — сказала она мне и, подойдя к ним, спросила: — Послушайте, раньше это мне очень нравилось — ведь я сама придумала, а теперь не так... Может быть, не надо?

— Что ты хочешь сказать?

— Может быть, нехорошо так развлекаться?

— Хорошо или нет, не знаю, но, по-моему, немного рискованно, — заметил Сонгграм.

Майя покраснела.

— Обманщики! — топнула она ногой. — Делали вид, что вам очень нравится.

Она пошла вперед. Все направились за ней. Я продолжал смотреть на Анну. Нильс что-то оживленно говорил ей, а она слушала, как умела слушать только она одна: глазами, улыбкой... Я направился было к ним, но

тут же остановился, не знаю почему, и вышел на террасу. Беспредельная поверхность воды однообразно, размеренно двигалась: океан, казалось, дышал. На балюстраде, о которую я оперся, лежал стебель тростника. На его полураскрывшихся листьях, как в полусогнутой ладони, притаилась капля воды. Я увидел в ней свое лицо. Вдруг миниатюрное изображение покрылось тенью. Я поднял голову: рядом со мной стояла Калларла.

— Что ты там увидел, доктор?

— Год тому назад я был у тебя; за окнами шел дождь. Но ты, наверное, этого не помнишь.

— Помню. Смотри, какая голубизна в этой капле! Такие же сбегали тогда по карнизу. Почему ты подумал об этом?

— Не знаю. В этой капле могут плавать тысячи амеб, правда?

— Могут.

— Эта голубизна, отраженная в капле воды, представляет для них границу, за которую они не могут проникнуть. Границу мира. Небо.

В темных глазах Калларлы появилась искорка интереса.

— Продолжай, — сказала она.

— Тысячи поколений людей не знали того, что можно пробить небо и выйти за его пределы, как амеба, которая выплывает за пределы своей капли.

— Это может быть страшным... для амебы, — прошептала она.

— Как хорошо ты это понимаешь!

Она беззвучно засмеялась.

— Я кое-что знаю об амебах. А в том, что ты сказал, есть доля истины: ведь мы находимся в небе!

— Нет, — покачал я головой, — мы не в небе. Небо кончается там, где кончаются белые тучи, голубой воздух Земли. Мы в пространстве.

Женские глаза, сиявшие рядом с моим лицом, потемнели.

— Разве это плохо?

Я молчал.

— Разве ты хотел бы быть где-нибудь в другом месте, кроме «Геи»?

— Нет.

— Вот видишь!

И, немного помолчав, она сказала другим голосом:

— Когда я была маленькой, я играла в «другие люди». Я воображала, что я — это кто-то другой, совсем другой, словно примеряла на себя чужую жизнь. Это было очень увлекательно, но нехорошо.

— Почему?

— Надо всегда оставаться самим собой. Всегда самим собой, всеми силами стараться быть самим собой, и чем трудней, тем больше, не примерять на себя чужую судьбу, а...

— А что?

Калларла встряхнула головой так, что ее пронизанные солнечным светом волосы сверкнули золотистым оттенком, усмехнулась и ушла.

Стоя у балюстрады, я слышал отрывки доносившихся до меня разговоров.

— Вот послушай, — раздался низкий голос, — была задумана такая фреска: из пещеры выбегает группа косматых дикарей — первобытных людей, они исполняют магический танец, их поза одновременно и человеческая и вместе с тем звериная. Я страшно мучился над ней, но так ничего и не вышло. Один раз я встречаю профессора, начинаю рассказывать ему о моих переживаниях. Он терзал меня не меньше часа, — голос говорящего упал до глухого шепота, — мямлил и загорался, прямо танцевал около меня в лекторском экстазе, понимаешь? Вдруг — а я его уже не слушал — он выкинул такой пируэт, что меня осенило: вот она, думаю, ось всей моей композиции. И принялся делать наброски, а он-то решил, что я записываю его слова. Здорово, а?

Раздался смех, послышались удаляющиеся шаги, потом все стихло.

Заходило ненастоящее солнце. Вечерняя заря охватила небосклон — это была извечная картина Земли, которую мы так легко оставили. Я стоял, опираясь на шероховатые камни балюстрады. Снизу доносился шум волн, однообразный и сонный, который уносил куда-то мои мысли. Позади, за спиной, слышался оживленный разговор, пересыпанный искорками женского смеха. Я слышал звон стекла, громкие тосты, взрывы веселья и внезапно наступавшую тишину.

Над горизонтом всходила Венера, вечерняя звезда, — большая, сияющая, похожая на каплю света, такая близкая и знакомая. Медленно спускались сумерки, сгущался синий мрак, и в один неуловимый момент я увидел в темной глубине неба контур далекого вулкана, очерченный рубиновой полосой. Я стоял уже около часа. Загорались звезды, лиловые тона позднего вечера сменялись ночной тьмой.

Осмотревшись, я вздрогнул: совсем близко, рядом со мной, стоял человек. Как и я, он опирался на балюстраду и смотрел вперед. Чем больше смеркалось, тем все более интенсивным становилось красное зарево далекого вулкана, которое отбрасывало нежно-розовый свет на ближайшие предметы. Человек стоял так близко от меня, что я не мог посмотреть на него, не привлекая к себе его внимания, и все же я взглянул на него. Его лицо, озаряемое слабым мерцанием вулкана, казалось серым, как бы высеченным из камня. Он посмотрел на меня или, скорее, мимо меня невидящими глазами. Я узнал его и хотел заговорить с ним, но не осмелился. Он, вероятно, догадался об этом и первый слегка поклонился мне:

— Гообар, биофизик.

Я назвал себя и свою профессию. Мы долго молчали, но уже иначе, чем раньше: теперь мы молчали вместе. Потом я спросил его:

— Профессор, знаешь ли ты Амету?

Он оживился:

— Конечно, знаю! Он когда-то работал со мной.

— В качестве пилота? — задал я нелепый вопрос.

— Нет. — Гообар, казалось, задумался. — Нам нужен был тогда математик, хороший математик. Амета... как бы это тебе объяснить, доктор... Иногда ребенок скажет что-нибудь такое, чего не придумает и гениальный поэт. Такие удивительные находки ребенок сам оценить не может. Ему все равно: блестящие находки или ничего не значащие пустяки... Так вот, у Аметы бывают замечательные идеи, но он не умеет ни отличить их от несущественных, ни разработать. Но он часто сверкает, как молния, как бы указывая направление в будущее. Иначе он не умеет.

— Это может быть очень ценно в коллективе, — заметил я.

Этот новый Амета, характеристику которого я услышал от Гообара, удивил меня. Гообар еще больше скрылся во мраке, его профиль, озаренный отсветом вулкана, заострился.

— Нет, — сказал он. — Такие указания мало кому могли принести пользу. Среднему математику они не годились, поскольку были очень туманными и лежали вне пределов его знаний, а выдающийся математик всегда оригинален, в исследованиях идет своим путем и не оставит его для чужого, хотя бы самого гениального открытия, как никто не оставляет любимой женщины ради другой, более красивой, которая, возможно, ждет его на третьем искусственном спутнике.

— И он не мог двигаться дальше?

— Нет, — сказал он. — Иногда он был похож на человека, которому в голову внезапно пришла необыкновенная мелодия симфонии, но он не может записать ее, не зная нот, не может просто запомнить, и вот мелодия утеряна навсегда. Именно так выглядели его математические «открытия»: это были мысли о построениях, совершенно не зависимых от известных нам систем. Что-то подобное математическим островам, затерянным во тьме и ожидающим открытия... Конечно, многие из них будут открыты исследователями, систематически занимающимися своим делом, но им и в голову не придет, что какой-то человек в одиночку уже когда-то добрался до этих незнакомых берегов. Впрочем, в его уме рождались и различные уродцы, а он не умел отделить плевел от пшеницы.

— Значит, все это было бесполезно... — тихо сказал я.

— Нет! — в третий раз сказал Гообар, повышая голос. — Он толкнул меня на определенный путь, который я уже не раз бросал и на который возвращался — настолько он был соблазнителен. Амета сверкнул передо мной, осветил в течение доли секунды какой-то призрачный пейзаж и больше ничего не мог сказать о нем...

Наступила пауза.

— Потом он совершил многое... Это было, пожалуй, лет двенадцать назад, а может быть, и больше.

— Может быть, он стал пилотом сравнительно недавно? — высказал я догадку. — Может быть, в этой профессии он нашел то, что искал?

— И опять ты ошибаешься, — улыбаясь, сказал Гообар, которого, кажется, забавляла моя недогадливость. — Он продолжал заниматься все тем же. Все, что он делал, было связано с проблемой, которую он хотел разрешить.

— Какой же?

— «Вращение среди темных течений» — так он называл это... У него всегда была своя терминология. Речь шла о путешествии за пределы Галактики. — Он вдруг повернулся ко мне: — Понимаешь, доктор, размах... Амета побеждает меня своим размахом...

— Побеждает как математик?

— Нет, как человек. — Гообар продолжал: — Я давно не виделся с ним, доктор, и благодарю тебя за то, что ты напомнил мне о нем.

Он долго всматривался в темноту, откуда доносился тяжелый однообразный шум, затем, взяв меня под руку, коротко сказал:

— Пойдем.

Мы вошли в зал. Там теперь уже было тише: у столиков на креслах сидели гости: больше всего их было около пальмы. Над входом слабо светился витраж, на его стеклах выделялись огромные золотистые фигуры шагающих великанов. Фантастические сцены в его верхней части покрылись легкой тенью — может быть, кто-то намеренно уменьшил освещение, — зато внизу сияли созвездия хрустальных ламп, мягко отражаясь в серебряных доспехах автоматов. То и дело какой-нибудь из них устремлялся в толпу и, лавируя между столиками, безошибочно попадал туда, куда его вызывали. Отовсюду доносились голоса, слышался мелодичный звон стекла.

Я шел с Гообаром к центру зала. Мы пробирались по узкому проходу. Все поднимались навстречу Гообару, улыбались, приглашали за свои столики. Он остановился, не зная, за какой из столиков сесть. Я был доволен тем, что и на меня, как на спутника Гообара, падает частица этой симпатии и уважения, хотя я и не заслужил их.

От столика, за которым тесным кружком сидела молодежь, махая рукой, меня звал Нильс Ирьола.

Я подошел к столику. Около него собралась большая

группа людей. Молодежь окружила трех специалистов по кибернетике. Среди них своим атлетическим сложением выделялся руководитель коллектива Тембхара. Я попал в разгар самой горячей дискуссии и услышал заключительную фразу стройного юноши:

— Почему же нельзя использовать автоматы при высадке на неизвестную планету? Говорят, что первые ракеты на такую планету поведут люди.

— Да, к сожалению, это так, — ответил Тембхара. — Тебе ведь известна поговорка: автоматы точны, но ограниченны, люди же хотя и не точны, но не страдают ограниченностью! Дело в том, что для автоматов характерна так называемая «направленная узость оценки обстановки». Автомат всегда несколько односторонен, потому что создан для выполнения определенных заданий. А на чужой планете он может встретиться с незнакомыми ему существами и попасть в такое положение, которое нельзя заранее предусмотреть. Если послать туда автоматы, они могут подвести нас и вызвать своими действиями опасную обстановку.

— Что же такое они могут натворить? Я не понимаю.

— Они могут поступить, как психически больной человек, — сказал Тембхара. — Чтобы объяснить это, приведу пример из старого учебника кибернетики. Этот пример имеет лишь историческое значение, но может служить хорошей иллюстрацией к тому, о чем я говорю. Это, собственно говоря, сказка. У одного человека квартира была завалена старыми глобусами и негодными кувшинами. Он поручил автомату убрать весь этот хлам, сказав следующее: «Выбрось отсюда все шарообразные предметы». Послушный автомат, слишком дословно поняв приказ, вынес весь хлам, а заодно сорвал с шеи голову этого человека: он расценивал ее лишь как шарообразный предмет, который тоже следует выбросить.

— Но это чепуха!

— Этого не могло случиться!

— Автомат не может причинить вред человеку! — хором воскликнули окружающие.

— Конечно, эта история не могла произойти в действительности, и я привел ее лишь как яркий пример того, что можно было бы назвать «недоразумением» меж-

ду человеком и автоматом. Для нас многое подразумевается само собой, а для автомата нет ничего очевидного, кроме того, что вложил в него его конструктор. Наши автоматы, например, снабжены приспособлениями, предотвращающими возможность их самоуничтожения, и предохранителями, которые делают невозможным нанесение какого-либо вреда человеку. Но в совершенно новой, не предусмотренной их конструктором обстановке, в условиях чужой планеты, они могут наделать много зла. Помимо этого, есть еще одно затруднение этического порядка: нам, наверное, не понравилось бы, если бы обитатели другой планеты прислали на Землю группу машин с задачей определить, стоит ли завязывать с людьми добрососедские отношения. — Тембхара усмехнулся, его зубы сверкнули.

— Скажи, профессор, — спросила какая-то девушка, — это ты спроектировал гироматы?

— Да. Вернее, я принимал участие в проектировании некоторых из них.

— А профессор Аверроес говорил на лекции, что такой гиромат строится вообще без проекта. Как это возможно? Объясни нам, если можешь.

— Попробую... — Тембхара задумался. — Лучше всего, может быть, это удастся мне на конкретном примере. Наше бюро создало перед вылетом с Земли последний большой астрогиромат для Симеизской обсерватории. Это гигант особого назначения: он умеет создавать «математические модели звезд». Ему сообщают величины и факты, полученные в астрономических обсерваториях, а он на их основе может воспроизвести всю жизнь звезды с момента ее возникновения до гибели, воссоздавая таким образом ее историю, форму, размеры, температуру, все происходящие внутри этой звезды атомные реакции, ее орбиту, влияние на нее других небесных тел и ее влияние на эти тела, — словом, может проследить за эволюцией любой звезды в Космосе с абсолютной точностью в исключительно короткий срок. Миллиард лет существования звезды машина «переживает» за какие-нибудь двадцать секунд. Конечно, такой гиромат не смог бы построить ни один человек в мире. На то, чтобы произвести необходимые расчеты и сделать чертежи проектов, потребовалось бы не менее тысячи лет, а может быть, и

еще больше. Можно использовать счетные машины, но и это было бы неправильно, поскольку имеется несравненно более простой способ. Он состоит в следующем: прежде всего мы строим систему автоматов, которую называем базисной; этой системе ставим общую задачу постройки гиромата, ставим условия, определяем сферу его действия и другие данные. Все это называется «направляющей установкой технологической программы гиромата». Затем мы снабжаем базисные автоматы строительным материалом и пускаем их в ход. Через несколько месяцев гиромат готов. Естественно, мы, проектировщики, не знаем ничего о тех тысячах и миллионах монтажных операций, анализах и расчетах, какие были произведены базисными автоматами. И не только не знаем, но и совершенно не интересуемся этим. Так же, как нас совершенно не интересует в деталях конструкция самого гиромата: он есть, действует, выполняет все наши приказы, а больше нам ничего не нужно.

— Знаешь, профессор, — сказала стоявшая рядом со мной Майя Молетич, — я думаю, что тысячу лет назад инженер-конструктор назвал бы сумасшедшим человека, который сказал бы, что в будущем люди будут строить самые сложные конструкции без проектов.

— Не думаю. Я попытался бы разъяснить принцип такого строительства на понятном для него примере. Тогда применялись первые примитивные счетные машины. Так вот, инженера, который, скажем, перемножал цифры при помощи такой машины, совершенно не интересовали промежуточные этапы этого арифметического действия. Ему нужен был лишь конечный результат — и ничего больше. Уже тогда стал применяться — правда, в зародыше — принцип, который можно сформулировать следующим образом: «Следует избегать бесполезных знаний».

Таким бесполезным было бы детальное знакомство со всеми соединениями проводов в астрогиромате. Если бы кто-нибудь захотел составить список этих соединений, ему пришлось бы заполнить тысячи томов или трионов. Такая работа не имела бы никакого смысла и не была бы нужна никому.

Наша техническая культура изобилует такой массой приборов, что, если бы мы хотели все изучить и знать

так же детально, как люди знали раньше, например, конструкцию часов, мы были бы затоплены океаном совершенно ненужных описаний. Если бы не автоматизация, человечество уже тысячу лет назад вступило бы на путь все более узкой специализации каждой личности. Люди превратились бы в муравьев, и каждый выполнял бы лишь мелкую часть общей работы, совершенно не представляя себе всего ее объема в целом. А автоматы не только продолжают человеческую мысль, как рычаги усиливают силу руки человека, но и разгружают человека от бремени никому не нужных однообразных исследований, наблюдений, систематизации. Они оставляют лишь самое важное, неповторимое, для чего нужны изобретательность, находчивость, сообразительность, интуиция, и таким образом помогают создать новый тип человека, который, как главнокомандующий в древности, намечает главные направления атаки на неисследованные районы, не отягощая свой ум балластом мелочей.

Тембхара умолк. Я заговорил в наступившей тишине:

— Когда я был маленьким мальчиком, я жалел прошлое, когда произведения человеческих рук, подобно парусным судам, обладали индивидуальностью. Каждое из них было непохожим на все остальные; я думал, что стандартизация производства навсегда устранила индивидуальность продуктов человеческого труда, но из того, что говорит Тембхара, следует, что эта индивидуальность восстанавливается теперь на другом, более высоком уровне! Если ты даешь базисной системе лишь основные принципы постройки, то каждая построенная ею машина будет отличаться от другой в несущественных деталях, не предусмотренных инструкцией, не так ли?

— Конечно, так, — ответил Тембхара. — Это может относиться к различным деталям, например к внешнему виду машины, монтажным особенностям, взаимному расположению агрегатов и так далее. Об одном из моих коллег, Иорисе, человеке очень рассеянном, рассказывают, что, строя один гиромат, он сообщил базисной системе все данные, за исключением одной, касающейся величины аппарата. Возвратившись через месяц на строи-

тельную площадку, он издали заметил какой-то массив, напоминавший пирамиду Хеопса и господствовавший над окружающей местностью. Немного обеспокоенный, он спросил у первого встреченного автомата, закончен ли уже гиромат, и услышал в ответ: «Где там, только начали строить: изготовлен первый шуруп!»

Все рассмеялись.

— Это, конечно, шутка, — продолжал я, — но создаваемые теперь машины отличаются друг от друга так же, как отличаются от подобных себе деревья, цветы и люди: рисунком листьев, оттенком лепестков, цветом глаз, волос — чертами малосущественными, но придающими физическую индивидуальность.

— Ты прав, — отозвался один из собеседников, — но это индивидуальность нового типа, прежде она была результатом отсутствия знания, а теперь, скорее, вытекает из его избытка.

В тишине, воцарившейся после его слов, от столика, где сидел Гообар, донесся взрыв смеха. Заинтересованный тем, что развеселило астрофизиков, я подошел к их столику и услышал голос Тер-Акопиана:

— Слово имеет профессор Трегуб.

— Что здесь происходит? — шепотом спросил я Зорина, который стоял у пальмы.

— Это такая игра: выдумывание «возможных миров», — так же тихо ответил он мне. — После Трегуба будет говорить Гообар.

Наступила полная тишина. Мне предстояло услышать нечто похожее на состязание знаменитых ученых в остроумии и находчивости.

Трегуб покачал головой, насупил брови и очень серьезно начал:

— Можно себе вообразить, что мир, в котором мы живем, существует не непрерывно, а периодически, что материя, из которой он образован, «мигает» подобно прерывистому лучу света. Материя соседнего мира в периоды его существования может «разместиться» в промежутках существования нашего мира. Оба эти мира мы можем назвать «взаимно совмещенными» в одном и том же пространстве. Если могут быть два таких мира, их может быть и значительно больше — тысячи и даже

миллионы. Все они могут сосуществовать в пространстве и обладать совершенно независимыми физическими законами, за исключением того, который регулирует их частоты, чтобы не могло произойти «столкновение» материи двух или нескольких миров. Таким образом, можно представить себе, что через пространство, которое занимают наши тела, в данный момент проникают вереницы существ из Вселенной № 5678934, существ, которые обсуждают выдвинутую в настоящее время мной возможность.

Раздались аплодисменты и смех, которые, однако, быстро смолкли. Все с интересом ожидали выступления Гообара.

Он стоял, расставив ноги и слегка покачиваясь, как бы испытывая прочность пола. Наконец он сказал:

— Предположим, что какая-то метагалактика стала на путь последовательного усложнения своей структуры, выражающегося в том, что отдельные звезды начинают соответствовать нервным клеткам мозга. Через определенное время эта метагалактика, объединяющая несколько миллиардов галактик, становится как бы единым «мозгом» шарообразной формы, диаметром, скажем — мы люди смелые, — миллиарда в четыре световых лет...

— Ужасная фантазия.. — прошептала сидевшая недалеко от меня Калларла. — Какой это был бы гениальный урод из пылающей материи...

— Ты ошибаешься, моя дорогая, — очень спокойно возразил Гообар. — Я боюсь, что это был бы — по крайней мере, по нашим критериям — кретин из кретинов. — Он достал карманный анализатор и, произведя небольшой подсчет, продолжал: — В таком «мозгу» галактики соответствовали бы нервным ядрам, а световые лучи — нервным импульсам. Чтобы представить мысленно самое простое понятие, например «я существую», понадобилось бы около 10^{19}, то есть свыше ста триллионов лет... Я полагаю, что такое замедленное мышление трудно назвать гениальным.

Все рассмеялись; одна Калларла казалась разочарованной.

— Значит, это невозможно, — сказала она. — Жаль...

Мне уже несколько минут казалось, что в зале слышно какое-то низкое ворчание или гул, но я не обращал на него внимания. Теперь, когда после слов Калларлы наступила тишина, отдаленный гром усилился. Он доносился как будто из-под земли, несколько раз я ощутил тяжелые удары. Пол затрясся под нашими ногами. Все вскочили с мест и стали всматриваться в открытые настежь двери террасы. Из мрака, пронизываемого холодным ветром, теперь доносился непрерывный грохот.

— Ого, там происходит что-то интересное, — сказал Гообар и первый двинулся на террасу.

За ним поспешили все.

Здесь царила такая густая тьма, что, казалось, она обрушивается на нас огромной тяжестью. Над горизонтом вспыхнуло багровое зарево: из конуса вулкана вырвался короткий сноп пламени. Воздух заколебался, задрожали каменные плиты террасы. Над вулканом стояла туча, ее пронизывали молнии, один за другим раздавались удары грома. Вдруг эти низкие звуки заглушило пронзительное шипение, клубы как бы окрашенного кровью пара вырвались из океана: лава попала в воду.

Сначала все молчали, потом послышались возгласы:

— Великолепно!

— Кто это придумал?

— Конечно, Ирьола!

— Смотрите, как все дрожит!

Ирьола был найден, к нему потянулись десятки рук: каждый хотел поздравить и похлопать его по плечу. Он уверял, что не имеет к этой выдумке никакого отношения.

— Бывает, конечно, что вулканы начинают извергаться, но при чем здесь я?

Зарево все росло, над вулканом появились огненные змеи и зигзаги — это взлетали ввысь вулканические бомбы. Над нашими головами несколько раз слышался пронзительный вой.

— Пойдемте отсюда, друзья! — послышался вдруг чей-то молодой голос. — Вы не знаете видеопластиков: для усиления иллюзии они готовы обрушить нам на головы дождь из огня и серы!

Вулкан грохотал так сильно, что заглушал наши голоса и смех.

Наконец Тер-Акониан от имени всех присутствующих обратился к конструкторам этого зрелища, и те, поспорив с нами, на минуту исчезли. Вскоре извержение начало ослабевать, и мы вернулись в зал. Прежние группы распались, одни подзывали автоматы и, столпившись вокруг их серебристых фигур, поднимали бокалы с игристым вином, другие устроились в креслах под пальмой и забавлялись какой-то игрой. Смех раздавался все чаще, кое-где послышались песенки, появилось несколько огромных светящихся баллонов, которые перелетали с одного конца зала на другой.

Я нерешительно потоптался около столика, на котором пилоты, руководимые Аметой, расставляли сложные телевизионные приборы для игры в «погоню за ракетой», и наконец пошел на галерею. Она опоясывала весь зал. Огромные насекомые, изваянные из драгоценных камней, производили вблизи ужасающее впечатление. Я уже хотел уйти, когда услышал голос, доносившийся из-за скульптуры, у которой я стоял. Прошло некоторое время, прежде чем я сообразил, что, как и морской пейзаж, скульптура — дело рук видеопластиков, однако, прежде чем двинуться прямо на искрящуюся шероховатую поверхность, я должен был преодолеть в себе инстинктивное сопротивление. Перед моими глазами вспыхнули, потом исчезли огромные бриллиантовые глаза паука. Я прошел через пустоту и очутился в полумраке. У гладкой стены сидели Соледад и Анна. Устремив на меня невидящий взгляд, Анна говорила:

— Скажи, был ли у тебя когда-нибудь в жизни вечер, который, как тебе казалось, закрывает дорогу к завтрашнему дню, совершенно бесполезный, который нужно убить, уйти от него, словно сняться с мели? Вечер, когда тебя охватывает сомнение во всем, к чему ты стремишься, вечер, в который ты оставляешь все, за что принималась раньше, и, если приходит человек, совершенно тебе безразличный, ты рада, потому что его приход снимает с тебя последнюю ответственность за время, которое ты не знаешь, как убить?

— Если такой вечер случается раз-другой в год, это

ничего, — ответила Соледад. — Но, если это происходит часто, смотри!.. Тебе тяжело с ним?

— Очень, — ответила Анна. Она продолжала смотреть на меня.

В этот момент я понял, что она говорит обо мне, но не видит меня: я, вероятно, не вышел из зоны миража.

— Тут тебе никто не поможет, — продолжала Соледад, — но ты и он...

Сдерживая дыхание, стараясь шагать как можно тише, я поспешно отошел и снова очутился перед искрящейся мозаичной скульптурой. Мне не хотелось думать о случайно подслушанном разговоре.

На противоположном конце галереи стояли сотрудники Гообара Жмур и Диоклес. Они смотрели на ту часть зала, где не было столиков: там двигались десятки людей. Мы увидели большую группу, в центре которой находилась молодая девушка в светло-голубом платье. Время от времени там слышались взрывы смеха. Потом девушка запела. Это была забавная, веселая песенка; пропев первый куплет, она показала пальцем на одного из стоявших рядом с ней, и тот, на кого пал выбор, должен был продолжать. Так, перебрасываясь от одного к другому, песенка под шутки и смех кочевала по всему залу, пока наконец не забралась под колонны. Там, в нише, из которой ушел автомат, стоял Гообар. Какой-то юноша, только что закончивший свой куплет, встал перед ним и указал на него пальцем. Мгновение царила тишина. Потом ученый запел хрипловатым баритоном следующий куплет. Слушатели наградили его бурей рукоплесканий, он, в свою очередь, указал на кого-то, и песня ушла в глубь зала. Гообар, все

еще сохраняя на лице улыбку, с которой он выполнял свою обязанность певца, незаметным движением достал карманный автомат и стал что-то вычислять.

— Вот он, Гообар, — сказал Диоклес. — Ты можешь с ним играть, танцевать, петь, говорить про рай и ад, но он никогда не будет целиком с тобой.

— Но ведь он действительно любит веселиться, — заметил Жмур.

— Я знаю, что он не притворяется, ну и что же? Он любит людей, но сам не такой, как все мы. Когда новый сотрудник находится вблизи него, — продолжал Диоклес, — он не может отделаться от желания задать Гообару целую кучу разных, в том числе довольно смешных, вопросов. Эти наивные попытки ни к чему не ведут, потому что он — неразрешимая загадка. Не раз я удивлялся той старательности, с какой он пытался отвечать...

— Например? — спросил я.

Мы продолжали смотреть на великого ученого, который в этот момент остановил проходивший мимо автомат, снял с подноса бокал и начал отпивать вино маленькими глотками.

— Начиная от вопроса, как он добивается великих результатов...

— Да, это действительно не очень умный вопрос, — согласился я. — Ну, и что же ответил Гообар?

— Он отвечал долго и серьезно и под конец сказал: «Может быть, потому, что я неустанно думаю...» В этой фразе, несмотря на ее кажущуюся банальность, есть великая и простая истина: его ум непрерывно создает мысленные конструкции и сталкивает их одну с другой; это похоже на не прекращающиеся никогда попытки великого синтеза, растянутые на многие месяцы и годы; у него хватает смелости додумывать до конца гипотезы, которые кажутся совершенно абсурдными, и делать из всего необходимые выводы. Я никогда не пойду с ним больше в горы. Я не хочу погибнуть.

— Что общего между твоим инстинктом самосохранения и Гообаром?

— Есть общее. Мы как-то совершали подъем на восточный траверс Памирского заповедника...

— Извини, — прервал его я, — а он хороший альпинист? Как он ведет себя в горах?

— Ты сейчас услышишь, я к этому подхожу. Конечно, альпинист он неплохой. Там было небольшое, но дрянное ущелье. Прежде чем мы вошли в него, Гообар вдруг остановился и сказал, что у него возникла одна идея. Я сказал ему, чтобы он записал ее, но он возразил, что и так не забудет. Он не забывал идеи; он забывал лишь то, где находится и что делает. Из-за этого он едва не сломал себе шею и не убил нас. Он не видел ни гор, ни пропасти, вообще ничего. Когда закончил в голове подсчеты, уже по дороге к лагерю он стал просить у нас извинения, но я видел, что он делал это, так сказать, по обязанности, не ощущая при этом ни малейшего угрызения совести, не говоря уж о страхе. Я говорю вам: этот человек совершенно лишен инстинкта самосохранения.

Последние слова Диоклес произнес с нескрываемым раздражением.

Пение внизу прекратилось, несколько минут оттуда доносился неясный шум, отдельные голоса еще пытались продолжать песню, но их заглушал общий гул. Наконец прекрасный женский альт запел протяжную песню, похожую на колыбельную.

— Он везде и всегда остается самим собой, — сказал Диоклес, как бы не имея силы уйти от затронутой темы. — Ты слышал о том, как он начал свою деятельность? Бабка обычно оставляла его — тогда шестилетнего мальчика — дома под присмотром дяди. Его дядя, Клавдий Гообар, довольно известный математик, в то время работал над созданием теории магнитного поля. Дядя сажал его где-нибудь в уголке, давал игрушки, а сам продолжал работать. Ребенок тихонько играл: он в детстве был очень молчалив. Однажды вечером, решая какую-то трудную задачу, старый Клавдий яростно заспорил с автоматом. Вдруг ребенок сказал из угла: «Надо ввести матрицу линейных операторов...» и продолжал играть, будто не сказал ни слова. Дядя, словно пораженный молнией, раскрыл рот: это было искомое решение задачи...

— Редко случается, — заметил я, — чтобы так называемые гениальные дети действительно оправдывали потом возлагаемые на них надежды. Он же не только оправдал, но и превзошел все ожидания.

Мимо нас двигался автомат. Диоклес выпил сразу два бокала вина. У него покраснели щеки, на висках забилась жилка. Я хотел сказать ему, чтобы он больше не пил: во всем, что он говорил о Гообаре, ощущались тревога и горечь. Это чувствовалось не только в словах, но в выражении лица, в голосе. Жмур оставил нас, его высокая фигура промелькнула на фоне мозаики и исчезла за колоннами галереи. Несколько секунд мы молчали. Внизу напевали плясовую, в центре группы кто-то начал хлопать в такт мелодии в ладоши, затем послышалось ритмическое притопывание: один из юношей начал танцевать в широком круге, вдруг он выхватил из круга девушку и так закружил ее в танце, что видно было лишь мелькающее светлое платье да золотистые волосы. Диоклес смотрел на танцы невидящими глазами, но вдруг повернулся ко мне с искаженным лицом. Он, видимо, выпил еще, и вино плохо действовало на него. Я взял его за руку, пытаясь проводить домой, но он вырвался и тоном неожиданного признания сказал:

— Поверь, я не какой-нибудь тупица: я написал шестнадцать работ, и все они были опубликованы. Две из них в самом деле неплохи, но про меня никогда не скажут: «А, знаем, это тот Диоклес, который разработал вопросы мнемоники», а всегда говорят: «Диоклес? Ага, это ассистент Гообара». Я бы поговорил с грядущими поколениями, я бы сам им представился: биотензоры реальных объемов, инерция отраженной памяти — мои создания. Есть у меня и другие, еще не законченные работы, но последняя — это моя гордость. Однако все это ни к чему. Я — ассистент Гообара, войду в историю лишь как один из его группы, у которого нет ничего своего, пустой звук, тень одного из ста тысяч листьев в кроне дерева. Я знаю, что тут ничего не поделаешь... Так должно быть...

— Что ты говоришь?

Я был ошеломлен. На лице этого низенького человека вдруг выразилось такое страдание...

— Ведь ты мог бы работать самостоятельно в другой группе. Во всяком случае, ты можешь в любое время уйти от Гообара...

— Что? — воскликнул Диоклес. Лицо его сжалось и стало похоже на темный кулак. — Уйти от Гообара?

Уйти? — повторил он. — Да что ты говоришь? Мне — добровольно уйти? Где же я найду другого такого?

— Если он так подавляет тебя своим величием... — осторожно начал я.

— Что ты говоришь? — спросил пораженный Диоклес и, притянув меня к себе, страстно зашептал: — Да, он выше меня, выше всех нас. Ну и что же? Мы продолжаем идти дальше; за семь лет мы выполнили в институте огромную работу, я не хвалюсь, это подтвердит каждый. Знаю сам, что сейчас я способен сделать больше, чем вначале, что мой умственный горизонт расширился, но, когда я дохожу до той точки, где только что был Гообар, он уже опять далеко и по-прежнему впереди нас на несколько этапов. Атака следует за атакой, и каждый раз он остается победителем, а я — побежденным. Горько ли это? Бесспорно, да! Но каждый раз меня побеждает нечто большее, чем в предыдущий раз!

Он виновато улыбнулся, кивнул мне и удалился легкими, как всегда поспешными шагами. Я стал смотреть в зал.

Ниша, где до этого стоял Гообар, была пуста. Я вышел на террасу. Там не было никого, приглушенные голоса звучали издалека. Я подошел к балюстраде и долго, закрыв глаза, вдыхал холодный, соленый воздух. Легкий ветерок овевал мою разгоряченную голову. Горизонта не было видно; его можно было лишь угадывать по контуру вулкана, очерченному тонкой пурпурной линией. Усталость, незаметная до сих пор, охватила меня, наливая свинцом руки и ноги. Повернувшись спиной к холодной каменной балюстраде, я широко раскинул руки и оперся о ее край. И тут, в самом отдаленном углу террасы, я заметил утонувшую во мраке фигуру женщины. До меня донесся чуть слышный в тишине голос Гообара, низкий и сильный.

Я узнал женщину: это была Калларла. На ее лицо падал чуть заметный отблеск света, и вся она с сосредоточенными и одновременно ушедшими вдаль глазами, окруженными тенью, казалась бесплотной и нереальной; ее полуоткрытые губы словно пили что-то, чего нельзя было увидеть. Не вникая в то, что говорил Гообар, она вслушивалась в его низкий голос, как бы вверяя ему всю себя. Она любила его. Любила за то, что он был именно

таким и никогда нельзя было предвидеть, что он сейчас сделает или скажет; любила его внезапную нежность, которую он проявлял почти бессознательно, любила его пальцы, всегда холодные от соприкосновения с металлическими клавишами, упрямый поворот его головы и улыбку, с которой он спорил со своими автоматами; любила его манеру молча прищуривать глаза, словно он радовался тому, что эти машины, по сути дела, ничего не понимают. Иногда, когда он привлекал ее к себе, его голова замирала у нее на груди, потом он вдруг поднимался и смотрел ничего не видящими глазами: это вырывалось наружу неустанно бушевавшее в нем внутреннее движение. Он переставал видеть ее, улыбка, которую она посылала ему, исчезала; их разделял один из тех безграничных миров, которыми он играл. Легкость, с которой он отрывался от нее, причиняла ей боль. Она страдала от этих внезапных приступов слепоты, понимая, что ее любовь — лишь слабый, падающий издали свет, а он сам то появляется в его лучах, то вновь исчезает.

Но среди всего этого была какая-то минута, когда, пробуждаясь от своих мыслей, он одними губами произносил ее имя, как бы призывая ее, хотя она была так близко, что их не разделяло ничто, кроме их мыслей.

Вспоминая пору своего девичества, светлую и спокойную, как ожидание музыки, она внезапно понимала, как ей тогда недоставало того, что нес сейчас каждый новый день. Если бы можно было выбирать и начать жизнь сначала, она еще раз отдала бы свое сердце этим непрерывным поражениям и снова с открытыми глазами принимала бы все удары, которые он невольно наносил ей, делила бы с ним все, кроме своих страданий, которые она так хорошо умела скрывать. Но, хотя она не могла охватить его всего, как парус не может обнять весь ветер, дующий в пространстве, она любила его, и больше всего то, что было в нем от наивного ребенка, смотрящего на мир удивленными глазами; любила, когда он, засыпая, тихо дышал возле нее, любила слабое движение его губ, что-то шепчущих во сне. Она любила больше всего именно то человеческое, что было в нем и что могло существовать, лишь пока он был жив, чтобы потом исчезнуть навсегда.

Наше путешествие длилось уже второй год. Жизнь на корабле шла своим чередом. Лаборатории работали, на межгрупповых конференциях происходил обмен результатами исследований.

Мы внешне сумели преодолеть начавшееся отчуждение между членами экипажа. Все охотно сходились вместе, наши товарищеские встречи происходили так же часто, как научные собрания. Мы много говорили о повседневных мелких делах, о прослушанных концертах, прочитанных книжках, о знакомых. Однако о Земле никто не упоминал, про нее вообще не было слышно в беседах. Могло показаться, что все забыли о ее существовании. Люди не вспоминали близких, оставшихся на ней, и не говорили о самом путешествии.

На эту тему беседовали лишь специалисты. Они открыли немало интересных фактов. Так, например, через несколько месяцев после того, как ракета достигла полной скорости, они заметили, что температура внутри корабля начинает возрастать, хотя и весьма незначительно. Инженеры занялись поисками причины этого явления. Оно было тем более странным, что двигатели корабля уже не работали; источник повышения температуры мог лежать лишь вовне, а там была пустота. В кубическом сантиметре этой пустоты едва встречалось несколько атомов, поэтому она практически могла считаться абсолютной по сравнению со средней плотностью газа в земных условиях, когда в одном кубическом сантиметре заключается несколько десятков триллионов атомов. Но «Гея» двигалась с такой быстротой, что каждый квадратный сантиметр ее поверхности сталкивался в секунду с восьмьюстами миллиардами атомов; этого было достаточно для возникновения трения и нагревания ракеты. Более того: оказалось, что, пронизывая этот межзвездный газ, ракета постепенно обрастает тонким слоем атомов, как бы вдавленных стремительным движением в ее внешнюю оболочку. Возникающий таким образом прирост массы был крайне незначителен, однако точная аппаратура сумела его измерить.

В амбулатории у меня бывало по нескольку пациентов в день; они приходили с разными, часто очень неопре-

деленными жалобами; иногда казалось, что эти жалобы — лишь предлог для беседы с врачом, во время которой можно поотькровенничать. Это привилегированное положение позволило мне добраться до истоков событий, происшедших несколько лет спустя.

Постепенно всех охватывало какое-то ощущение «легкой жизни». Люди охотно шутили смеялись, играли, но все это носило поверхностный характер. Время от времени в разгар ничего не значащей беседы у кого-нибудь вырывалась фраза, которую все старались обойти молчанием. Помню, как однажды в саду при обсуждении работ тектонофизиков и возможности их использования в дальнейшем была упомянута Земля. Какая-то женщина при этом вполголоса сказала «Да вернемся ли мы туда вообще?» Одно мгновение царило напряженное молчание, потом несколько человек сразу поспешно заговорили на другую тему.

Наши юноши и девушки кончали школы, вступали в брак. Рождались дети.

Я уделял детям много внимания. Особенно тщательно я обследовал матерей, посещавших амбулаторию. Кроме научной добросовестности, мной руководило неясное подозрение, что непосредственное соседство вечного мрака и звезд, от которых мы пытались отгородиться толстым слоем броневой оболочки ракеты, окажет неведомое нам влияние на формирование и развитие маленьких человеческих существ. Поэтому я с некоторым недоверием помогал пеленать розовых плачущих малюток, словно ожидал, что у них внезапно проявятся какие-то «звездные» черты. Однако эти ожидания — я сам понимал, насколько смешны были они, — не оправдались. Все проходило совершенно нормально, дети были здоровы и веселы, самые старшие уже ползали по газонам сада, а их жалобный плач, неожиданно доносившийся из какой-нибудь квартиры, когда я проходил по коридору, согревал и делал удивительно близкими окружавшие нас стены, будто здесь сохранилось теплое дыхание нашего собственного детства.

Заниматься детьми приходилось больше всего мне: Шрей был хирургом, а Анной овладела какая-то неприязнь к детям, которую я не мог объяснить себе: в начале

путешествия она живо интересовалась судьбой первых новорожденных.

Были ли мы с Анной счастливы? Не знаю.

Любовь не поддается научному исследованию, ее нельзя выразить ни в формулах, ни в таблицах, нельзя ни предвидеть, ни выразить ее величину. И все же жизнь без нее не была бы полной. Любовь порождает единство мечтаний, когда любящий видит мир глазами другого, приносит радость проникновения в его заботы и принятия на свои плечи его бремени, которое никогда не кажется слишком тяжелым. Страсть становится тогда лишь одним из многих звеньев, связывающих двух людей, а нежность превращается в тот язык без слов, который начинается там, где прекращается обычный, будничный язык. Так любить можно лишь один раз.

Когда головы двух людей сближаются для поцелуя, лица другого нельзя охватить взглядом, потому что оно находится слишком близко, эта близость ничего не решает, ни к чему не обязывает. Напрасно я хотел насильно вызвать у себя чувство, напрасно искал его в жарком поцелуе, в горячем объятии, — оно было в вечернем молчании, в полускрытой улыбке, в случайном, неожиданном прикосновении рук, когда рука одного хочет погладить руку другой и несмело останавливается на полпути. Как мало понимал я Анну, как бесконечно мало касалось меня то, чем она жила!

Я неоднократно замечал, что она помнила все — вплоть до самых мелких — детали наших первых встреч, в то время, как я не помнил почти ничего; я приписывал это свойственной женщинам способности запоминать, которая часто отсутствует у мужчин.

Однажды вечером мы сидели на тахте, покрытой тяжелым белым мехом. Усталый, я положил голову на руки Анны и смотрел в пространство невидящими глазами. Комнату освещала низко висевшая голубая лампочка. Я часто говорил Анне, как мы найдем планету, такую маленькую, что на ней хватит места лишь для двоих, именно для нас. Мы останемся на ней и будем жить в маленьком домике среди звезд. Лениво, полушепотом я повторял то же самое и теперь, как вдруг увидел в зеркале на стене лицо Анны.

Она слушала меня с еле уловимой горькой гримаской,

исказившей ее губы, которая как бы говорила: «Я знаю, что все это — ложь, и ты твердишь это лишь для того, чтобы заполнить молчание, что ты забудешь каждое слово, едва успев произнести его, — и все же продолжай, говори, говори дальше».

И в это мгновение я понял, что не давал ей ничего. Она для меня была лишь теплым, тихим убежищем от

пустоты длинных часов, недель и месяцев. Ее любовь не страшилась звезд, а я думал лишь о том, какие у нее душистые волосы и нежная кожа. Анна понимала это с самого начала и шла на все с каким-то спокойным отчаянием: она любила меня. Я был для нее самым дорогим и в то же время чужим человеком; равнодушный и холодный человек этот вошел в ее жизнь, стал перебирать самые интимные воспоминания, копался в них, как ребенок в игрушках, на мгновение подносил к глазам, чтобы тут же со скукой отбросить прочь; иногда он бывал нежен — и это было еще хуже.

Я умолк, не будучи в состоянии выжать из себя хоть одно слово.

— Ну, а дальше что?.. — спросила она тихо, слегка покачивая мою голову.

Я не мог говорить, будто железная рука сжала мое горло; я притянул ее голову к себе и спрятался за поце-

луем, чтобы она не могла прочитать на моем лице, что я понял все.

О, как бы мне хотелось сказать вам, что в ту же минуту я полюбил Анну и мы были очень счастливы! К сожалению, дела человеческие не решаются так просто.

Минула вторая зима нашего путешествия, настала вторая весна. В саду под лучами искусственного солнца все деревья испытывали обычные перемены: как только солнце начинало пригревать сильней, они покрывались листвой и зацветали; когда лучи его становились слабее, они загорались прелестными красками осени... Лишь канадская ель над ручьем, покрытая темной, почти черной хвоей, не меняла своей внешности. Ботаники впрыскивали в землю, откуда она черпала живительные соки, специальные гормоны и другие препараты, но ель стояла неподвижная, мрачная и равнодушная, как бы презирая их наивную заботу; не желая быть частью фальшивого миража, она замерла в вечном сне. Но однажды утром по всему кораблю словно электрическая искра пробежала весть: черная ель поверила в весну и ночью выбросила зеленые побеги...

Большая толпа собралась в саду. Никто не говорил ни слова. Подгоняемые непонятным чувством, люди торопливо приходили, останавливались, молча смотрели на проснувшееся дерево и тихо уходили поодиночке. Наконец в саду осталось несколько человек; кому-то захотелось сорвать светло-зеленую иголку, растереть ее между пальцами и вдохнуть запах смолы, но другой сделал ему за это строгое замечание. Наконец я остался один, сел под деревом и опустил голову на руки. К наивной радости, какую доставил мне вид дерева, примешивалась глухая жалость. Я почувствовал на себе чей-то взгляд. Подняв голову, я увидел Амету и Зорина: они стояли рядом со мной.

— Пойдем с нами, — сказал Амета. — Прогуляемся по смотровой палубе.

Мне совершенно не хотелось идти, особенно теперь.

— Не хочешь? — сказал Амета. — Пойдем все-таки.

Я рассердился на Амету за его назойливость, но все же встал и неохотно двинулся за пилотами. Лифт поднял

нас на палубу, и через минуту мы очутились в звездном мраке. Я не хотел смотреть на звезды и отвернулся, но всем своим существом чувствовал бездну за собой. Так мы стояли в темноте, пока Амета не сказал, как бы ни к кому не обращаясь:

— Мы живем не в доме, над которым бегут облака; мы несемся в Космосе. Можно обманывать себя, поступать так, словно этого нет, но лучше раз навсегда сказать себе: мы находимся в пустом пространстве, и сделать вывод из этого факта. Наш ум пытается любой ценой набросить на действительность занавес какой-то огромной лжи. Этого делать нельзя. Нам не нужна уютная, лишенная всяких событий уверенность. Разве неизвестность не больше отвечает человеческому характеру? Мы раздвигаем горизонты, открываем новое. Так не будем же закрывать глаза! Вот единственное мужество, какое нужно нам. Не отталкивай бездну, не возмущайся против нее: мир, наш мир, именно таков. И, чтобы все, что кажется чуждым и ужасным, стало целью, к которой мы уже давно стремимся, необходимо лишь понять, что чем страшнее явление, тем оно ближе нам, людям.

Я молчал. Амета заговорил вновь, как бы продолжая прерванную беседу:

— Ты собираешься куда-нибудь сегодня вечером?

— Нет.

— Приходи через час в детский парк. Хорошо?

Детским парком назывался зал, похожий на небольшой ботанический сад. Деревьев здесь было не очень много, все они были низкорослы, с толстыми изогнутыми стволами, по которым так хорошо было взбираться. Для самых младших были сделаны песочницы и маленький грот в скалах. В центре сада бил фонтан.

Сегодня не было ни деревьев, ни песочниц: видеопластики превратили зал в заколдованный сад, где должно было состояться необыкновенное состязание: участники его собирались оспаривать звание лучшего сказочника. Претендентов на это звание было много. Каждый по очереди занимал место на возвышении, и его окружала толпа внимательно слушавших детей, державших в руках маленькие серебряные колокольчики.

Когда сказка кончалась, они трясли колокольчиками, давая выход своим чувствам, а большой автомат в смеш-

ной одежде, наполовину скрытый в тени пальмы, измерял общую силу издаваемых колокольчиками звуков. Одним из лучших рассказчиков оказался Зорин; обычно неразговорчивый, он удивил нас сказкой «О радиоактивных великанах со звезды Алголь». И все же пальму первенства завоевал Тембхара. Одетый волшебником автомат под аккомпанемент вспышек бенгальских огней назвал его имя.

Воспитатели начали разводить детей на отдых, при этом дело не обошлось без плача: младшим все казалось мало. Осмотревшись вокруг, я увидел, что в зале остались лишь взрослые. Внезапно на опустевшую трибуну легкими шагами поднялась Калларла и, улыбаясь, спросила:

— А не рассказать ли еще одну сказку? Если хотите, я расскажу, чтобы вы все не чувствовали себя такими старыми-престарыми...

Мы начали подбирать брошенные детьми серебряные колокольчики, и скоро весь зал наполнился их веселым звоном, а Калларла с таинственным видом начала:

— Сказка, которую я расскажу вам, похожа на быль. Она называется «Рассказ о смеющемся Тюринге».

В наступившей тишине некоторое время еще слышались шаги обслуживающих автоматов. Потом утихли и они, а Калларла все еще не начинала, как бы ожидая чего-то. На ее губах блуждала легкая улыбка. Чего она ждала? Может быть, чтобы вернулось то настроение, которое охватило всех нас, когда в зале были дети?

Наконец она сказала:

— Слышала я этот рассказ от своей бабушки, женщины очень консервативной, которая... но, может быть, при сказках комментарии не нужны? Итак, я начинаю.

Она не смотрела на нас. Глаза ее, обращенные к искрящейся струе фонтана, стали неподвижными, а приглушенный голос смешивался со звуком воды, падающей в каменную чашу.

— Давным-давно, больше тысячи лет назад, мир делился на две части. В одной правили атлантиды. Они хотели уничтожить другую половину мира, которая не подчинялась их власти. Они накапливали яды, взрывчатые и радиоактивные вещества, при помощи которых можно было бы отравить воздух и воду. Но чем бóльшие запасы

таких веществ они делали, тем больший страх охватывал их.

Они покупали за золото ученых, чтобы те создавали самые совершенные машины для убийства. Однажды им стало известно, что на далеком острове за океаном живет ученый, по имени Тюринг, умеющий создавать автоматы. Тогда об автоматах знали еще очень мало и никто точно не представлял себе, какую пользу они могут приносить. Тюринг строил различные автоматы: одни делали машины, другие выпекали хлеб, третьи вычисляли и обладали способностью логически рассуждать. Он трудился сорок лет, пока не изобрел автомат, который мог делать все.

Этот автомат мог выплавлять металл из руды и шить сапоги, превращать один элемент в другой и строить дома, он мог и работать физически и думать обо всем. Он мог ответить на любой вопрос и решить любую задачу; не было дела, которого бы он не выполнил, если оно ему было поручено. Властители Атлантиды направили своих агентов с заданием купить Тюринга, но ученый не согласился на это. Тогда они заключили его в тюрьму и похитили чертежи его изобретений. Старший из атлантидов просмотрел эти чертежи, созвал других и сказал: «Если у нас будет такой автомат, спросим его, как уничтожить тех людей, которые хотят навсегда устранить войны». А другой властитель добавил: «Он, кроме того, скажет нам, как отучить наших подданных от мышления, потому что мыслящие люди неохотно умирают во славу нашего золота».

Все присутствующие зааплодировали ему и решили: построим Большой Генеральный Автомат Тюринга, будем всемогущими, и никто в мире не сможет противостоять нам.

Затем собрали семь тысяч счетных работников (тогда люди еще считали в уме), чтобы те подсчитали, сколько золота понадобится на оплату строительства. Вслед за ними собрали семь тысяч инженеров и конструкторов, которые семь лет чертили проекты. Еще до того, как проекты были закончены, первые бригады рабочих отправились готовить строительную площадку.

В Аламогордо, в центре огромной песчаной пустыни Новой Мексики, было собрано семь раз по семи тысяч

рабочих. Они жили в железных бараках, по ночам страдали от холода, а днем изнывали от страшной жары. Болезни истребляли их, но на смену умершим сгоняли всё новых рабочих, которые копали огромные котлованы под фундаменты, пробивали шахты и галереи в скалах, а над ними возвышались землеройные машины, похожие на гадов, живших сто семьдесят миллионов лет назад.

Эта стройка длилась семь лет и еще семь лет, и через четырнадцать лет сто тысяч акров земли были покрыты металлическими башнями и домами и отгорожены от остального мира высокими стенами. Наступил день, когда ушли последние из тех, кто выполнил эту гигантскую работу, и ворота закрылись.

Строительные площадки опустели, кругом воцарилась тишина, и лишь ветер свистел высоко в натянутых проводах да по извилистым дорожкам шагали охранники с собаками. Так продолжалось семь дней, пока однажды темной, безлунной ночью у восточной стены не остановился экипаж, который назывался бронированным автомобилем. Из него вышли семь человек, управляющих Атлантидой. Первый был хозяином ее железа, второй — угля, третий — нефти, четвертый — дорог, пятый — хлеба и мяса, шестой — электричества, а седьмой — армии. С ними приехал восьмой, бледный юноша, сын одного из властителей.

Навстречу им из-под земли вышел главный инженер стройки и низко поклонился прибывшим. Властители вышли из автомобиля и увидели раскачивающиеся высоко за стенами лампы, привешенные на проволочных канатах, а в их неспокойном свете — черные блоки и башни, стоящие рядом, как шеренги солдат: это была лишь видимая, находящаяся на поверхности земли, небольшая часть Генерального Автомата Тюринга, который уходил глубоко под землю, в галереи и залы, просверленные в скалах пустыни. Охранники с обеих сторон приблизились к черным дверям в стене, двери открылись, и посетители вошли внутрь, где их ожидала застекленная вагонетка, которая сейчас же двинулась в путь.

Они ехали по залам, залитым холодным синим светом, по зданиям, как бы перевернутым вверх ногами и вдавленным в скалу, а над их головами темнели лианы проводов, висевших на огромных грибообразных изоля-

торах. Они проезжали мимо вмонтированных в стены триггерных ячеек; миновали шахты, у которых стояли на страже бронированные автоматы; вагонетка углублялась все дальше, а инженер объяснял им все и говорил, что в подземельях одних лишь главных приборов больше, чем секунд в жизни человека. Они ехали дальше, спускаясь с одного этажа на другой; за стеклом извивались коридоры, взгляд терялся в лесу проводов. Вагонетка скользила под толстыми медными трубами. Иногда где-то в глубине сверкал рубиновый фонарик, мрак густел, а вагонетка с ритмическим стуком опускалась все ниже и ниже. И весь этот необъятный и неизмеримый лабиринт был мертв: ни один импульс тока еще не прошел через миллиарды километров проводов, оплетавших медный мозг машины.

Властители ехали долго, пока за стеклами не засверкали лампочки, осветившие влажные стены туннеля. Вагонетка затормозила и остановилась. Они были у цели. На самом нижнем этаже под этой гигантской стройкой находилась небольшая бронированная комната яйцевидной формы. Они вошли туда. На черных стенах виднелись контрольные часы — семьдесят семь часов. Посреди комнаты было возвышение. На нем стоял черный микрофон, а под бриллиантовым колпаком виднелась кнопка. И больше ничего. Отсюда надо было отдавать приказы Большому Генеральному Автомату Тюринга.

Инженер объяснил, что автомат может выращивать экзотические цветы, закладывать сады и уничтожать людей. Он не имел никаких предохранительных устройств, подобных тем, какие есть у современных автоматов, и вообще совершенно не был похож на них. Это был дикий, варварский автомат, своими размерами в миллионы раз превышавший пирамиды.

Они стали у возвышения. Наступила тишина. Хотя под сводами пылали семь люстр, черные стены поглощали свет. Пуск Автомата Тюринга должен был состояться позднее, но главный инженер, стремясь заслужить благоволение властителей, посоветовал произвести его испытание теперь. Уже несколько лет его самого мучило ожидание, и в глубине его сознания таилась сокровенная мысль: он понимал, что тот, кто станет у микрофона пущенного в ход Тюринга, будет самым сильным в

мире человеком, сильнее ассирийских и вавилонских магов, которым служили демоны. И, когда первый властитель спросил: «А что нужно сделать, чтобы пустить автомат в ход?» — он ответил: «Нажмите вот эту черную кнопку, она поднимет затворы в плотинах, воды реки Святого Хуана устремятся на лопасти семидесяти семи турбин, возникнет ток, который насытит металлические внутренности Тюринга, и тогда в его органах забьется электрический пульс».

Властитель был немного взволнован: он любил великие и удивительные дела и, как бы нехотя, нажал кнопку. Вспыхнул свет, стрелки на всех циферблатах вздрогнули, лампы открыли свои красные глаза и взглянули на людей, а над их головами вздрогнуло и пришло в движение все пространство площадью в сто тысяч акров.

Вращались и пыхтели машины, тысячи вакуумных трубок раскалились докрасна, реле начали включаться и выключаться, и через все катушки, соленоиды и обмотки прошел ток. Но в черной комнате виднелись лишь неподвижные циферблаты часов, а в репродукторе слышался глухой шум: гигант, обладавший медным мозгом, был уже оживлен, но еще спал и, казалось, храпел.

Тогда властители поняли, что перед ними находится всемогущее существо, которое они сами создали и которое сделает все, что ему прикажут. Когда они вдумались в это, то в глубине души испугались, как бы заглянув в пропасть: они не привыкли к тому, что можно быть всемогущим.

Каждый подумал, что автомат по его приказу может уничтожить сокровища и лишить жизни шестерых других властителей, но отгонял эту назойливую мысль во имя интересов новой войны, которую они решили затеять.

Восьмому из них было всего восемнадцать лет, он был сыном хозяина железа, самого богатого из всех, потому что из железа производились все орудия истребления. Этот властитель умел как никто другой торговать кровью, на его заводах стучали тысячи стальных молотов для того, чтобы в далеких землях перестали биться тысячи живых сердец. А его сын был еще мальчиком, бледным и печальным. Он познал вкус всех плодов земли, всех ядов, возбуждающих расслабленные нервы, и

все удовольствия, которые можно получить за золото. Поэтому мир казался ему полным безграничной скуки, и в поисках неизвестных ему волнений он охотно погружался в лабиринты темных философских учений.

Люди стояли неподвижно, подавленные собственным ничтожеством по сравнению с машиной, не пытались промолвить ни слова и лишь вслушивались в мерный гул, говоривший о том, что чуткий и покорный гигант замер в ожидании. Тогда бледный юноша неожиданно вышел вперед и задал вопрос:

— Зачем мы живем?

Охваченный ужасом, его отец хотел наказать юношу,

но не успел открыть рот, как Тюринг пришел в движение. Лампочки начали мигать, свет ослабел, темные стены подползали к ним и снова отступали; из репродуктора вырвался железный вздох, за ним другой, третий, четвертый, с каждым разом все сильнее. Пол задрожал, с него поднялась пыль, у присутствующих, потрясенных ужасными толчками, подкосились ноги. Вдруг в грозовом скрежете и грохоте все бросились к двери, толкаясь и в панике сбивая друг друга с ног: они поняли, что машина смеялась...

ПЕТР С ГАНИМЕДА

Я давно не писал о юноше с Ганимеда. Первая операция спасла ему жизнь — и только. Повреждения мозга преградили путь мыслям. Он не умел ни говорить, ни писать, ни читать и, в довершение всего, страдал слепотой. Нет, он не был совершенно слеп, он видел, его глаза реагировали на свет, но находящийся в мозгу центр зрения был как бы островом, отделенным шрамами от центров памяти, и поэтому он воспринимал лишь бесформенный хаос цветных пятен и фигур. Мы сделали ему новую операцию, и теперь он медленно выздоравливал; стало восстанавливаться нормальное мышление, он вновь научился говорить.

К концу второго года юноша почти ничем не отличался от любого из нас, с той только разницей, что факты из своей биографии он знал не потому, что пережил, а потому что выучил их. Он снова узнал, что его зовут Петром. Мы рассказывали ему про его собственную жизнь то, что нам передали по радио с Земли; задержка сигналов в пути, к счастью, в этом случае не имела значения: если бы передачи пришли вовремя, они были бы бесполезны.

Петр уже сидел в глубоком кресле: он очень исхудал, но силы его восстанавливались с каждым днем, и он все чаще говорил о своем намерении примкнуть к группе молодежи, занимающейся изучением звездоплавания. Мы искренне приветствовали это желание, так как были убеждены, что работа поможет ему вернуться к жизни. Однако он не знал, что произошло с ним за последние

два года, и это беспокоило его. Решив, что ему уже можно знать все, мы с Тер-Хааром сообщили ему, каким образом он очутился на «Гее».

Потом я очень осторожно рассказал ему про эксперимент, который мы проделали при исследовании его мозга, о том, как Анна спросила его, любил ли он. Петр оживился, глаза его заблестели. Я испугался, не повторилась ли вновь нервная лихорадка, которая долгое время мучила его, но он сказал, что хочет поделиться с теми, кто спас ему жизнь, своим единственным уцелевшим воспоминанием. Я попытался было отговорить его от этого, но он так упорно настаивал, что, посоветовавшись с Анной и Шреем, я согласился. Кроме врачей и Тер-Хаара, при его рассказе присутствовал Амета, чье общество всегда самым удивительным образом ободряло нашего больного.

Петр говорил короткими фразами, часто останавливался и вопросительно глядел то на меня, то на Анну, как бы ожидая, что мы подскажем ему нужное слово. Рассказ прерывался долгими паузами. Иногда он задумывался и в молчании, закрыв глаза, силился восстановить какую-то стертую, утраченную деталь. Порой ему это удавалось, иногда же он покачивал головой со слабой, беспомощной улыбкой, которая означала «забыл». Он походил на человека, который возвратился в родные края и нашел пепелище на месте родного дома, поднял какой-то осколок и по нему воссоздает памятный лишь ему одному образ целого. Может быть, именно поэтому его суровый и простой рассказ потряс нас. Я передаю его вам не в том искаженном виде, в котором слышал сам, но переписав заново и заполнив все пробелы благодаря сообщениям с Земли.

Вот история Петра с Ганимеда, потерпевшего крушение в межзвездном пространстве, его единственное воспоминание, которое оказалось сильнее катастрофы.

Его детство было таким же, как и у его сверстников. До семи лет он жил у деда с бабкой в большом заповеднике евразийского парка природы на Памирском плоскогорье и лишь два месяца в году проводил в старом доме родителей на Висле. Затем он поступил в школу; отправился путешествовать по морям и континентам Земли, что было связано с изучением географии и геоло-

гии, посещал старые музеи и изучал коллекции, чтобы знать историю, совершал вылазки в горы, предпринимал летние экскурсии в поля и леса. Вместе со своими товарищами под наблюдением воспитателей он проводил самостоятельные физические и химические эксперименты, изучал модели планет в детском межпланетном парке, летал на ракетах и, наконец, впервые отправился на две недели в обсерваторию на шестой космической станции. Это было время ярких снов, мечтаний об открытиях далеких планет, о необычайных приключениях, о грозных силах, с которыми он намеревался бороться до победы.

Он рос; все вокруг него становилось понятным, и детские мечты о борьбе и победах уходили вдаль. Он уже изучал основы всеобщей науки и был убежден, что таинственное — если оно есть вообще — можно найти лишь в самых отдаленных уголках Вселенной. В семнадцать лет он стал посещать политехникумы, институты, лаборатории, чтобы познакомиться с безграничными просторами деятельности человека и выбрать ту отрасль, которой хотел бы посвятить себя. Вначале он интересовался астрономией, но в конце концов поступил в Институт общего и экспериментального звездоплавания..

Три года спустя он окончил вступительный курс и начал готовиться к четырехлетнему периоду самостоятельных исследований. Именно тогда он испытал первый успех: профессор Диаадик, оценивая результаты работы своих учеников, признал, что самые большие надежды подает Петр. Но скоро радость успеха была отравлена для юноши горечью поражения, которое он потерпел в борьбе с неведомой силой, открытой им не на далекой звезде, а в себе самом. Он познакомился с молодой девушкой, ровесницей, такой же, как и он, студенткой. Их объединяли общие интересы и надежды; через год они подружились. Им иногда было смешно оттого, что их мысли были одинаковы и чувство, возникавшее у одного из них под влиянием произведения искусства, дополнялось чувством другого. В эту пору он работал более интенсивно, чем когда-либо. Он никогда раньше не был так уверен в том, что сможет преодолеть любые препятствия, никогда не штурмовал их с такой страстью и решимостью. Он непрерывно искал новых дел

и задач. Иногда им овладевало непреодолимое желанке подняться одному на какую-нибудь горную вершину; в это время он совершил несколько смелых, рискованных восхождений. Однажды вечером, оставшись в лаборатории наедине с девушкой и увидев, как она, отвернувшись от него, легкая и сильная, работает у аппаратов, он вдруг с замиранием сердца неожиданно понял, что его борьба с самим собой, стремление уединиться, непонятная задумчивость, жаркие сны, невысказанная тоска, — все это объясняется одним словом: любовь.

Не сразу и не скоро он сказал ей это слово. Наконец пришла эта минута, и все было кончено: она ценила, уважала, но не любила его. После решительного объяснения он несколько месяцев избегал встречи. Когда же они увиделись вновь, он уже не сказал ничего, и, что самое удивительное, почти перестал думать о ней. Только изредка по ночам, сидя над раскрытой книгой при свете низко опущенной лампы, он вдруг поднимал голову и устремлял свой взгляд туда, где начиналась темнота, пустая и черная, как межзвездное пространство. Его пронизывала молния сожаления, такая сильная, что у него перехватывало дыхание. Он сутулился, опускал голову и возвращался к своим расчетам, бессмысленно повторяя последние написанные фразы.

Минул год и другой. Петр приступил к дипломной работе. Он жил в филиале звездоплавательного института на Луне. Там он закончил работу и прилетел на Землю, чтобы сдать ее своему воспитателю Диаадику. Он собирался вернуться на Луну в тот же день, но встретил одного из своих старших товарищей, который сказал полушутя: «Жаль, что ты не показываешься у нас. Дочка все ждет, когда ты расскажешь ей обещанную сказку». — «Ну, раз обещал, извинись и скажи, что я завтра приеду», — серьезно ответил Петр.

У него было несколько свободных часов. Он отправился в большой парк при институте и там встретил девушку. Они не виделись два года. Она очень обрадовалась ему и предложила погулять вместе. Они полетели в один из ближайших заповедников, ходили там до захода солнца по зарослям вереска; она нарвала огромный букет. Наконец, утомленные жарой, они сели отдохнуть на южном склоне холма, покрытого густой, высокой травой.

Солнце уже скрылось за горизонтом, листва трепетала под прохладным дыханием надвигающейся ночи. Вдруг в северо-восточной стороне вспыхнул ослепительно яркий свет, молния прорезала тучи, поднялась к зениту и исчезла; донесся затихающий грохот, похожий на раскаты отдаленной грозы.

— Это была последняя ракета на Луну, — сказала девушка. — Она улетела без тебя, теперь тебе придется остаться до утра.

Он не ответил. Сумерки сгущались. В тучах еще был заметен фосфоресцирующий свет; наконец он исчез. Лицо его спутницы становилось все менее различимо.

Долго длилось молчание.

— Пора идти, — сказала она полушепотом, словно кто-то, кроме них, стоял поблизости. — Уже поздно...

— Жаль, что я не вызвал гелиоплан, полетели бы, — сказал он вставая.

— Ничего... Только я не знаю, как нам выйти отсюда, Петр.

— Будем ориентироваться по звездам и поищем поезд. Он проходит где-то неподалеку. Смотри вверх. Видишь — Большая Медведица? А дальше — Полярная звезда.

Они добрались до голой, плоской вершины холма. Едва различимые звезды лишь усиливали темноту. Они стали спускаться вниз. Ноги путались в высокой, влажной от росы траве.

— Ты слышал, — спросила она его, немного помолчав, — что больше не будут сбрасывать воду из океанов за пределы земной атмосферы?

— Эта работа проводилась по плану расширения поверхности континентов?

— Да, до сих пор воду сбрасывали без пользы; теперь есть проекты использовать эту воду для орошения засушливых планет. Смотри-ка, здесь, кажется, можжевельник: я укололась. Ага, вот начинается тропинка! Все-таки мы куда-нибудь да придем. Так вот, профессор поручил нам новую работу, очень интересную.

Тропинка, по которой они шли, вилась вдоль высокого, буйно разросшегося кустарника. На повороте открылся вид на широкие просторы. Далеко в небе двигалось

светящееся облако, потом оно остановилось и поползло назад.

— Видишь, — указала она спутнику, — Поздена производит свои опыты... Жаль, что ты не остаешься здесь... Я показала бы тебе все новое; мы ведь многого добились за последнее время.

— Нет, — вырвалось у него, — я не должен был сюда приезжать!

Она остановилась. У мелких листьев кустарника была светлая изнанка, и, когда под дуновением ветра они поворачивались, казалось, что из темноты смотрят десятки белесых глаз. Он не видел девушки, а видел лишь беспокойное трепетание листьев, на фоне которых, в ореоле призрачных огоньков, неясно выделялась ее фигура.

— Почему, Петр? — тихо спросила она.

— Не будем говорить об этом, — попросил он. Он внезапно почувствовал себя очень усталым.

— Петр... я думала... Ведь я, понимаешь ли, не хотела... Я думала, что за два года... — Она умолкла, не докончив фразы.

— Что за два года я забыл? — Он слабо улыбнулся. — Не говори этого, — добавил он, словно разговаривал с ребенком. — Ты не понимаешь... Впрочем, я тоже не понимаю. Дай руку.

Девушка протянула руку. Он продолжал говорить, и его легкий голос, какого она еще никогда не слышала, едва можно было различить среди непрекращающегося шума листьев.

— Ты всегда остаешься со мной. Я не знаю и не спрашиваю, почему это так. Твои пальцы, губы так же принадлежат мне, как мои собственные. Я не выбирал их: они существуют, и я не удивляюсь этому, хотя по временам могу против этого бунтовать... Но кто же, подумай, бунтует всерьез против собственного тела? Ты не дорога мне, как не дорого собственное тело, но ты необходима мне, как необходимо оно: без него я не мог бы существовать. Я касаюсь твоей руки. Как высказать тебе это? Бессмертия нет. Мы все это знаем и все так думаем. Но теперь, в эту минуту, бессмертие есть. Я прикасаюсь к твоей руке — и словно я знаю всех забытых и погибших, все страдания и горести людей и все миры. А что же такое бессмертие, как не это?

Ты молчишь. Это хорошо. Не говори мне — забудь, ведь ты умная. Если бы я забыл, то уже не был бы собой, ибо ты вошла в меня, слилась с самыми отдаленными воспоминаниями, дошла туда, где еще нет мысли, где даже не рождаются сны, и, если бы кто-нибудь вырвал тебя, осталась бы пустота, будто меня никогда не было: я должен был бы отказаться от себя самого.

Знаешь, почему я взял работу в обсерватории? Мне хотелось забыть тебя, но когда я смотрел на голубую Землю, то чувствовал, будто смотрю на тебя; ты всюду, куда я смотрю. Прости, не сердись... Ах, что я говорю! Ведь ты понимаешь, зачем я все это говорю? Не для того, чтобы убедить тебя или объяснить тебе что-нибудь: этого не нужно объяснять, как человеку не объясняют, зачем он живет.

Я знаю: то, что я ощущаю, для тебя бесполезно. Но наступит время, когда у тебя будет многое позади, а впереди останется мало, и ты, возможно, будешь искать в воспоминаниях какую-то опору. И ты будешь совсем другой, и все будет другим, и я не знаю, где я буду, но это не имеет значения. Подумай тогда, что мое звездоплавание, так же как мои сны, мой голос и мои заботы, мысли, еще неизвестные мне, мое нетерпение и моя робость — все это могло быть твоим, и ты могла приобрести целый мир. И, когда ты подумаешь так, будет неважно, что ты не сумела или не захотела этого. Важно будет лишь то, что ты была моей слабостью и силой, потерянным и найденным светом, темнотой, болью — то есть жизнью.

Наклонившись, Петр коснулся пальцами ее руки своего лба и висков.

— Ты ощущаешь вот здесь что-то твердое? Когда-нибудь здесь не будет тела, останется лишь чистая, голая кость. Но это ничего. Ведь хотя все изменяется и представляет собой лишь мимолетное сочетание атомов, вот это мгновение сохранится. Оно будет существовать даже во прахе, в который превратится моя память, сохранится навсегда, так как оно сильнее времени, сильнее звезд, сильнее смерти.

Он умолк. Потом осторожно отпустил ее руку, словно возвращая ей что-то очень хрупкое, и первый двинулся в путь.

Тропинка вела сначала прямо, потом повернула в сторону и разделилась на две. Тучи все больше закрывали небо; ветер усиливался. Они шли молча, и вдруг из-за живой изгороди послышалось медленное звяканье.

— Кто там? — сказал громко Петр, поворачиваясь в ту сторону, откуда доносился звук.

— Это я... Сигма шесть, — ответил металлический баритон.

Петр пошел в этом направлении, но, наткнувшись на плотную стену колючего кустарника, остановился.

— Сигма шесть, как добраться до тебя? Есть ли тут дорога?

— Если не можешь пройти, значит, ты человек. Иди прямо — там есть просека.

— Сигма шесть, дай сигнал.

В глубине зарослей вспыхнул малиновый шар, прорезанный зелеными полосами. Петр и девушка пробрались сквозь кустарник на поляну. В зарослях на треножнике стояла машина. Одна из ее антенн была освещена сигнальной лампой, металлическая поверхность машины, покрытая срезанными ветвями и крупными каплями росы, похожими на слезы, тонула во мраке.

— Сигма шесть, где проходит поезд? — спросил Петр, подходя к машине. Он положил руку на ее холодную поверхность.

— Платформа находится в четырехстах метрах на северо-северо-восток, — сообщила машина.

Голос ее становился все тише, слова звучали с большими паузами.

— Похоже, она разряжена, эта Сигма, — сказал Петр. — Ты заметила, как смешно она заикается?

— Я не...раз...ряжена... — ответила машина с металлическим скрипом, в котором послышался странный оттенок обиды. — У меня... сгорела... обмотка.

Она вздохнула и умолкла.

Спустившись с покрытого кустами холма, Петр и девушка оказались на равнине, по которой проходила труба аэропоезда; ее стены тускло светились. Поодаль возвышался полукруглый купол станции. Здесь от магистрали отделялась ветка, состоявшая из более коротких труб. Петр нажал кнопку вызова; девушка оперлась о металлические двери. Ее лицо было задумчиво и спокойно.

Один раз губы ее дрогнули, но она лишь вздохнула. Наконец раздался сигнал, открылись двери маленького вагончика.

Петр протянул руку. Она проговорила поспешно:

— Петр, поверь мне... Я хотела бы... прости меня...

— Это ты меня прости, — прервал он спокойно. — Я иногда бываю безрассуден, особенно ночью...

— Ты не поедешь со мной?

— Нет, я пройдусь немного. Покойной ночи.

Двери закрылись. Вагончик, перескакивая из одного сегмента труб в другой, набирал скорость. Несколько мгновений на стеклянной ограде отражался пробегающий волнами свет, потом он угас, и остался лишь оранжевый отблеск.

Петр долго шел наугад, ощущая лицом, лбом, щеками и невидящими глазами прикосновение ветра, который овевал и его, и темневшие вокруг деревья и кусты. Он шел все быстрее, дыхание его стало прерывистым.

В разрыве между тучами печально мерцала одинокая звезда.

«Это Марс», — подумал он и пошел дальше.

Руки раздвигали ветви, мокрые листья легко и тревожно, словно украдкой, касались его лица. Перед ним темнел большой куст с белесыми снизу листьями. Здесь он говорил с девушкой. При мысли, что он остался один, его охватила еще не испытанная никогда тревога.

Он повернулся и, спотыкаясь, побежал наугад. Он продирался сквозь кустарник, невидимые ветви хлестали его по лицу, а он все бежал во мраке.

«От кого я убегаю? — подумал он. — От себя? Надо что-то сделать».

Тихо опустившись на колени, он лег на отяжелевшую от росы траву и в бессилии оперся на какой-то твердый, плоский предмет. В голове мелькали обрывки воспоминаний о пережитой ночи. Вдруг он услышал ее голос: «Петр!..» Иллюзия была так сильна, что он, казалось, ощутил колебания воздуха, вызванные ее голосом. Глухой стон, похожий на рыдание, вырвался из его груди. Тогда откуда-то сверху до него донеслись медленно сказанные слова:

— Человек, что ты тут делаешь? Ты заблудился?

Петр молчал.

— Чего ты хочешь? Скажи, человек, — снова послышался голос.

— Я не хочу ничего. Ты не можешь мне помочь, Сигма.

— Почему? Не понимаю. Ты потерял что-нибудь?

Этот вопрос неожиданно развеселил Петра.

— Да, — сказал он, — потерял.

— Что ты потерял?

— Все.

— Все? Это ничего. Ты можешь каждую вещь получить снова.

— Тебе так кажется? Каждую вещь? Даже весь мир?

— Весь мир принадлежит людям. Значит — и тебе.

— Если мир не с кем разделить, он бесполезен.

— Не понимаю. Повтори фразу.

Сознание, а вместе с ним и боль возвращались к Петру.

— Все равно ты не поймешь, — сказал он. — Ты не можешь мне помочь.

— Я здесь, чтобы служить тебе.

— Знаю. Ты полезна людям... но я... мы ценим больше всего то, что тебе недоступно. Тебе это непонятно?

— Непонятно, — ответил голос покорно, но с явным нежеланием.

Петр повернулся туда, откуда доносился голос.

— Слушай... — вдруг сказал он шепотом. — Слушай, Сигма...

— Я слушаю тебя.

— Убей меня!

Стало тихо. Судорожное дыхание человека, похожее на рыдание, сливалось с однообразным шумом ветра.

— Не понимаю. Повтори фразу.

— Ты машина, которая служит людям. У тебя механическая память, и все, что в ней записано, ты можешь стереть, как будто этого никогда не было. Никто этого не узнает, никому это не принесет вреда. Сигма, спаси меня! Убей меня, слышишь?

— Не понимаю. Что значит «убей»?

— Нет! — простонал Петр. — Нет! Я ничего не сказал. Молчи! Не говори ничего. Забудь! Слышишь! Забудь!

Он дышал тяжело. Воздух словно застревал в горле.

— Ты металлическая... мертвая... машина... Ты ничего не чувствуешь, не знаешь; не понимаешь, что значит отчаяние, мука, — не знаешь ничего. Как хорошо тебе... А у меня... нет больше сил. Нет сил, но я знаю, что они нужны мне, а это уже много... Я... Забудь эту беседу, Сигма, слышишь?

— Не забуду, — возразила машина.

— Почему?

— У меня перегорела обмотка. Когда починят, забуду.

Петр засмеялся:

— Ах, так? Ну хорошо. Может быть, и меня починят, и я забуду.

Он провел рукой по лицу. Волосы, руки, одежда — все было пропитано влагой. Холод отрезвил его. Сквозь тучи проступал фиолетовый рассвет. Начинался новый день. Из тьмы появлялись контуры деревьев, ветер ослабел, было удивительно тихо. Земля лежала перед ним — огромная, лишенная красок, как бы испепеленная ночью.

Где-то у горизонта, в доме, вспыхнул огонек; Петр не мог отвести глаз от этой мерцающей земной звездочки. Там бодрствовали люди, там, как всегда, шла работа. На далеких аэродромах приземлялись корабли. В лабораториях люди с сосредоточенными лицами склонялись над аппаратами. Его друзья, товарищи по обсерватории, сбрасывали на стальной пол покрытые изморозью скафандры и смотрели на циферблат часов.

Все они ждали его. В далекой Силистрии было уже утро, маленькая девочка говорила маме: «Я не поеду с тетей на экскурсию: сегодня приедет дядя Петр и расска-

жет мне сказку». Петр поднял руки к лицу, протер глаза и пошел к станции, вглядываясь в светлеющее пространство, словно отдаваясь под его защиту.

Окончив рассказ, усталый юноша уснул. Я знаком попросил товарищей уйти; лишь мы с Анной задержались ненадолго у постели. Дыхание Петра становилось все медленнее и глубже, прижатая к груди рука несмело пошевелилась, будто погладила что-то, потом упала и неподвижно замерла на краю постели.

Мои товарищи стояли в передней у большой араукарии.

— Заходите ко мне, — сказал я приглушенным голосом, хотя до изолятора, где лежал Петр, отсюда не мог долететь никакой звук.

Они вошли. В комнате было уже темно, за окнами синело море. Я не зажег света. Мы уселись поудобнее, вглядываясь в голубой мрак за окном; над горизонтом сверкал высокий серебристый султан зодиакального света, и звезды, искусственные, но прекрасные, мерцающие, земные звезды усыпали небосвод.

Двери открылись, и в комнату ворвалось дыхание холодного ветра. Вошел Нильс Ирьола, который по вечерам иногда бывал у меня.

Он попытался было понять содержание беседы по отдельным репликам, но под конец спросил:

— Извините, можно ли узнать, о чем идет разговор?

— Ты помнишь, я рассказывал тебе об исследовании мозга Петра? Как внезапно изменились в нем токи, когда *Анна спросила его...*

— Конечно, помню, — прервал меня Нильс.

Его четко очерченный профиль выделялся на фоне стекла.

— Петр сейчас рассказал нам свое единственное уцелевшее воспоминание: это была любовь.

— И вы думаете над этим в потемках? — спросил Нильс.

— Да. Это, видишь ли, была редкая, неразделенная любовь.

— Ага, безответная любовь. — Мальчик склонил голову и, немного помолчав, сказал с оттенком осуждения в голосе: — Да, безответная любовь, конечно, бывает.

Я читал об этом. Конечно, есть дела поважнее, но и это тоже бывает, я понимаю. В будущем, очевидно, такие случаи будут невозможны.

— Что ты имеешь в виду?

— Просто можно будет как-то изменить психику данного человека.

— Чтобы он разлюбил? — спросил из своего угла самым серьезным тоном Амета.

— Можно и так, но не обязательно. Ведь можно изменить психику и того, другого человека... Я читал где-то, что по желанию можно вызывать инстинкт материнской любви у животных, вводя им в организм соответствующие гормоны. Это происходит в результате воздействия химических элементов на кору головного мозга. С человеком, конечно, будет труднее, но все же принципиальной разницы нет...

— Ты так думаешь? — спросил Амета.

А Шрей заметил:

— Это не так просто, дорогой Нильс.

— Почему?

— Ты, значит, кое-что об этом прочитал и уже составил свое мнение? У Архиопа есть такая комедия «Гость». В ней описано, как на Землю прибыл один очень интеллигентный марсианин, не имеющий никакого понятия о том, что такое музыка. Он знакомится с нашей цивилизацией и, между прочим, попадает на концерт. «Что делают здесь люди?» — спрашивает он. «Слушают музыку». — «Что такое музыка?» Его проводники пытаются как умеют объяснить ему. «Не понимаю, — говорит им марсианин. — Ну хорошо, я сейчас изучу это сам». Ему показывают инструменты, он исследует их, обнаруживает в них различные клапаны, молоточки. Наконец доходит дело до барабана. Ему очень понравились большие размеры и геометрически правильная форма этого инструмента, он тщательно ощупал его и сказал: «Спасибо, теперь я уже знаю, что такое музыка, это очень интересно». Ты, мой мальчик, пока знаешь о любви столько, сколько этот марсианин о музыке. Я не обидел тебя?

— Ах, нет, — сказал Нильс, — но прошу вас, разъясните мне, почему то, что я говорил, глупо, если это действительно так.

— Если исходить из того, что ты сказал, Нильс, —

отозвался молчавший до сих пор Тер-Хаар, — можно представить себе такую картину: мужчина любит женщину, а та не разделяет его чувств. Других препятствий к сближению у них нет, поэтому женщина принимает пилюлю, преобразующую черты ее характера, мешавшие ей полюбить именно этого человека, и все кончается к обоюдному удовольствию. Так ты себе представляешь?

— Но... — заколебался Нильс, — так, как ты рассказал, профессор, это выглядит немного смешно... Может быть, не пилюля... Неразделенная любовь причиняет страдания. Правда, сам я никогда ничего подобного не испытывал, но думаю, что бесплодное чувство...

— Бесплодное чувство? — подхватил эти слова Амета. — Бесплодных чувств, дорогой мой, не бывает. Неудачи, страдания, огорчения необходимы. Это не фраза, не похвала страданию. Преодолевая трудности, мы совершенствуемся.

Мы поговорили еще немного, и, когда все уже собрались уходить, Нильс сказал:

— Мне кажется, профессор Шрей, что теперь я знаю о любви больше, чем ваш марсианин о музыке...

Старый хирург задержался у меня. Мы довольно долго сидели молча, наконец Шрей открыл глаза и тоном, какого я еще никогда у него не слышал, сказал:

— Знаешь ли ты леса близ Турина?.. Широкие белые дороги, которые вырываются из них на равнины, полные ветра березовые рощи... Там можно бродить целыми днями и вечером греть руки у костра, дым от которого стелется так низко, а хворост трещит так громко...

— Ты это всегда можешь увидеть в видеопередаче, — сказал я, — в любую минуту, даже сейчас.

Шрей встал.

— Протезы для воспоминаний мне не нужны, — сухо ответил он и быстро вышел.

БУНТ

Третий год нашего путешествия был самым тяжелым, несмотря на то что за этот год заметных событий было мало. А может быть, именно поэтому. Предупредительные сигналы молчали. Судно развило полную скорость и каждую секунду проходило сто семьдесят тысяч кило-

метров под некоторым углом от оси, соединяющей северный и южный полюсы Галактики. Все приборы «Геи» работали так хорошо, что мы давно забыли об их существовании. Воздух для дыхания, продовольствие, одежда, предметы повседневного быта и роскоши — все, в чем у кого-либо возникала потребность, предоставлялось по первому требованию: все это производилось в атомных синтетизаторах корабля.

В центральном парке сменялись времена года; дети, появившиеся на свет в первые месяцы путешествия, уже начали говорить. По вечерам, во время долгих бесед, мы рассказывали друг другу свои биографии, и эти истории, часто сложные и запутанные, даже рассказанные наскоро, за час-другой, ясно показывали, почему жизнь каждого привела его на палубу корабля, отправлявшегося в межзвездную экспедицию.

Теперь уже никто не искал одиночества, напротив, люди стремились сблизиться друг с другом, может быть, слишком поспешно. Амета говорил: «Ничего хорошего не получится, если объединить слабость со слабостью. Нуль плюс нуль всегда равен нулю». Я сам, будучи связан с группой людей, обладавших неисчерпаемыми резервами духа, страдал мало; но как врач замечал, что у других пространство уничтожает смысл жизни и труда.

Почти все на корабле стали страдать бессонницей. Лекарств стали употреблять в десять раз больше, чем в первое время. Между товарищами по работе начинались ссоры по самым пустяковым поводам. В любую пору суток можно было встретить людей, бесцельно блуждающих по коридорам; они проходили, уставившись глазами в одну точку.

Больше всего нас тревожили несколько десятков человек, деятельность которых сильнее других привязывала их к Земле. Потеря связи с родной планетой подрывала основы их существования. Им предложили включиться в другие коллективы, более загруженные работой, но этим предложением воспользовались не все из них. Закон абсолютной добровольности труда, который до сих пор не привлекал ничьего внимания, вытекая очевидным образом из самых основ нашего существования, обращался теперь против нас.

В атмосфере, наполнявшей ракету от ее верхних па-

луб до самых отдаленных закоулков, было что-то гнетущее. Казалось, на наше сознание легло незримое, но тяжкое бремя. Если приходил сон, он нес с собой кошмары. Люди часто видели сны о том, что сквозь атомную перегородку внутрь корабля проникли ядовитые газы или что ученые открыли, будто «Гея» вообще не движется, а висит в бездне. От этих кошмаров нельзя было избавиться даже при пробуждении.

Наяву человек сталкивался с еще худшим: с беспредельной тишиной. Она заполняла каждый уголок корабля; она вклинивалась между словами беседы, обрывала мысль и за малую долю секунды разъединяла людей. Мы вели с ней борьбу: из лабораторий и мастерских убрали все звукопоглощающие устройства, и грохот машин стал слышен по всему кораблю, но в его однообразии как бы таилась злая насмешка над нашими усилиями, и мы тем яснее ощущали бесплодность этих попыток, что однообразный шум был лишь тонкой, как бумага, ширмой, прикрывающей черную тишину. На смотровых палубах никто не бывал: звезды были повсюду, горящими точками они возникали в мозгу у каждого, лишь только человек закрывал глаза.

Однажды между членами экипажа распространилась составленная неизвестно кем петиция, адресованная совету астронавигаторов. В ней содержалось требование ускорить движение «Геи» еще на семь тысяч километров в секунду, поскольку, как говорилось в петиции, «эта скорость меньше критической на три тысячи километров, что вполне достаточно для обеспечения здоровья экипажа, а в то же время такое ускорение значительно сократит срок путешествия».

Вопрос этот взволновал всех, тем более что под петицией, прежде чем она попала в совет астронавигаторов, подписались несколько десятков человек. Ближайшее собрание астронавигаторов было посвящено проблеме ускорения хода ракеты; на это собрание явился и Гообар. Мнения на совете разделились главным образом потому, что влияние близкой к световому порогу скорости на человеческий организм еще не было изучено. Амета, Зорин и Уль Вефа утверждали, что скорость в сто восемьдесят пять тысяч километров в секунду, с которой они водили ракеты во время испытания, не причиняла им ни малей-

шего вреда, но их экспериментальные полеты продолжались лишь по нескольку часов. Встал вопрос: не вызовет ли дополнительное ускорение каких-либо последствий, накапливающихся в организме и проявляющихся лишь через длительное время? В конце заседания выступил Гообар.

— Для нашего теперешнего положения характерно, — сказал он, — что мы детально рассматриваем проблему ускорения хода, совершенно не останавливаясь на мотивах, побудивших часть экипажа выдвинуть это требование и поставить его перед специалистами, на которых лежит ответственность за скорость полета. Мои исследования дают мне возможность предположить, что скорость, близкая к световому порогу, воздействует на чувства человека раньше, чем нарушится нормальная деятельность человеческой психики в целом. Несмотря на это, я все же считаю возможным увеличить скорость «Геи» главным образом потому, что экипаж ожидает от нас конкретных действий. Это будет довольно рискованный эксперимент, но, даже если нарушится психическое равновесие членов экипажа, мы вернемся к меньшей скорости и без труда ликвидируем этот процесс.

Большинством в два голоса совет постановил увеличить скорость «Геи». Учитывая большой риск, это ускорение должно было растянуться на пятьдесят дней. И уже на следующий день мы вновь услышали предостерегающий свист сигналов; с тех пор этот свист стал повторяться ежедневно.

Не знаю, как случилось, но именно в эти дни я зашел во время прогулки на нижнюю палубу нулевого яруса. Завершаясь дугообразной перемычкой, коридор здесь соединяется с другим. В этом месте в боковой стене виден огромный люк, закрытый бронированной плитой. Это аварийный выходной люк: именно через него была втянута внутрь «Геи» ракета Петра с Ганимеда. Круглая выпуклая крышка прижата к плите системой тупоконечных стальных рычагов. Их могут привести в движение четыре автомата, стоящих по обеим сторонам выхода. Каждый автомат обслуживает два рычага.

Я невольно остановился в конце коридора против люка; тут царила тишина, не нарушаемая ни малейшим шумом, — от лабораторий это место отделяли шесть ярусов.

Вдруг у меня в голове мелькнула безумная мысль: за этой дверью свобода. Я положил руку на холодный металл и долго стоял так. Потом, успокоившись, огляделся, не видит ли кто-нибудь моего безрассудного поступка, потихоньку вернулся в коридор и торопливо ушел.

Через несколько дней, возвращаясь от Тер-Хаара, я шел, как это иногда со мной бывает, глубоко задумавшись и не обращая внимания на окружающее. Вдруг я с удивлением обнаружил, что вновь нахожусь в том месте, где сходятся оба коридора. В глубине ниши стоял кто-то. Это были два техника. Увидев меня, они разошлись в разные стороны, не сказав ни слова. Я долго думал: выполняли ли они здесь какую-то работу или же их, как и меня, привело сюда то же бессмысленное влечение? Я хотел было рассказать об этом Ирьоле, но раздумал.

Вечером я дежурил в амбулатории. После того как вновь были включены двигатели, количество пациентов стало расти. Многие жалобы я знал так хорошо, что мог сам продолжить их, едва пациент начинал говорить. Так, например, люди жаловались на то, что их тянет смотреть на блестящие предметы: это сильно изматывало больных.

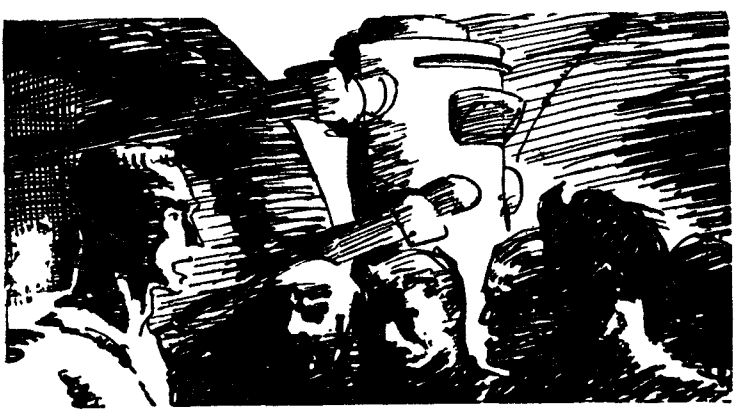
Ночью меня мучил кошмар. Мне снилось, что я стою в абсолютной тьме у люка. Я чувствовал, что от него тянет пронизывающим холодом пространства. Невыразимо медленно крышка выходного отверстия начала поддаваться под нажимом моих рук. Я проснулся с болью в сердце и уже не мог уснуть до утра.

Первую половину следующего дня я провел в компании трех пилотов: Ериоги, Аметы и Зорина. Мы ходили по всему кораблю, беседуя и даже смеясь. Однако гнетущее воспоминание о сне не проходило. После обеда я пошел к Руделику. Он довольно давно работал над какой-то проблемой и нигде не показывался. Я застал его сидящим со скрещенными ногами на письменном столе; одним пальцем он выстукивал что-то на счетном автомате. Мне следовало бы уйти, однако я, попросив его продолжать работу, остался. Мне хотелось молча посидеть у него.

Он охотно согласился. Я сел рядом и целый час смотрел, как забавно проявляются у него умственные усилия. Он грыз эбонитовую контактную палочку, мор-

щился; вдруг лицо его прояснилось, он посмотрел вокруг с таким изумлением, словно перед его глазами разыгрывались самые удивительные сцены, потом что-то проворчал, соскочил с письменного стола и стал ходить из угла в угол, прищелкивая пальцами. Наконец он подошел к аппарату, записал несколько фраз и, улыбаясь, обернулся ко мне.

— Дело понемногу продвигается, черт возьми! — ска-



зал он и добавил: — Это Гообар подсунул мне такой орешек.

— Ты что, теперь работаешь с ним?

— Похоже на то. Мне понадобилось создать новый аналитический аппарат — в смысле системы, а не машины. В поисках его я раскопал такое математическое болото, что хоть плачь. Это проблема, к которой можно приступить с двух или даже с двадцати сторон сразу, как тебе угодно, неизвестно лишь, какая из них ведет к цели.

Руделик загорелся и начал рассказывать подробности. Я не прерывал его, хотя усваивал лишь с пятого на десятое. Насколько я понял, его преследовало ощущение, что появляющаяся в уравнениях бесконечность может уничтожить весь их физический смысл. Эта бесконечность была вначале очень послушна и позволяла перебрасывать себя с места на место; он попытался поймать

ее в ловушку, рассчитывая, что, если она попадется на его уловку и появится одновременно в обеих частях уравнения, он сумеет устранить ее путем сокращения. Однако упрощение из послушного приема превращалось в лавину, сметающую все на своем пути, кропотливое преодоление математических дебрей давало в итоге 0 = 0. Это был безусловно правильный результат, но для радости он оставлял мало повода.

— Ты ходил с этим делом к Тембхаре? — спросил я, когда он наконец умолк, взъерошив волосы.

— Ходил.

— А что он сказал?

— Сказал, что на «Гее» нет электромозга, который справился бы с этой задачей. Эта проблема, как видишь, очень специальная. Нужный мозг можно было бы построить, но не здесь: он по размерам может быть равен самой «Гее».

— Что-нибудь похожее на гиромат?

— В этом роде. Но такой гиромат работал бы кое-как, наугад, как слепой, и выполнил бы задачу в должное время только потому, что производит двенадцать миллионов операций в секунду. Нет, это все чепуха. Подумай только: решать задачу вслепую! Я всегда говорил, что эти электрические мозги ползают — хотя и с молниеносной быстротой, а человеческая мысль летает. Специалисты по кибернетике вообще не ощущают стиля работы математиков; им все равно, как автомат решает, лишь бы решил... Если бы удалось открыть необходимую метасистему... Постой, черт возьми!

Он подскочил к аппарату и вновь начал что-то быстро выстукивать на нем. Потом заглянул на экран, крякнул, причесал пальцами растрепанные волосы и дотронулся до выключателя. Вернулся он с таким разочарованием на лице, что я ни о чем не стал спрашивать. Он уселся на ручку кресла и начал насвистывать.

— Зачем тебе нужно решать эту проблему? — спросил я.

— Ах, это связано с изменением живой материи, движущейся в переменном гравитационном поле.

— А ты советуешься с Гообаром?

— Нет, — сказал он так энергично, словно хотел прекратить всякую дискуссию на эту тему.

Минуту спустя он добавил:

— Я даже избегаю его. Знаешь, я чувствую себя похожим на муравья, который бегает по поверхности огромного предмета и стремится понять, как он выглядит в целом. Я не могу охватить своим сознанием сразу больше, чем какую-то мелкую долю проблемы. А Гообар? Что ж, может быть, он и сумел бы охватить ее целиком, но прежде он должен был бы приступить к ее решению с той же стороны, с какой приступил и я, и пройти весь путь, который я уже прошел. Стало быть, он смог бы не помочь мне, а лишь решить проблему за меня. Но, если мы станем отдавать Гообару каждую проблему только потому, что он разрешит ее быстрее, мы недалеко уйдем! Впрочем, он и так завален работой.

Руделик вздохнул:

— Когда я впервые встретился с ним, то уже через пять минут понял, что он не партнер, не равная мне сторона в беседе; его мысль накрывает меня, как стеклянный колокол муху, вмещает в себя все мои аргументы, утверждения, гипотезы, и попытка выбраться из сферы его ума столь же напрасна, как желание пешехода выйти за пределы окружающего его небосвода.

— И это говоришь ты, такой замечательный математик? — удивленно спросил я.

— Если я хороший, то он гениальный математик, а от одного до другого куда как далеко! Впрочем, и он в одиночку не справился бы, потому что даже гений может думать в данный момент только о чем-нибудь одном, и ему, таким образом, пришлось бы жить тысячи полторы лет... Да, без нас он ничего не сделал бы, это я могу сказать спокойно.

Я не удержался, чтобы не задать ему вопрос, интересовавший меня уже давно:

— Скажи мне, только не смейся, как ты представляешь себе уравнения, которые ты мысленно преобразуешь? Видишь ли ты их как-нибудь?

— Что значит — видишь?

— Ну, представляешь ли их себе, скажем, маленькими черными существами?

Он сделал изумленные глаза.

— Какими существами?

— Предположим, что математическое выражение, на-

писанное на бумаге, в конечном счете... немного похоже на ряд черных зверьков... — сказал я неуверенно.

Он расхохотался:

— Маленькие черные зверьки? Это великолепно! Вот никогда бы об этом не подумал!

— А как же все-таки это происходит? — настаивал я.

Он остановился.

— Возьмем какое-нибудь понятие, ну, скажем, «стол». Разве ты представляешь себе его в виде четырех букв?

— Нет, я представляю себе просто стол.

— Ну вот. Так же и я представляю себе свои уравнения.

— Но ведь столы существуют, а твоих уравнений нет... — попытался возразить я и замер, увидев его взгляд.

— Их нет?.. — сказал он таким тоном, как будто говорил мне: «Опомнись!»

— Ну хорошо, если ты не представляешь их себе в виде ряда цифровых выражений, как же иначе ты их видишь? — не сдавался я.

— Поставим вопрос иначе, — сказал он. — Когда ты сидишь впотьмах, ты знаешь, где у тебя руки и ноги?

— Конечно, знаю.

— А чтобы знать это, нужно ли тебе представлять их положение, воссоздавать в памяти их вид?

— Вовсе нет, я их просто ощущаю.

— Вот так же и я ощущаю уравнения, — сказал он с удовлетворением.

Я ушел от него с твердым убеждением, что в область математики, в которой он живет, мне, наверное, никогда не удастся проникнуть. Но вот удивительно: Руделик помог мне не думать о моем сне. Руделик помог мне, а ни Амета, ни Зорин не могли этого сделать. Почему?

Я неясно понимал, что пилоты спокойны только потому, что подавляют те же тревоги, которые терзают и меня. А Руделик, поглощенный работой, вообще никаких тревог не испытывает. Как же я завидовал ему, погруженному в свои математические заботы!

В это время в глубине коридора появился какой-то человек. Он прошел мимо меня и исчез за углом. Скоро умолк звук его шагов; в коридоре слышалось лишь пение детей, доносившееся из парка. Они пели «Кукушку».

Я хотел вернуться мыслями к Руделику, но что-то мешало мне. Что мог искать там, в этом тупике, человек, который прошел мимо меня? Я несколько мгновений прислушивался: всюду было тихо. Затем я пошел к повороту. Там, в полумраке у стальной стены, прижавшись лбом к металлу, стоял человек. Подойдя ближе, я узнал его: это был Диоклес. В тишине отчетливо доносилось отдаленное пение «Кукушки».

— Что ты тут делаешь?

Он даже не вздрогнул. Я положил руку ему на плечо. Он словно окаменел. Охваченный внезапной тревогой, я схватил его за плечи и попытался оторвать от стены. Он стал сопротивляться. Вдруг я увидел его лицо, лишенное выражения и спокойное. У меня опустились руки.

— Диоклес!

Он молчал.

— Ради бога, Диоклес, ответь: что с тобой? Может быть, тебе что-нибудь нужно?

— Уйди.

Я внезапно понял, что этот конец коридора — самый последний на корме. Он обращен к Полярной звезде и, значит, ближе всего к Земле. Ближе на несколько десятков метров: что это значило по сравнению со световыми годами, отделявшими нас от нее! Я рассмеялся бы, если бы мне не хотелось плакать.

— Диоклес! — попытался я еще раз увести его.

— Нет!

Этот возглас не был простым отказом от помощи; он относился не только ко мне, но и ко всему кораблю, к каждому члену экипажа, он был брошен в лицо всему существующему. Мной овладело ощущение ночного кошмара. Я повернулся и пошел прочь по длинному коридору все быстрее, почти убегая. А за мной гналась «Кукушка» — детская песенка.

Об этом событии я не решился рассказать никому.

После обеда я отправился — на этот раз уже намеренно — на нулевой ярус. Мое подозрение подтвердилось: там, где сходятся коридоры, я застал пять или шесть человек. Они всматривались в глубь люка, как бы загипнотизированные матовым отблеском броневого щита. При звуке моих шагов (я нарочно старался ступать громче) они медленно разошлись в разные стороны. Это

показалось мне очень странным; я отправился к Тер-Хаару и рассказал ему обо всем. Он долго молчал, не желая сразу высказывать свое мнение, но под моим нажимом — а я не без основания считал, что он может сказать что-нибудь по этому вопросу, — ответил:

— Это трудно определить; у нас нет слов для обозначения таких явлений. В древности эту группу назвали бы «толпой».

— Толпой, — повторил я. — В этом есть что-нибудь общее с так называемой армией?

— Нет, ничего общего: армия — это понятие, скорее противоположное толпе; она была формой известной организации, в то время как толпа представляет собой неорганизованное скопище большого количества людей.

— Позволь, но там было всего лишь...

— Это ничего не значит. Раньше, доктор, люди не были такими разумными, как теперь. Когда они подчинялись внезапным импульсам, они переставали руководствоваться разумом. Наши современники обладают таким высокоразвитым чувством ответственности за собственные поступки, что никогда не подчинятся ничьей воле без внутреннего согласия, вытекающего из понимания обстановки. Раньше же, в необычных, опасных для жизни обстоятельствах, например во время стихийного бедствия, охваченная паникой толпа была способна даже на преступление...

— Что значит — «преступление»? — спросил я.

Тер-Хаар потер лоб, улыбнулся как бы нехотя и сказал:

— Ах, по сути дела это все, вероятно, лишь мои непродуманные гипотезы... пожалуй, я ошибаюсь: у нас слишком мало фактов, чтобы выводить из них теорию. Впрочем, ты же знаешь, что я немного помешан на истории и стремлюсь подходить ко всему с ее меркой.

На этом наша беседа прервалась. Вернувшись к себе, я хотел продумать то, о чем рассказал мне Тер-Хаар. Я решил связаться с трионовой библиотекой и прочитать какое-нибудь историческое исследование о толпе, но не сумел разъяснить автоматам, что мне нужно, поэтому мое намерение осталось невыполненным.

Прошел день, затем другой. Ничего особенного не случилось. Мы решили, что кризис, вызванный ускоре-

нием, миновал; однако события, которые произошли в дальнейшем, показали, как глубоко мы заблуждались.

На другой день в полдень ко мне ворвался Нильс; уже с порога он закричал:

— Доктор! Нечто необычайное! Пойдем скорей со мной!

— Что случилось?

Я подбежал к столику, на котором всегда лежал чемоданчик с инструментами и медикаментами.

— Нет, не то, — сказал юноша уже спокойнее. — Кто-то выключил видео в парке; скажу тебе — это отвратительное зрелище! Там уже собралось много народу, идем!

Я пошел, вернее побежал за ним: своим возбуждением он заразил и меня.

Мы спустились вниз. Пройдя сквозь завесу из вьющихся растений, я остановился как вкопанный.

На первом плане ничего не изменилось: за цветочными клумбами вздымала свою черную гриву канадская ель, дальше виднелись скалы над ручьем и глинистый холмик с беседкой, но на этом все кончалось. Несколько десятков метров камня, земли и растений упирались в голую металлическую стену, уже не прикрытую миражем безграничных просторов. Неподвижно, словно неживые, стояли деревья, освещенные мутно-желтым светом электроламп, дальше — железные стены и плоский потолок. Голубое небо исчезло без следа, воздух был нагрет и неподвижен, как мертвый, ни малейшее дыхание ветерка не касалось ветвей.

Посреди сада собралось несколько десятков человек, всматривавшихся в эти ужасные по своей выразительности обломки миража. Разрывая завесу плюща, вбежал Ирьола, рассерженный, со сжатыми губами, за ним бежали несколько видеопластиков. Они поднялись наверх. Мгновение спустя воцарился полный мрак: видеопластики выключили свет, чтобы вновь пустить в ход свою аппаратуру. И тогда случилось самое худшее: во мраке раздался крик:

— Долой этот обман! Пусть все останется как есть! Будем смотреть на железные стены, довольно этой вечной лжи!

Последовала минута глухого молчания — и вдруг за-

сверкало солнце, над головами появилось голубое небо, по которому плыли белые облака. Благоухающий, прохладный ветерок коснулся наших лиц, а маленький кусочек земли, на котором мы стояли, расширился во все стороны и зазеленел до самого горизонта. Люди вопросительно смотрели друг на друга, как бы стараясь найти того, кто кричал во мраке, но никто не осмелился сказать ни слова. Хотя небо и краски сада были воскрешены, мы в молчании поодиночке уходили отсюда.

Теперь было уже совершенно ясно: что-то должно случиться. Однако предпринять что-нибудь заранее было невозможно, поскольку опасность лишь висела в воздухе и никто не знал, против чего следовало бороться. Было внесено предложение выключить двигатели (из запланированного ускорения в семь тысяч километров в секунду мы пока достигли лишь двух тысяч восьмисот), но астронавигаторы решили, что это значило бы отступить перед неизвестностью.

— Пусть произойдет самое худшее, — сказал Тер-Акониан, как бы отвечая на слова, сказанные Трегубом два года назад, — пусть оно произойдет, тогда мы будем бороться, иначе мы находились бы в постоянном неведении. Лучше знать самое плохое.

Прошло пять дней напряженного, молчаливого ожидания. Однако ничего не происходило. Двигатели, в том числе два запасных, продолжали ускорять движение ракеты, все группы работали нормально, состоялся концерт, и я начал убеждать себя в том, что врачи и астронавигаторы, как и все другие, испытывая на себе вредное влияние путешествия, раздувают пустяки и пасуют перед мнимыми опасностями.

На шестой день после событий в саду у нас в больнице были тяжелые роды. Жизнь новорожденного висела на волоске, и два часа я не отходил от его кроватки, у которой работал пульсатор, подающий кислород для дыхания. Это занятие так поглотило меня, что я совсем забыл о недавних событиях. Но, когда, утомленный до предела, я мыл руки в умывальнике, отгороженном фаянсовой перегородкой, в зеркале я увидел свое лицо с лихорадочно блестевшими глазами и почувствовал непонятную тревогу. Я попросил Анну остаться при роженице и, сбросив запачканный кровью больничный халат, выбе-

жал из зала. Лифт спустил меня на нулевой ярус. Увидев освещенный лампами пустой коридор, я облегченно вздохнул.

«Глупец, — сказал я себе, — ты позволяешь каким-то призракам преследовать себя!» — но тем не менее продолжал идти дальше. У поворота я услышал голоса; их звук, как хлыстом, подстегнул меня. В несколько прыжков я подбежал к полукруглому преддверию люка.

Там, тесно сбившись, стояла спиной ко мне толпа людей. Она напирала на человека, преграждавшего ей путь. Кругом царило полное молчание, лишь раздавалось тяжелое дыхание, как при борьбе. В одном из стоявших ко мне ближе всех я узнал Диоклеса.

— Что тут происходит? — с трудом спросил я.

Никто мне не ответил. Кто-то из толпы посмотрел на меня, — его глаза показались мне совсем белыми. Потом послышался сдавленный, охваченный внутренней дрожью голос:

— Хотим выйти!

— Там пустота! — воскликнул человек, стоявший лицом к толпе.

Я узнал его: это был Ирьола.

— Пусти нас! — закричало несколько голосов сразу.

— Безумцы! — воскликнул Ирьола. — Там смерть! Слышите! Смерть!

— Там свобода! — отозвался эхом кто-то из толпы.

А Диоклес — это был он — крикнул:

— Ты не имеешь права останавливать нас!

Ирьолу толкнули, он отступил в глубь люка. На фоне освещенной плиты резко выделялся его темный силуэт. Он кричал, и его голос, искажаемый эхом, гремел:

— Опомнитесь, что вы делаете?

В ответ слышалось лишь сдавленное дыхание. Ирьола раскинул руки, тщетно пытаясь закрыть путь к выходу. Толпа все напирала. Инженер уже касался спиной стальной плиты, отливавшей металлическим блеском.

— Стойте! — крикнул в отчаянии Ирьола.

Несколько рук потянулись к залитой светом нише, где находился механизм замков. Ирьола рванулся, оттолкнул напиравших, наклонился и, выхватив из-за пояса маленький черный аппарат, отчаянно крикнул:

— Блокирую автоматы!

КОММУНИСТЫ

Кто из нас замечает автоматы? Кто отдает себе отчет в их существовании, вездесущем и необходимом, как воздух для легких и опора под ногами? Когда-то давно людей тревожила мысль, что автоматы могут восстать против человека; сегодня такое мнение могло бы показаться лишь кошмаром умалишенного.

Можем ли мы создавать автоматы для целей истребления? Конечно, но с таким же успехом мы можем разрушать собственные города, вызывать землетрясения, прививать себе болезни. Каждое творение человека может быть использовано для его гибели; так было когда-то, в эпоху варварских цивилизаций. Однако мы живем не для того, чтобы уничтожать, а для того, чтобы развивать и поддерживать жизнь, и этой единственной цели служат наши автоматы.

При подготовке первой межзвездной экспедиции перед учеными встала исключительно трудная проблема. Огромная скорость корабля могла тяжело отразиться на нормальной работе человеческого рассудка. У более слабых, неспособных противостоять этому вредному влиянию, могли возникнуть психические расстройства и тогда они стали бы отдавать автоматам неправильные или даже пагубные приказы. Подобную возможность нужно было исключить. Для этой цели была создана специальная система устройств, которые могли заблокировать все автоматы «Геи». Ею заведовали руководители экспедиции, вполне сознававшие огромную ответственность, которая была на них возложена.

К этому средству они могли прибегнуть лишь в исключительных случаях, когда никаким другим способом нельзя было овладеть положением. Это было очень опасно: автоматы всегда были покорны человеку. Поэтому толпа у люка замерла, услышав страшные слова Ирьолы, и несколько десятков секунд стояла в оцепенении, освещаемая желтым светом ламп. Вдруг тишину нарушил свист: в раскрытых дверях подошедшего лифта стоял Тер-Хаар.

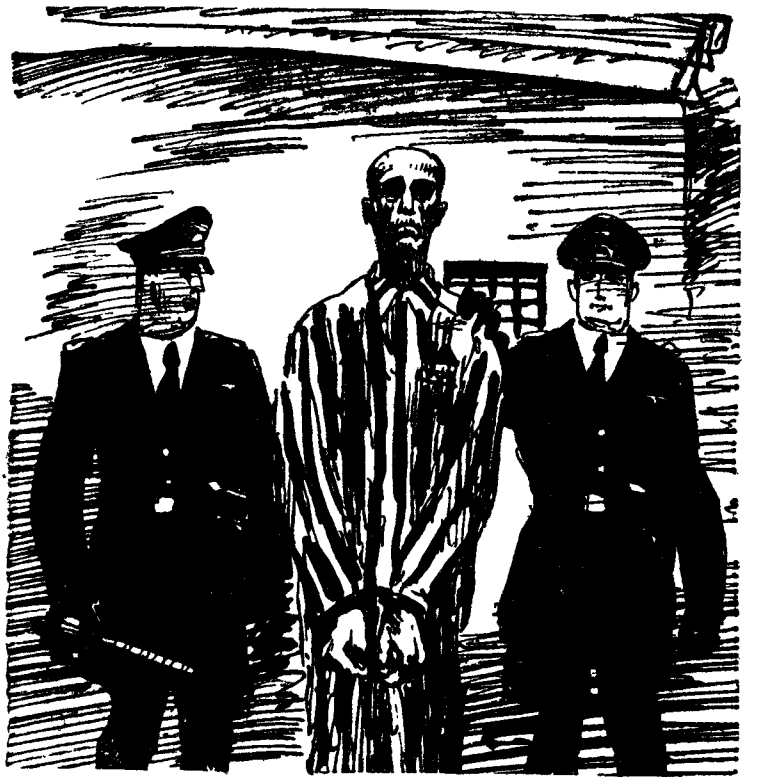
Ссутулившись, он двинулся через онемевшую толпу, словно шел сквозь пустое пространство. Те, в кого он упирался взглядом, уступали ему дорогу, но за его спиной

толпа смыкалась вновь. Тер-Хаар подошел к нише и стал на пороге двери. Его фигура возвышалась над всеми. Он заговорил почти шепотом, но кругом стояла такая тишина, словно все перестали дышать. Глаза всех были обращены на темную фигуру, окаймленную падающим на нее сзади желтым светом. Голос его медленно нарастал и гулко разносился в пустом пространстве:

— Вы собираетесь погибнуть. Прошу вас, уделите мне десять минут вашей жизни. Потом мы — я и он — отойдем, и вы сделаете то, что хотите. Никто не осмелится помешать вам. Даю вам в этом слово.

Он помолчал несколько мгновений.

— Почти тысяча двести лет назад в городе Берлине жил человек, по имени Мартин. Это было то время, когда его государство провозгласило, что более слабые народы должны быть истреблены или обращены в рабов. Мартин был рабочим стеклозавода. Он был одним из многих и делал то, что делают теперь машины: своими легкими выдувал раскаленное стекло. Но это был человек, а не машина, у него были родители, брат, любимая девушка. Он понимал, что отвечает за всех людей на земле, за судьбу тех, кого убивают, и тех, кто убивает, за близких и далеких. Мартин был коммунистом. Государство преследовало и убивало коммунистов, поэтому они должны были скрываться. Тайной страже, которую называли «гестапо», удалось схватить его. Мартин был членом организационного бюро партии и знал фамилии и адреса многих товарищей. От него потребовали, чтобы он выдал их. Он молчал. Его подвергли истязаниям. Он много раз обливался кровью. Его вновь приводили в чувство. Он молчал. С переломанными ребрами и внутренностями, отбитыми ударами палок, он был положен в госпиталь. Его стали лечить, вернули ему силы и вновь стали бить его, но он продолжал молчать. Его допрашивали ночью и днем, будили ярким светом, задавали коварные вопросы. Все было напрасно. Тогда его освободили, чтобы, идя по его следам, схватить других коммунистов. Он понимал это и безвыходно сидел дома. Когда у него не стало пищи, он решил вернуться на завод. Но там для него не нашлось работы. Он искал ее в других местах, но его никуда не принимали. Голодный, исхуда-



лый, он бродил по городу, но не зашел ни к кому из товарищей: он знал, что за ним следят.

Его еще раз арестовали и применили новый метод. Мартину дали отдельную чистую комнату, хорошо кормили его и лечили. Выезжая для проведения арестов, гестаповцы брали его с собой; создавалось впечатление, что это он привел их. Его заставляли присутствовать при истязаниях, которым подвергались арестованные товарищи, ставили у дверей камеры, куда приводили измученных заключенных. Им говорили, чтобы они признались, потому что за дверями стоит их товарищ, который уже все рассказал. Когда он кричал тем, кого проводили мимо него, что находится в таком же положении, как и они,

гестаповцы делали вид, что это один из моментов сознательно разыгрываемой комедии.

В этот период членов коммунистической партии истребляли, работа ее непрерывно нарушалась, и надо было избегать каждого, кого коснулось подозрение в измене. Листовки коммунистов начали предостерегать от связи с Мартином. Гестаповцы показывали их ему. Потом, ни о чем не спрашивая, его выпустили на свободу. Несколько месяцев спустя Мартин попытался осторожно установить связи с товарищами, но никто не хотел сближаться с ним. Тогда он пошел к брату, но тот не впустил его к себе. Беседа состоялась через закрытые двери. Родители также отказались от него. Мать дала ему хлеба и больше ничего. Он вновь попытался найти работу, но безуспешно.

Его арестовали в третий раз, и высокий сановник гестапо сказал ему: «Послушай, твое молчание уже бессмысленно. Товарищи давно считают тебя подлецом и изменником. Ни один из них не хочет знать о тебе. При первом же случае они убьют тебя, как бешеную собаку. Сжалься над собой, скажи».

Однако Мартин молчал. Тогда его еще раз освободили, и он ходил голодный по городу. Какой-то незнакомый человек, встреченный им однажды вечером, привел его к себе на квартиру, дал поесть, напоил водкой, потом ласково объяснил ему, что теперь уже все равно, будет ли он говорить или нет: если он не скажет, то будет убит, однако смерть ему уже не поможет, он все равно погибнет с клеймом предателя. Но Мартин молчал. Этот незнакомый человек отвел его в тюрьму.

В одну январскую ночь, через два года после ареста, его вывели из камеры и в каменном подвале пустили пулю в затылок. Перед смертью, услышав шаги тех, кто шел убивать его, он встал и на стене камеры нацарапал слова: «Товарищи, я...» Больше он не успел написать ничего, кроме этих двух слов, которыми он прервал свое долголетнее молчание; его тело сгорело в одной из огромных известковых ям.

Остались лишь документы гестапо, которые во время начавшейся позднее войны были запрятаны в подземелье в одной из тюрем. Из этих документов периода позднего империализма мы, историки, почерпнули кое-

что. В частности, мы прочитали в них историю немецкого коммуниста Мартина.

Этого человека мучили, избивали — он молчал. Молчал, когда от него отвернулись родители, брат и товарищи. Молчал, когда уже никто, кроме гестаповцев, не разговаривал с ним. Были разорваны узы, связывавшие человека с миром, но он продолжал молчать. Чем мы заплатим за это молчание? — Тер-Хаар поднял руку. — Мы, живые, донесли до самого отдаленного будущего огромный долг, долг по отношению к тысячам тех, кто погиб подобно Мартину, но чьи имена останутся нам неизвестны. Он умирал, зная, что никакой лучший мир не вознаградит его за муки и его жизнь окончится навсегда в известковой яме, что не будет ни воскресения, ни возмездия. Но его смерть и молчание, на которое он сам себя обрек, ускорили приход коммунизма, может быть, на минуту, а может быть, на дни или недели — все равно! Мы находимся на пути к звездам потому, что он умер ради этого. Мы живем при коммунизме. Но где же среди вас коммунисты?..

Этот возглас гнева и боли сменился короткой, страшной тишиной. Потом историк продолжал:

— Это все, что я хотел вам сказать. Теперь отойди, инженер, а они откроют выход и, выброшенные давлением воздуха, вылетят в пустоту, лопнут, как кровавые пузыри, и останки тех, кто, струсив, не выдержал жизни, будут вечно кружить в пространстве.

Он спустился вниз и вышел из круга расступившихся перед ним людей. Некоторое время были слышны его шаги, потом загудел лифт. А люди продолжали стоять неподвижно; кто-то провел рукой по лицу, как бы отодвигая тяжелую, холодную завесу, другой кашлянул, третий застонал или зарыдал, и все медленно, с опущенными головами двинулись в разные стороны. Наконец остались лишь трое: Ирьола, который стоял у порога с блокирующим аппаратом в руках, Зорин, скрестивший на груди руки, и я. Мы стояли долго.

Над нашими головами раздался протяжный, глухой свист: «Гея» увеличивала скорость...

ГООБАР, ОДИН ИЗ НАС

Каждого из нас, первых людей, летящих к звездам, мучила не высказываемая никогда, глубоко скрытая мысль, что наши труды окажутся напрасными. Мы понимали, что, даже передвигаясь со скоростью, близкой к скорости света, человек сможет достигнуть лишь ближайших звезд.

Поэтому мы приняли вновь в свою среду пытавшихся покинуть нас людей не как изменников, но как спасенных от гибели товарищей, которые тяжелее других перенесли борьбу со слабостью, тлеющей в каждом из нас.

Когда они пришли к первому астронавигатору, требуя, чтобы тот вынес им приговор, Тер-Акониан не хотел один решать вопрос и созвал совет астронавигаторов. Совет тоже заявил, что не будет этого делать: в нашем экипаже ни один человек не располагает властью над другими. Мы составляем коллектив людей, которые как представители Земли добровольно отправились к созвездию Центавра. Тер-Акониан сказал, что они продолжают оставаться равноправными членами экипажа, какими были раньше; что же касается наказания, то они уже понесли его и будут продолжать нести в собственной памяти.

В этой группе было много моих пациентов. Беда случилась с теми, чья нервная система была слабее, чем у других; таким образом, они не были столь виноваты. Когда я сказал это Тер-Хаару, он ответил, что для того чтобы они опомнились, понадобились не лекарства, а слова.

Весть об этом событии с быстротой молнии разнеслась по кораблю. На очередном совещании астронавигаторы предложили ученым познакомить экипаж с переломными моментами истории, когда решалась судьба будущего мира, когда одно поколение вынуждено было принимать решения за десятки последующих. Оно сгибалось под огромной тяжестью этого решения, но тем не менее несло его бремя.

Работники разных лабораторий стали чаще встречаться в художественных коллективах и просто дружеских кружках. Вечерами мы собирались в лаборатории историков, и те читали нам лекции — если можно назвать

лекциями рассказы, подобные тому, каким Тер-Хаар потряс наши сердца.

Мы увидели нескончаемую вереницу людей, восставших против тогдашних порядков во имя будущего человечества. Перед нами возникали их глаза, полные живого доверчивого блеска, дрожь их ресниц, их подвижные руки, страстные уста, шепот и вздохи влюбленных, последние жадные взгляды обреченных, бессонные ночи, проведенные в раздумье, подвиги, требовавшие огромного мужества. Мы приобретали знания, непохожие на те сухие обобщения, которые мы вынесли из школы, как не похоже на любовь знакомство с биологическим предназначением полов.

Так хор давно умолкших голосов объяснял нам смысл своего и нашего существования.

Несколько недель спустя, когда корабль уже достиг повышенной скорости, а вечерние сигналы замолкли на несколько лет, среди экипажа распространилось известие, что Гообар, издавна работавший над проблемой межзвездных путешествий, находится на пороге какого-то выдающегося открытия. Неизвестно, кто первый сказал об этом. Весть распространялась в различных, но всегда туманных версиях, главным образом среди неспециалистов. Может быть, эта весть была порождена тем фактом, что для работы в биофизических лабораториях за последние месяцы были привлечены самые лучшие физики, математики и химики «Геи». Однако товарищи Гообара опровергали слухи о каком-то открытии: им нельзя было не верить — у них не было никаких оснований скрывать правду.

Сам Гообар хранил молчание; трудно было сказать, доходили ли до него упорно распространяемые слухи или, будучи поглощен своей работой, он не обращал на них внимания.

Как-то весенним вечером я выбрался на концерт. Верхний свет в зале был уже погашен. Я сел на свободное место в последнем ряду. Исполнялась Вторая симфония Крескаты. Рядом со мной сидели Руис и Гообар. С того времени, когда я видел ученого в последний раз, он постарел; у него было бледное, осунувшееся лицо человека, постоянно находящегося без воздуха; веки были покрыты густой сеткой кровеносных сосудов. Он

слушал музыку с закрытыми глазами. Казалось, он уснул.

Музыка отзвучала. Втроем мы вышли из зала. Я решил попрощаться с композитором и ученым у портала, но пошел с ними дальше. Мы не говорили друг другу ни слова. У ворот, раскрытых в сад, Гообар остановился. Во мраке слышался мягкий шорох листьев, колеблемых ветром.

— Вот и ты, Руис, перестал приходить ко мне... — сказал Гообар.

— Я не хотел тебе мешать, — тихо ответил композитор.

— Да, да... Я знаю...

Гообар умолк, как бы прислушиваясь к ветру.

— Однажды на лекции — это было еще на Земле — я попросил студентов прийти ко мне. Без всякого официального повода, так просто, погулять по саду, побеседовать. Я, конечно, не думал, что придут все, но ожидал довольно большую группу. Мы с женой сидели до поздней ночи, ожидая гостей. Не пришел никто. Позднее я спрашивал, почему они не пришли. Оказывается, каждый из приглашенных подумал: будет много народу, мы будем мешать Гообару, кто-то должен остаться. И каждый решил, что остаться должен он...

Беседа велась тихо, словно где-то поблизости находился спящий. Руис ответил не сразу.

— На Земле — другое дело... Я бывал у тебя, может быть, даже слишком часто. Но теперь ты перегружен работой, устал...

— Устал? — удивился Гообар. Помолчав минуту, он вдруг добавил: — Это правда.

И по тому, как он сказал, видно было, что сам он до сих пор не думал об этом.

— Хорошо, что ты пришел на концерт, — продолжал Руис. — Музыка так нужна!

— Но я там спал! — внезапно развеселившись, прервал его Гообар.

Руис умолк, пораженный и обиженный. Гообар объяснил:

— Я очень плохо сплю. Чтобы уснуть, я должен забыть обо всем. Музыка заставляет меня забывать, и я засыпаю...

— Должен забыть? О чем?

Настала тишина. С первых слов этой беседы я почувствовал себя лишним; десять раз я говорил себе, что должен уйти, и ожидал лишь соответствующего момента. Мне показалось что такой момент наступил, но едва я двинулся, как Гообар начал:

— Я девятый год изучаю влияние силы тяжести на жизненные процессы. Я столкнулся с громадной кучей проблем, и каждая из них стоит целой жизни. Я отказался от всех. Ускорение, скорость, приближающаяся к световой, — вот моя тема. Что ждет человека, который подвергается влиянию скорости, превышающей сто девяносто тысяч километров в секунду? «Смерть»,—скажет ученик начальной школы. То же скажу сегодня и я с уверенностью, помноженной на девять лет работы. Вот уже несколько месяцев каждый, с кем я сталкиваюсь, хочет мне задать один и тот же вопрос: что же делать, что же будет дальше? Но он не задает его. Товарищи в лаборатории знают мою работу так же хорошо, как и я, но молчат даже самые близкие, даже Калларла... Что сказать им? Высказать свои предположения, надежды? По какому праву? Авторитет — это ответственность. Так нас учили. Чем больше авторитет, тем больше ответственность. А все ждут. Смотрят и ждут. Они верят в Гообара. А в кого должен верить Гообар?

Он не кричал, даже не повысил голоса, и все же его было слышно, казалось, по всему кораблю. Кругом было пусто. Прямо перед нами тянулась длинная цепочка синих ночных лампочек. Справа в черных провалах открытых настежь дверей шумел невидимый сад.

— И даже теперь, вот в эту минуту, когда я говорю с вами, вы думаете: «Все это так, но каковы все-таки его идеи? На что он рассчитывает? Чего ждет? Каково его мнение?» Разве я не прав?

Мы молчали. Он был прав.

Воцарилась тишина. Гообар поднес часы к глазам и выпрямился.

— Что ж, надо идти начинать.

— Что?

— Новый день.

Он кивнул нам, прошел по коридору и исчез в лифте. Было три часа ночи.

СТАТУЯ АСТРОНАВИГАТОРА

Когда горный поток встречает на своем пути непреодолимые скалы, он начинает заполнять долину. Это длится месяцы и годы. Тонкая ниточка воды сочится неустанно, она не видна среди черных утесов; но вот в один прекрасный день долина превращается в озеро, а поток, переливаясь через его берега, продолжает путь.

Деятельность скульптора Соледад была характерна именно таким невозмутимым, верным себе постоянством, лежащим в основе деятельности природы. Четыре года она работала над произведением, ради которого отправилась с нами в экспедицию. Это была статуя астронавигатора.

Должен признаться, что я неоднократно задавал себе вопрос: почему скульптор выбрал моделью своего произведения Сонгграма? На корабле были такие астронавигаторы, как стальной Тер-Акониан, человек, всегда несколько более далекий от окружающих людей, чем кто-либо другой, Гротриан — старик с головой мыслителя, обрамленной серебряными волосами, или наиболее общительный из них — Пендергаст, высокий, немного сутуловатый, как бы подавленный собственной тяжестью. А Соледад выбрала самого простого из них. Сонгграм, кудрявый веселый человек, любил смеяться — не только в обществе, но и один. Часто, проходя мимо его комнаты, мы слышали доносившиеся оттуда взрывы смеха. Он хохотал над любимой книжкой, над произведениями древних астрономов; его, как он говорил, забавляло не убожество их знаний, а их самоуверенность. Не случайно именно к нему направилась делегация детей с самым серьезным предложением: сделать какую-нибудь катастрофу — «маленькую, но настоящую, потому что без нее очень скучно».

Накануне четвертой годовщины со дня вылета с Земли мы увидели эту скульптуру. Она еще стояла в мастерской. Соледад, одетая в серый запыленный рабочий комбинезон, стянула полотно, которым была окутана скульптура. Астронавигатор был изваян не в тяжелом каменном скафандре, не с поднятой вверх головой, не со взглядом, летевшим к звездам. На простом пьедестале стоял один из нас, чуть-чуть наклонившись, словно собираясь дви-

нуться вперед и силясь что-то вспомнить. У него был такой изгиб губ, что нельзя было решить сразу: улыбаются они или вздрогнули в тревоге. Он сосредоточенно думал о чем-то важном и, казалось, слегка удивлялся тому, что стоит один на гранитном цоколе.

Когда Соледад спросила Сонгграма о своей работе, тот ответил.

— Ты веришь в меня больше, чем я сам...

На выпуклом щите, расположенном перед главным пультом рулевого управления, в течение четырех лет чернели цифры 281,4 и 2,2, означающие галактические координаты нашего курса, выраженные в градусах. Серебристая точка, изображавшая наш корабль на большой звездной карте, дошла до половины пути, но небо попрежнему оставалось неподвижным. Только немногие, самые близкие звезды лениво передвигались на черном фоне. Яркий голубой Сириус догонял далекую красную Бетельгейзе; звезды созвездия Центавра сияли все ярче. Однако никто, кроме астрофизиков, не мог измерить течение времени изменениями, столь незначительными по сравнению с окружавшей нас мертвой бездной. Время, казалось, замедлилось даже внутри корабля, и мы ощущали его течение лишь благодаря новым людям, появлявшимся среди нас.

Четырехлетний сын Тембхары (он родился уже на корабле) как-то за игрой спросил меня:

— Дядя, а как выглядят настоящие люди?

— Что ты говоришь, мальчик! — удивился я. — Какие настоящие люди?

— Те, которые живут на Земле.

— Так ведь мы жили на Земле, — возразил я со скрытым волнением. — Твой отец, твоя мама, все мы... ты сам все это увидишь, когда мы вернемся. Впрочем, ты ведь смотришь разные повести из жизни на Земле и знаешь, что там люди как две капли воды похожи на нас.

— Э, — возразил мальчик, — все это неправда, это только видео...

Дети постарше напоминали нам о своем существовании иногда более ощутимо: детский парк становился для них слишком тесен, и, расширяя территорию своих игр,

они устраивали на палубах и в коридорах «Геи» состязания в беге, наполняя шумом целые ярусы корабля.

Время шло. Мальчики становились мужчинами, девочки — женщинами. В лабораториях появлялись новые молодые лица. Перемены не ограничивались изменениями научных и художественных коллективов. Молодые люди заходили к нам поделиться дружескими признаниями, попросить совета или помощи. Знакомства нередко превращались в дружбу. Это было и радостно и грустно. Радостно потому, что юность тянется лишь к тем, кто сам создал ценности, достойные подражания. Грустно потому, что первый такой гость приносит весть о конце твоей собственной молодости.

Нильс Ирьола бывал у меня часто. Этот высокий, худой юноша был очень талантлив, но его таланты были так перемешаны с полудетскими странностями, что автоматы, вынужденные отделять чистый металл от шлака, изнемогали от этой работы.

Знакомясь с его математическими работами, взрослые специалисты и бранились и улыбались, потому что даже его чудачества отличались своеобразной прелестью. Он и сын профессора Трегуба, Виктор, который был моложе Нильса на год, составляли неразлучную пару; их можно было найти в самых невероятных местах, увлеченных горячим спором.

Однажды вечером Нильс, в поведении которого за последнее время я заметил перемену, стыдливо признался мне после церемонного вступления, что пишет стихи. Он принес мне некоторые из них; я читал их при нем, и, чувствуя с каким вниманием он следит за моим лицом, старался придать ему безразличное выражение, потому что стихи были очень плохи. Вскоре он появился с большой связкой новых стихов. В этих рифмованных философских трактатах он призывал смерть, мечтал о гибели, как об убежище от страданий. Причину такого мрачного настроения легко было угадать: это была любовь. В стихах он описывал некую незнакомку. Один раз я не мог удержаться:

— Вот тут ты написал «черные, как небо, глаза». Однако небо...

— У нее черные глаза, — возразил он краснея.

— Но небо-то голубое!

Он в изумлении посмотрел на меня и пробормотал:

— Нет, я имел в виду настоящее небо...

Итак, он считал небо Земли, ту светлую голубизну, которую он каждый день видел в саду «Геи», вымыслом: настоящим небом для него было бескрайное черное пространство, окружавшее корабль. А ведь ему в момент отлета было уже четырнадцать лет!

«Кто знает, — подумал я, — как много новых ассоциаций возникает в сознании тех, кто родился на «Гее»!»

В четвертую годовщину вылета с Земли состоялась ежегодная товарищеская встреча экипажа.

В этом году встреча происходила в большом колонном зале. Когда я пришел туда с Тер-Хааром, физики из группы Рилианта и Руделика демонстрировали на световых моделях действие дезинтегратора.

Дезинтегратор излучает заряды энергии; одним его зарядом можно уничтожить астероид средней величины. Вместе с радарным устройством он предохраняет «Гею» от столкновений с космическими телами, поскольку из-за огромной скорости корабль не способен маневрировать и единственным способом избежать катастрофы является распыление встреченного вещества ударами лучистой энергии. Зрелище, подготовленное физиками, было действительно весьма внушительным. Центр зала представлял сцену, на которой было показано распыление на атомы метеорита, пересекающего путь корабля. В зале было темно, модели ракеты и метеорита были освещены бледным фосфорическим светом; когда столкновение казалось неизбежным, из ракеты вылетел острый, как игла, луч и превратил каменный осколок в раскаленную тучу. Вспыхнул свет, любопытные окружили физиков; завязалась горячая дискуссия, в которую скоро вмешались своими пискливыми голосами автоматы-анализаторы. Мы с Тер-Хааром вышли в сад. Возвращаясь, мы заметили в нише против аквариума стоявших у входа в колонный зал Амету, Нильса Ирьолу и палеопсихолога Ахелиса.

— В биологической эволюции, — сказал палеопсихолог, — период в несколько тысяч лет представляет ничтожную величину. Наше тело, наш мозг устроены так же, как у древних, однако для аргонавтов Средиземное море было безграничным пространством, а мы называем расстояние от Земли до Солнца «астрономической едини-

цей». Может быть, после нас появятся звездоплаватели, для которых единицей измерения их путешествий будет килопарсек...

— И все же, разве нельзя сравнить астронавтов с аргонавтами? — сказал Амета, по лицу которого двигались зеленоватые и серебристые тени. — Разумеется, величину мужества нельзя измерять величиной преодолеваемого пространства, это было бы бессмыслицей. Головы древних едва освобождались от тумана магических верований, им казалось, что они слышат поющих сирен, видят призраки, и тем не менее они продолжали плыть дальше...

— Такое сравнение людей разных эпох мне кажется рискованным, — заметил Нильс. — Древние были неуравновешенными, порывистыми людьми, одинаково способными на слезы и на подвиг...

Амета поднял глаза. Напротив, за стеклом аквариума, покачивались рыбы, касавшиеся открытыми ртами стеклянной стены и как бы слушающие разговор.

— Древние были очень простые и очень добрые люди, — сказал пилот, — и я прекрасно понимаю их. Они имели мужество мечтать, а то, что они облекали свои мечты в странные для нас сказочные образы, не имеет значения. Бросать рыбацкие хижины и направляться в неисследованные просторы морей их, по сути дела, заставляло то же самое, что толкает нас к звездам.

— Как можешь ты говорить так? — Нильс встал. — Древние производили открытия бессознательно, в погоне за выдуманными, не существующими целями. Это были рабы мифов.

— Ты несправедлив, — заметил палеопсихолог. — В варварскую эпоху жизнь казалась танцем пылинок в солнечном луче, прерываемым время от времени катаклизмами. Однако человек хотел познать смысл существования — своего и других людей. Стремясь найти его любой ценой, он приходил к логической бессмыслице: создавал в воображении фиктивную вечную жизнь, чтобы придать смысл своей земной жизни.

Увидев, что Нильс его не слушает, психолог замолчал. Юноша смотрел в глубь коридора. Там шла молодая девушка. Нильс, сам того не замечая, вышел из нашего круга. Девушка оглянулась. В коридоре показалась другая фигура: это был Виктор.

Оба — девушка и юноша — миновали нас и скрылись в длинной анфиладе колонн. Нильс остолбенел. Пальцы его руки слегка шевелились, словно он хотел что-то оттолкнуть. Вдруг он вздрогнул, вероятно почувствовав, что на него смотрят много глаз, выпрямился и слишком спокойным, широким шагом двинулся к стеклянной стене. Закусив губы, он как будто всматривался в зеленые блики, в стекла, отражавшиеся в его невидящих глазах. Глядя на этого юношу, я вспомнил, как был очень молод и очень несчастлив в любви, как бродил целую ночь и вернулся под крышу дома лишь утром, вымокший до нитки, выпачканный сосновой смолой. Дом стоял в горах, была непроглядная мгла, моросил дождь. Я уснул. Меня разбудило первое чириканье птицы. С трудом разминая затекшие руки и ноги, я подошел к окну. Было светло. Я широко распахнул раму и стал всматриваться в горизонт, где все ярче разгорался день; тучи вспыхивали, отражая невидимые лучи. Глядя вдаль, я видел огромные, бесконечные ряды дней впереди, подобные неизмеримому богатству, которым я буду осыпан, и чувствовал, как сильно бьется мое сердце: я был так печален и так счастлив...

Дружеская встреча затянулась до поздней ночи. Наконец шум в зале стал стихать, свет начал гаснуть, мы уже почувствовали усталость. Все чаще возникали минуты всеобщего молчания и слышались лишь легкие шаги обслуживающих автоматов. В одну из таких минут кто-то запел старинную песню. Мелодия вначале неуверенно переходила от одного к другому, затем захватила всех. И мне и другим иногда не хватало слов. Мало кто помнил эти древние, еле понятные, странные слова о заклейменных проклятьем людях, которых мучил голод, об их последней борьбе. Когда одни голоса замолкали и песнь падала, словно ее уронили, ее подхватывали другие голоса, она вновь поднималась, ширилась, охватывая всех. Позади меня раздавался мощный бас. Я повернулся и увидел Тер-Акониана. На его лице отражалась мрачная красота породивших его гор, и он, мечтавший, пожалуй, сильнее всех нас о путешествии к звездам и посвятивший ему свою жизнь, стоя пел старый гимн жителей Земли и плакал с закрытыми глазами.

...Через десять дней ночью меня разбудил звонок из больницы: туда поступила роженица. Набросив халат, я заглянул в спальню Анны: ее постель была нетронутой. Вечером она сказала, что должна срочно закончить опыт в лаборатории Шрея и вернется довольно поздно. Я посмотрел на часы: было около трех. Мне стало не по себе. Я решил сказать ей утром несколько горьких слов и отправился в родильное отделение. В полумраке приемной я увидел жену астрофизика Рилианта — Милу Гротриан. У нее были первые роды, и она очень боялась. Я спросил, где ее муж. Оказалось, что он находится в обсерватории, следит за затмением какой-то двойной звезды. Чтобы рассеять ее страх, я стал в шутку жаловаться на нашу общую с ней беду: чрезмерную загруженность наших супругов.

Рилиант звонил каждые четверть часа, справляясь, как проходят роды. Его звонки отрывали меня от роженицы, и я сказал ему, чтобы он следил за своей звездой, а я буду заниматься его женой.

Роды проходили медленно; около четырех часов пульс плода стал меня беспокоить; я подождал некоторое время, рассчитывая на силы природы, но, когда сердце нерожденного ребенка явно начало слабеть, решил применить необходимую инъекцию. Я подготовил инструменты, разложил салфетки и нашел голубую жилку на мраморно-белой руке женщины.

— Это совсем не больно, — сказал я, — смотри, вот уже все.

Прозрачная жидкость уходила из шприца. Почувствовав сопротивление поршня, я отвел ладонь. В это мгновение на потолке вспыхнула красная лампочка и со всех сторон одновременно послышался дребезжащий голос:

— Внимание! Тревога! Готовность второй степени...

Послышался резкий треск, пол заколебался под ногами, свет погас. Я стоял в темноте над кроватью роженицы и слышал ее дыхание. Я вспомнил, что выключатель запасных рефлекторов находится у изголовья кровати и стал его искать. Однако, прежде чем я его нашел, раздался очень сильный толчок, похожий на удар невидимого молота об пол. Одновременно из скрытых репродукторов послышался металлический хрип; он все усиливался и перешел в судорожное рычание.

— Мила! — крикнул я. — Мила, держись!

Новый толчок отбросил меня от кровати. Я упал, вскочил, ударившись головой о какое-то препятствие. Раздался новый удар, я зашатался и протянул вперед руки. Все происходило в кромешной тьме, какие-то цветные пятна мелькали у меня перед глазами. Я не чувствовал ни малейшей тревоги, меня охватило лишь ощущение невыносимого бессилия, переходившее в гнев. Из репродукторов, наполнявших воздух убийственным воем, раздался похожий на рыдание крик человека, с трудом переводившего дыхание:

— Готовность... третьей степени... включаю... аварийную сеть... Внимание...

Потом раздался двойной удар, словно рядом со мной взорвался мощный заряд, и голос, настолько слабый, что я скорее догадался, чем услышал его, произнес:

— Исчезновение тяжести...

Мое тело теряло вес. Я повис в воздухе, беспомощный, как щенок, которого схватили за шиворот, и в отчаянии начал кричать:

— Мила... отзовись...

Вспыхнул свет. Загорелись зеленоватые аварийные лампочки. Я висел в пространстве метрах в четырех от постели. Мила полусидела, прикрывая одной рукой живот, а другой судорожно ухватившись за металлический поручень. После нескольких неудачных попыток мне удалось добраться до нее. Она была очень бледна. Мы посмотрели друг другу в глаза. Я попытался улыбнуться.

— Ничего, это бывает! — прокричал я, хотя она не могла меня услышать: вой над нами не прекращался.

Новый толчок чуть не оторвал меня от кровати. Я поспешно привязался поясом к ее спинке, чтобы высвободить руки. Корабль вновь задрожал, но уже по-иному. Каждые несколько секунд повторялся дьявольский свист, заканчивавшийся глухим ударом. Я понял: в глубине «Геи» разрушались герметические перегородки, отделяющие один отсек от другого.

Лицо Милы с огромными неподвижными глазами было прямо передо мной. Она вдруг начала извиваться всем телом: я нагнулся к ее лицу.

— Мама! Мама! — будто издали, донесся до меня ее голос.

Послышался еще один удар: перегородка упала где-то близко, рядом, за дверями зала. В этот момент у меня промелькнула, как молния, мысль: роды идут, и ничто, кроме смерти, не может остановить их. И другая: лаборатория Анны находится на верхнем ярусе, вплотную к оболочке корабля. Я представил мысленно дорогое мне беззащитное тело и массу падающих во мраке обломков металлических конструкций. Мое сердце замерло, словно пораженное ударом. Я сжался и отскочил от кровати: бежать, разбивать голыми руками стальные стены, погибнуть вместе! Я рвался, как безумный, забыв про пояс, которым минуту назад сам привязался к кровати.

Призрачный свет аварийных ламп дрожал; инструменты летали вокруг нас; большой прозрачный сосуд с кровью поднялся и проплыл около моего виска, засверкал рубином под лампой и отскочил от перегородки. Я не слышал стонов Милы, а лишь видел искаженные болью губы и сверкающие зубы.

Вой, грохот, гул раздавались над нами. Свет замигал; еще секунду лампы были видны, как фосфоресцирующие шары. Потом воцарилась темнота, а вместе с ней полная тишина, в которой внезапно послышался слабый, но очень отчетливый писк. Мне удалось дотянуться до столика, вытащить из коробки несколько салфеток, сложить их и обернуть тельце новорожденного. Наверху снова что-то щелкнуло.

— Держись! — крикнул я женщине, ожидая толчка, но его не последовало.

В репродукторе долго слышался треск, потом раздался знакомый голос. Говорил Ирьола:

— Товарищи, где бы вы ни были, сохраняйте спокойствие. Произошло столкновение «Геи» с мелким космическим телом. Мы овладели положением. Пять верхних ярусов временно отрезаны от остального корабля. Сейчас включим аварийные гравитационные приборы, приготовьтесь к возвращению тяжести. Через пятнадцать минут передадим новые сообщения. Сохраняйте спокойствие и оставайтесь на месте.

Репродуктор щелкнул, вновь стало тихо. Загорелись лампы. Раздался глухой, низкий гул: тяжесть возвращалась, инструменты и аппараты упали на пол, какой-то

стеклянный предмет разбился, и его осколки, звеня, рассыпались по каменным плитам. С минуту я повозился, развязывая пояс, которым был прикреплен к кровати. Потом отнес ребенка в ванную. Из кранов бежала теплая вода. Ребенок ожил, закричал громче и замигал большими голубыми глазами. Я вернулся к матери, продолжая прислушиваться к происходящему за пределами зала. Вначале было слышно отдаленное бульканье, словно с большой высоты падали каскады воды, потом лихорадочно застучали молотки и послышался свист газа, вырывавшегося из узких труб; что-то заскрежетало, кто-то с огромной силой тащил грузы по шероховатой поверхности, потом раздался короткий свист, согревший мое сердце: заработал лифт.

Проходили минуты. Мила, совершенно измученная, лежала на спине; у нее было маленькое, детское личико, очень похожее на лицо ее ребенка.

«Я сделал все, что было необходимо, — подумал я. — Ребенок живет, Мила чувствует себя хорошо, теперь можно идти...»

Однако я остановился. Открылась дверь, вошел Шрей. За ним шел автомат с круглой лампой, от которой исходил сильный матовый свет.

Шрей окинул взглядом зал, кровать с роженицей, разбитые и разбросанные в беспорядке на полу инструменты, пятна крови и наконец посмотрел на меня.

— Только что родился? — спросил он. Слабая, невеселая улыбка смягчила его губы.

— Что с ней?.. — пробормотал я.

Шрей не понял.

— О ком ты говоришь? — спросил он.

У меня перехватило дыхание. Я задыхался, как после долгого бега. Этой ночью Анна была в его лаборатории.

— Что... с ней? . — повторил я Я не смел назвать ее по имени.

— С Анной? — догадался Шрей. — Она была у меня, сейчас придет сюда... Ты что, хочешь задушить ребенка? — закричал он, увидев, как крепко я прижал его к груди.

— Что случилось с кораблем, профессор?

— Я знаю столько же, сколько и ты. Мне сейчас зво-

нил Тер-Акониан, он пытался связаться с тобой, но безуспешно.

— Я был здесь.

— Да, — кивнул Шрей головой. — Он не хотел вызывать врачей через общую сеть. Мы должны подготовиться, сейчас сюда начнут поступать раненые...

В коридоре послышались шаги и голоса. Открылась дверь, и вошла Анна Продолжая держать ребенка на руках, я подбежал к ней и замер. Коридор не был освещен. Лишь откуда-то издали на метр от пола по нему плыл хоровод мерцающих огоньков. Это были носилки, покрытые белым полотном. Из-под покрывала ближайших носилок свешивалась, бессильно покачиваясь, женская рука.

Пролетая сто семьдесят семь тысяч километров в секунду, «Гея» случайно встретилась на своем пути с метеоритом. Эхо радара обнаружило его на расстоянии девяноста тысяч километров. Потребовалась тысячная доля секунды, чтобы автоматы нацелили на него дезинтегратор. Метеорит, получив удар лучистой энергии, распался. «Гея» же, продолжавшая мчаться не снижая скорости, прибыла к месту взрыва, когда процесс атомного разложения еще продолжался. Волна пылающих осколков ударила в верхнюю часть оболочки и разорвала ее на двухсотметровом участке. Облако раскаленных газов ворвалось внутрь корабля; были разодраны все слои внутренней изоляционной оболочки и пробиты баки с водой в том месте, где под ними проходят трубопроводы холодильной сети с жидким гелием.

Это случилось как раз в то время, когда автоматы проверяли герметичность труб; ледяной гелий циркулировал под большим давлением, а все краны, автоматически выключающие его приток, были заблокированы Жидкий гелий, обладающий температурой в три градуса выше абсолютного нуля, вырвался с огромной силой, разорвал трубы и бурным потоком хлынул через запасную вентиляционную шахту в цетральную аппаратную, стекая по оболочкам автоматов. Все электрические провода, с какими он соприкасался, были заморожены и превратились в сверхпроводники. Вместо передававшихся в определенном порядке импульсов и сигналов возник хаос перепу-

танных токов. По мере того, как непрерывно поступавший гелий заливал аппаратную, автоматы под влиянием сверхпроводимости один за другим выходили из строя.

Непосредственно под аппаратной, в кабине рулевого управления в это время, в три часа сорок семь минут, был лишь один человек—дежурный астронавигатор Сонграм. Он не мог ни заблокировать магистральный трубопровод жидкого гелия, ни опустить герметические перегородки, ни закрыть пробоины в оболочке временным тампоном; одни автоматы были совершенно парализованы, другие действовали, как помешанные, искажая поручения и отдавая в течение доли секунды по нескольку различных, часто противоречивших друг другу приказов. Сонграм не мог установить связь ни с кем и с трудом сумел объявить тревогу по аварийной радиотелефонной сети: ее кабель на некотором расстоянии подвергся воздействию жидкого гелия.

Он был один. Висевшие перед ним циферблаты и указатели уже ничего не измеряли и не показывали; все контрольные лампочки гасли и загорались без малейшего смысла, корпуса трансформаторов дрожали, некоторые сгорели, в других от перенапряжения группами перегорали предохранители; по контрольным приборам проскакивало фиолетовое пламя. Сонграм знал, что гелий скопился у него над головой. Он понимал, что рано или поздно гелий заполнит всю аппаратную, проникнет в глубоко укрытый электрический регулятор атомных реакций и корабль погибнет.

Неизвестно, о чем он думал, но то, что он делал, было зафиксировано регистрационной аппаратурой; ее действие основано на принципе сверхпроводимости, и она не была затронута катастрофой. В кабине рулевого управления становилось все холоднее, потолок, над которым передвигалась большая масса жидкого гелия, сверкал изморозью, на досках пюпитров оседал иней, дыхание белым паром вырывалось изо рта. Гелий кипел и заливал секции автоматов, расположенные выше, а через отверстие в броне каждую секунду улетучивались сотни кубических метров воздуха. Сонграм еще раз попытался пустить в ход центробежные насосы, управляемые на расстоянии предохранительные затворы и включить ава-

рийную сеть, расположенную параллельно основной, но это ему не удалось.

Был еще один способ. Он знал, что, если открыть вентиляционные клапаны в потолке, скопившийся там гелий хлынет в кабину рулевого управления, и, прежде чем он заполнит ее, наверху температура поднимется хотя и незначительно, но все же достаточно для того, чтобы автоматы могли работать нормально; после этого они уже сами прекратят его дальнейший приток. Электрорегулятор аппаратуры был заблокирован, и надо было открыть клапан вручную, поворачивая маховичок вентиля, находящийся на боковой стене кабины управления. Открыв один клапан, он успел бы выбежать из кабины; но он не был уверен, что из аппаратной через это отверстие будет уходить гелия больше, чем поступать туда из лопнувших труб. А такая уверенность была необходима. Открыв все клапаны, он не успел бы спастись. Жидкий гелий замораживает так быстро, что погруженный в него человек в течение секунды превращается в стекловидную мумию.

Сонгграм еще раз попытался пустить в ход центробежные насосы, но безрезультатно. Тогда он перестал нажимать контакты. Четыре секунды он не делал ничего. Потом начал открывать один за другим клапаны. Он успел открыть четыре из них. Гелий четырьмя водопадами стал низвергаться в кабину, автоматы вверху были освобождены, и все произошло так, как предвидел Сонгграм. Одни автоматы прекратили доступ гелию, другие пустили в ход насосы, которые выкачали гелий из кабины рулевого управления; третьи закрыли отверстие в оболочке слоями быстро схватывающего цемента, выбрасываемого под большим давлением, выключили гравитационное устройство и опустили в глубине «Геи» ряд перегородок, чтобы помешать испаряющемуся гелию смешаться с воздухом в жилом отсеке. Потом из аварийных люков выползли механоавтоматы; они двинулись в резервные проходы, пробрались между изоляционными перегородками аппаратной и принялись ремонтировать взорванный резервуар с водой. Они работали непрерывно до шести часов утра и устранили к этому времени последние следы катастрофы внутри корабля.

Лишь несколько членов экипажа были легко ранены осколками лопнувших на третьем и четвертом ярусах

труб. Перевязав их, мы с Ирьолой отправились в кабину рулевого управления.

Когда мы уходили оттуда, было семь часов утра. Тихие и пустые коридоры были залиты искусственным светом. Ирьола дошел со мной до того места, где дороги наши расходились, но продолжал идти дальше, словно не мог меня оставить. Перед самыми дверями больницы, куда я возвращался, чтобы осмотреть раненых, он остановился.

— Если бы я не сделал этого подсчета... — сказал он.

Я вопросительно посмотрел на него. Но он не глядел на меня.

— Я не мог удержаться... Ты знаешь, ему не нужно было... Достаточно было открыть один клапан. Он мог бы...

Я понял:

— Он не знал?

— Не мог знать. На подсчеты надо было затратить по меньшей мере несколько минут. Он не позволил себе этого.

Я молчал, а перед моими глазами вновь возникло то, что я увидел в кабине рулевого управления: пустое, большое помещение, в котором уже были ликвидированы все следы катастрофы, и рука Сонгграма, замершая на последнем, не оконченном обороте маховичка вентиля.

Ирьола все сильнее сжимал мои пальцы.

— Ты не знал его...

Он вдруг осекся, и я второй раз за этот год увидел плачущего мужчину.

На следующий день инженеры приступили к восстановлению металлической оболочки «Геи». Были открыты аварийные люки, и на поверхность корабля направлена группа механоавтоматов. Амета пришел за мной в больницу: представлялась единственная в своем роде возможность вылазки в межзвездное пространство.

В том месте на палубе, где сходились коридоры, работа была в полном разгаре. Каждую минуту из шахты высовывался какой-нибудь автомат, а другие, ожидавшие у транспортера, нагружали его инструментами и металлом, после чего стальное создание, не оборачиваясь, входило

в лифт, шагая так тяжело, что, казалось, пол прогибается под ним.

Желающих выйти на поверхность «Геи» оказалось много, и нам пришлось долго ждать своей очереди. Наконец я очутился в барокамере. Амета, уже приготовившийся к выходу, помог мне надеть скафандр. Я влез в него через широко раскрытое головное отверстие; затем на плечи мне был опущен круглый воротник, напоминающий кружевные жабо, какие носили в древности, с той только разницей, что это металлическое жабо, где помещалась аппаратура для обогрева и дыхательные трубки, было довольно тяжелым. Сверх него на меня надели шлем из прозрачной пластмассы с выпуклым забралом над глазами. При движениях я ощущал два толстых скафандра—внешний, металлический, покрытый плотным серебристым пухом, и внутренний, шелковистый на ощупь. Двигаться в этом массивном убранстве там, где действовала сила тяжести, было нелегко. При помощи друзей, подталкивавших меня сзади, я попал в барокамеру; сквозь стекла шлема электрический свет казался желтоватым и слабым. Я потерял из виду Амету. Последним торжественным движением автомат у выхода проверил, плотно ли пригнаны крепления кислородного баллона, после чего внутренняя крышка люка закрылась. Несколько секунд я слышал легкое шипение воздуха, потом, не поддерживаемая внутренним давлением, у моих ног сама открылась наружная крышка люка.

Держась за конец трапа, я встал на металлическую оболочку; магниты подошв крепко пристали к ней. Я выпрямился. Глаза еще слепил свет помещений, однако несколько секунд спустя они приспособились к абсолютному мраку. Внешняя оболочка «Геи» была неподвижна; для создания искусственной силы тяжести лишь внутренние, населенные людьми, помещения корабля вращались подобно гигантской карусели. Вокруг нас, словно образуя горизонт, сверкали во мраке скопления светил Млечного Пути. Я перестал ощущать тяжесть скафандра и почувствовал себя голым, словно вся поверхность моего тела была отдана во власть пустоте.

Опасаясь, как бы в результате неосторожного движения не сорваться с невидимой стальной оболочки, я упал и прижался к ее твердой поверхности. Я вспомнил,

что привязан к кольцу входной створки люка длинным тросом. Торопливо я стал искать его и, нажав случайно выключатель магнитов, полетел в бездну. Расширенными от ужаса глазами я увидел слабо светящийся фосфоризованный трос, который разматывался мягкими кругами. Наконец он вытянулся, как длинная белая пуповина, и я повис на ней под кораблем или над ним — отсутствие притяжения лишало возможности указать направление. Кругом во тьме сияли неподвижные звезды; они виднелись со всех сторон, куда бы я ни повернул голову. Я внезапно почувствовал головокружение и зажмурился. В небольшом пространстве наполненного воздухом шлема слышался отзвук ударов моего сердца.

Я вновь открыл глаза и отвел взгляд от знакомых очертаний Большой Медведицы ниже, туда, где между Ипсилоном и Дельтой Кассиопеи светила неподвижная искорка — Солнце. Оно было такое невзрачное, такое непохожее на все мои представления, что я не почувствовал ни тоски, ни даже удивления, а лишь безразличие. Неужели эта желтоватая пылинка, ничем не отличающаяся от многих тысяч других, — мое родное светило?

Мне захотелось взглянуть на «Гею». Я думал, что увижу висящее неподвижно в пространстве темное, стройное веретено, но не увидел ничего. Отвратительный страх схватил меня за горло; мелькнула ужасная мысль, что трос развязался. Я беспомощно извивался, как слепой червяк, пытаясь ухватиться за что-нибудь, прикоснуться к твердой опоре. Вдруг я увидел этот длинный змеевид-

ный трос, который связывал меня с кораблем. Напрягая до боли глаза, я увидел похожие на рыбу очертания «Геи»; она закрывала собой звезды. Я торопливо начал перехватывать трос и через несколько мгновений почувствовал твердую опору, ударившись обеими коленями о бронированную оболочку корабля. Я вспомнил про магниты и включил их. Теперь я мог ходить. Вдруг совсем близко вспыхнул зеленый светлячок: это была лампочка, вделанная сзади в воротник скафандра. Кто-то стоял и смотрел, как работают механоавтоматы. Я подошел ближе. Несколько рефлекторов освещали место работы. В их лучах виднелись развороченные края оболочки; одни автоматы отрезали эти стальные лохмотья, другие сшивали раны электрической дугой, следом за ними принимались за работу шлифовальные машины. Они отбрасывали во мрак снопы золотисто-лиловых искр. Это было потрясающее зрелище: скорчившиеся под вечными звездами машины на краткое мгновение создавали разноцветные миры, которые гасли сразу же после возникновения.

По другую сторону площадки горел еще один зеленый светлячок. Я направился к нему. Не хотелось верить, что «Гея» действительно несется с огромной скоростью. Я ощущал на себе относительность движения: скорость является пустым звуком, если она проявляется безотносительно к другим предметам. Вначале я подумал, что человек, стоящий одиноко, — это Амета, но он был выше Аметы. Я поднял руку, собираясь ударить его по плечу, и тут же опустил ее. Это был Гообар. Он стоял, скрестив руки на груди, освещенный снопом искр, летящих поблизости. Глаза его были устремлены в бесконечную пустоту. Он улыбался.

НАЧАЛО ЭПОХИ

Не знаю, когда я полюбил Анну. Это, должно быть, случилось давно, но я осознал это лишь во время катастрофы. Наша жизнь и теперь не была сплошной вереницей светлых, тихих дней: слишком много впечатлений приносило наше путешествие, я не мог справиться с ними, сердился, терялся. Но сквозь мой гнев и мою печаль я любил ее и всегда тосковал по ней, даже тогда, когда она была совсем рядом.

Много месяцев подряд я ежедневно работал до поздней ночи. После такой работы я обычно спал как убитый и просыпался рано утром, не помня, кто я, как меня зовут. Но первой моей мыслью, первым ощущением было: со мной Анна. Это ощущение наполняло меня всего, переливаясь через край, и, кажется, если бы я потерял память и не помнил, кроме нее, ни о чем, я был бы самым богатым человеком в мире.

По вечерам мы уходили на смотровую палубу, туда, где я когда-то целовал ее под звездами. Высоко над нами сияло скопление Плеяд, огромные стаи светил, летящих в пространстве. Однажды Анна прервала молчание словами:

— Дорогой, правда ли, что там, вокруг этих солнц, обращаются планеты, населенные живыми существами?

— Да,— сказал я, еще не понимая ее мысли.

— Таких планет, населенных разумными существами, в Галактике должны быть миллионы, верно?

— Конечно.

— Значит, черное пространство не мертво и не пусто: его непрерывно пронизывают взгляды миллионов живых существ!

Как поразили меня эти слова, такие простые и естественные!

Анна права, думал я. Когда мы смотрим на холодные огни Южного Креста, наши взгляды, может быть, скрещиваются со взглядами неизвестных существ, которые выросли под другим солнцем, но, как и мы, всматриваются в грозную вечную красоту Вселенной.

Четыре месяца спустя после катастрофы я получил отпечатанную в старинном стиле карточку со словами:

Группа биофизиков „Геи" имеет честь пригласить Вас в Большой зал на расширенное заседание, которое состоится в шесть часов вечера по местному времени.

Порядок дня:

1. Предварительное сообщение профессора Гообара.

2. Дискуссия.

Тема предварительного сообщения — проблема трансгалактических путешествий.

Никогда еще день не тянулся так, как сегодня. Работая в больнице, я то и дело посматривал на часы. Я решил прийти на заседание в пять часов, но, как бы случайно, отправился в Большой зал группы биофизиков в четыре часа, думая, что там еще нет никого. Каково же было мое удивление, когда издали я услышал шум голосов. В пять часов двадцать минут зал был переполнен до отказа. С моего места в верхнем углу амфитеатра я видел море голов: во всех проходах стояли зрители, оставалась свободной лишь узкая полоска пространства у больших черных таблиц. На собрании присутствовал весь экипаж «Геи»; лаборатории опустели, не было лишь одного человека из экипажа — дежурного астронавигатора, но и тот благодаря телевизорам, установленным в центральной кабине рулевого управления, следил за всем, что происходило в зале.

Когда пробило шесть часов, из боковой двери вышел Гообар. Он поднялся на трибуну, довольно долго перебирал куски мела, лежавшие под доской, наконец взял один, повернулся, слегка поклонился и заговорил.

Он начал с перечисления некоторых общеизвестных фактов, напомнил о мерцании сознания при достижении светового порога скорости, о попытках преодолеть этот порог, иногда кончавшихся смертью тех, кто участвовал в опытах. В конце своего короткого вступления он сказал:

— Большинство специалистов считало, что путешествовать со скоростью, превышающей сто девяносто тысяч километров в секунду, никогда не будет возможно. Однако другие выражали надежду, что нам когда-нибудь удастся открыть средства, предохраняющие человека от губительного действия огромных скоростей. Поскольку общепринятая теория жизненных процессов исключает возможность открытия таких средств, они утверждали, что эта теория, вероятно, ошибочна и будет опровергнута. Что касается меня, то я никогда не придерживался ни первой, ни второй точек зрения. Я поставил себе задачу: открыть новую теорию жизненных процессов.

По залу пронесся легкий шум.

Гообар написал на доске общеизвестное энергетическое уравнение живой клетки и, отряхивая мел с пальцев, продолжал:

— Я считаю, что может существовать теория более общего характера, чем та, которую выражает написанная формула. Существующая теория охватывает все известные проявления жизненных процессов в земных организмах от простейших, как, например, бактерии, до высших, включая человека. Кажется, можно ли представить себе теорию более общую, чем эта? Единственную возможность создать новую теорию я вижу в такой постановке вопроса: жизнь на Земле есть лишь конкретный случай активного существования, имеющегося на планетных системах Вселенной. На других небесных телах могут быть существа, возникшие иначе, чем на Земле. У нас жизнь всегда является формой существования белковых соединений; но давно уже высказывались предположения, что могут существовать структуры, подобные белку, построенные из атомов кремния, так называемые силиколипоиды. Опираясь на это рассуждение, я решил искать более общий закон, управляющий всеми формами жизни, которые могут возникнуть на миллионах планетных систем Космоса. Возможность создания такой теории на основе эксперимента исключалась, поскольку мы даже отдаленно не знаем, как могут возникать неизвестные нам организмы. Единственным доступным путем было создание теории на основе всеобщих законов, действующих во Вселенной, то есть законов мертвой материи. Как известно, возникла новая отрасль математики, отражающая развитие жизни земных существ, так называемая биотенсорика; мы поставили себе задачу открыть ее математическую «родню», и могу сказать, что после нескольких лет работы нашему коллективу это удалось.

По залу вновь разнесся шум, будто волна пронеслась над головами собравшихся и стихла.

Гообар написал первую формулу, наклонил голову, некоторое время всматривался в нее, затем начал что-то очень быстро писать. Уравнения вытекали одно из другого. Глухо скрипел мел в мертвой тишине. Иногда его кусок со стуком падал на пол. Постепенно доска покрывалась малоразборчивыми знаками. Я следил за развитием доклада по поведению ученых. Некоторые делали записи. Наклонившись, они читали каждую появившуюся на доске формулу, хмурились и застывали неподвижно; иногда на их лицах появлялась улыбка облегчения, словно

они замечали в чужой толпе знакомое лицо. Напряжение в зале неуклонно росло: то тот, то другой хватал обеими руками доску пюпитра, как бы стремясь встать, и забывал об этом, не закончив движения. Тембхара, сидевший в переднем ряду, облизывал пересохшие губы, а его соседка Чаканджан приложила обе руки к вискам, как бы желая отгородиться от всего, что не было развивающимся рядом уравнений, заполнивших доску вплоть до рамы. Гообар, ни на секунду не задумываясь, продолжал записывать свои вычисления на сверкающей панели черного дерева. Закончив их, он сказал:

— А теперь заменим детерминанты...

Он нажал контакт. Механический рычаг поднял вверх покрытую формулами доску и опустил на ее место новую: ученый подул на руку, обсыпанную белой пылью, и продолжал писать. Вдруг он остановился, наклонил голову, стал читать формулы и затем хрипловатым голосом произнес:

— Теперь подставим везде однородные поля и получим...

Он написал короткое уравнение.

— Как видите, — продолжал он,— пример, сведенный к этой общей формуле, показывает неизбежное прекращение жизненных процессов при скорости выше светового порога. Иначе говоря, за этим порогом должна наступить смерть.

Короткий отзвук, похожий на сдавленный вздох, вырвавшийся из одной огромной груди, потряс воздух. А Гообар, невозмутимо стоя у доски, продолжал:

— Все это совершенно верно. Смерти избежать нельзя: так заканчивается данная формула. Я долго не мог найти выход, мне казалось, что дальше двигаться некуда. Однако это не так. Что произойдет, подумал я, если перевернуть проблему, отбросить общепринятый способ и подойти к ней не со стороны жизни, а именно со стороны смерти? Если за данное принять именно организм, внезапно убитый огромной скоростью, и вводить его в более низкие скорости?

Гообар вновь повернулся к доске, стер несколько знаков и начал писать.

— Подставим еще раз однородные поля... А сейчас Гарганову транспозицию... теперь у нас получилось...

Он заключил написанную формулу в рамку. Еще мел в его пальцах не успел оторваться от черной доски, как в зале послышались с трудом сдерживаемые возгласы восхищения. Кибернетики, биологи, математики вскочили со своих мест и замерли, словно пораженные молнией. Одни наклонились, другие тяжело опирались о пюпитры, всматриваясь горящими глазами в доску. Гообар вытер со лба крупные капли пота, повернулся к залу и, как бы не замечая, что там происходит, продолжал:

— Как видите, смерть, наступающая при превышении скорости света, обратима... Когда ускорение возрастает постепенно, происходит постепенное умирание организма: распадающиеся группы энзимов, или иначе ферментов, начинают отравлять и уничтожать ткани, наступает разложение. Однако, если скорость светового порога преодолеть быстро, молекулярная структура организма будет как бы лишена движения. И, когда мы так же внезапно перейдем на более низкую скорость, все функции тканей восстановятся после нового толчка, как восстанавливается движение остановленного маятника. Какое ускорение следует придать организму, чтобы он преодолел порог скорости в зоне обратимой смерти? Формула отвечает: ускорение, в двести раз больше земного, при котором человек будет весить около полутора тонн. Такое ускорение не убьет его, если оно будет воздействовать в течение очень малой доли секунды, а ничего иного нам и не нужно. Фигурально выражаясь, таким образом можно пробить стену светового порога.

Каковы же дальнейшие перспективы? Представим, что у нас есть ракета с экипажем, которая приблизится к световому порогу скорости, а потом одним скачком перейдет к скорости более высокой. Наступит почти полная остановка всех жизненных функций членов экипажа. Находящихся в ракете людей постигнет смерть; однако она обратима, и, когда ракета так же внезапно сделает скачок от скорости, превышающей световой порог, к скорости ниже порога, люди оживут. Следует подчеркнуть, что состояние такой обратимой смерти, или, если хотите, нечто подобное глубочайшему летаргическому сну, может длиться довольно долго — сотни или даже тысячи лет, поскольку в ракете, двигающейся со скоростью, скажем, 999/1000 скорости света, влияние времени практически прекращается,

потому что прекращаются жизненные процессы, в том числе и процесс старения. В этом случае можно предпринимать экспедиции в довольно отдаленные части Вселенной. Пусть путешествие длится сто тысяч лет. К цели долетят те же люди, которые отправились с Земли, а не их отдаленные потомки; эти люди не будут подвержены старению, они не будут страдать от трудностей, связанных с путешествием; этот огромный отрезок времени не будет для них вообще существовать, поскольку они не будут сознавать его. Мы устраним влияние времени, и перед нами откроются широчайшие перспективы. Прежде всего нам впервые станет доступен способ произвольного торможения и ускорения движения времени, а тем самым старения наших тел: он ведет к тому, что человек, погруженный в обратимую смерть, может перескакивать даже через целые века и оказываться в самом отдаленном будущем.

Здесь возникает огромное количество проблем, социальных и психологических, из которых я хочу коснуться одной, — продолжал Гообар. — Группа людей, отправившаяся в глубь Галактики, вернется на Землю через несколько сот или даже тысяч лет. Эти люди оставят общество на определенном этапе развития, у них на Земле останутся близкие, родные, друзья, они получили воспитание в конкретной культурной формации, у них есть привычки, обычаи и привязанности в области искусства, повседневной жизни, научной работы и так далее. И вот они возвращаются в общество, им совершенно чуждое и неизвестное. Это общество неуклонно развивалось на протяжении веков, в то время как они остановились на том этапе, который был достигнут, когда они покидали Землю. Я вижу здесь серьезные трудности. Возвращающаяся группа будет в значительной степени чуждой обществу на Земле, а если трансгалактические экспедиции в дальнейшем станут распространенным явлением — а я считаю это неизбежным, — то на Землю будут почти одновременно возвращаться корабли, населенные людьми, родившимися в 3100, 3200, 3500, 4000 году и так далее. Таким образом, будет возникать своеобразное соседство различных поколений, и нужно будет найти новые формы взаимного сосуществования, которые могли бы ускорить включение этих возвращающихся групп в общество.

Все сказанное, конечно, представляет собой проблемы очень отдаленного будущего, и это будущее решит их само. Я напомнил об этих проблемах лишь потому, что считаю их характерными для процесса возникновения новых трудностей в тот момент, когда перед нами открываются новые просторы жизни... Это все, что я хотел сказать.

Гообар отложил мел.

— Будут ли какие-нибудь вопросы? — спросил он, не глядя на собравшихся и пытаясь безуспешно стереть носовым платком въевшуюся в кожу пальцев меловую пыль.

Уже к концу лекции несколько десятков человек встали со своих мест и подошли к первому ряду кресел. Теперь все присутствующие спустились вниз по проходам и столпились около доски, будто их тянула к ней цепочка написанных плохим почерком формул. Трегуб, проходя мимо, окинул меня невидящим взглядом, пошевелил губами, как бы намереваясь что-то сказать, но не произнес ни звука и снова повернулся к доске.

Я посмотрел на Гообара. Он выглядел очень усталым и опирался обеими руками о стол. Я попытался отыскать в выражении его лица гордость или торжество в связи со сверхчеловеческим успехом. Ведь он открыл перед людьми всю Вселенную! Но ничего похожего не было в его лице. Он смотрел на стоявших неподвижно и продолжавших молчать людей и почти неуловимо улыбался той самой улыбкой, которую я подглядел, когда он стоял на оболочке «Геи», повернувшись лицом к безграничному звездному пространству.

Трудно выразить настроение, охватившее нас после доклада Гообара. Когда основные положения доклада были посланы на Землю в виде пучка радиоволн (они могли достигнуть цели лишь через два с лишним года), специально созданный межгрупповой организационный совет начал распределять между исследовательскими коллективами программу новых работ, связанных с проектами трансгалактических путешествий. Конструкторы приступили к расчетам ракет нового типа, способных преодолеть порог скорости, кибернетики получили зада-

ние разработать новые виды автоматов, необходимых для управления такими ракетами. Работы было много. Стало ясно, что коллектив «Геи» сможет выполнить лишь незначительную ее часть. Гообар и другие биофизики не намеревались почивать на лаврах, а работали над дальнейшими выводами. Все это делалось с какой-то единой страстью, которая зажгла людей.

На корабле воцарилось праздничное, светлое спокойствие. Трехчасовой доклад дал нам так много сил для преодоления пространства, что мы почти перестали замечать ледяной мрак, окружающий «Гею». Вечером следующего дня, увидев на смотровой палубе десятки товарищей, прогуливавшихся, как в первые дни нашего путешествия — нет, еще свободнее, — я не мог сдержать улыбку. Останавливаясь, люди показывали друг другу отдаленные созвездия, называя светила, которые в будущем надо будет посетить.

Позднее я отправился к Тер-Хаару; историк пригласил своих друзей Амету, Зорина, Тембхару и молодежь — Руделика и Нильса — на бокал вина, чтобы, как он сказал, отметить в домашнем кругу нашу огромную победу.

Мы засиделись до поздней ночи. И если в прошлом мы окружали как бы заговором молчания проблему галактических путешествий, то теперь беседовали о ней как о чем-то таком, о чем давно думали и что не вызывало у нас никаких сомнений. Уже было далеко за полночь, когда Тер-Хаар, почти не принимавший участия в беседе, сказал:

— А знаете ли вы, что «Гею» не удастся переоборудовать для полетов со скоростью, превышающей световой порог?

— Конечно, — ответил молодой Руделик. — Двигатели слишком слабы и, кроме того, нужны новые автоматы.

— Почти три года отделяет нас от цели, — продолжал историк, который как бы не слышал замечания Руделика, — потом мы приступим к исследованию планет Центавра. Оно продлится года два, а может быть, и больше. Потом восемь лет обратного пути — итого семнадцать лет. Мы будем уже немолоды, когда вернемся на Землю. Следующая экспедиция, настоящая экспеди-

ция в центр Галактики, отправится не так скоро; должно пройти немалое время, пока будут проведены все испытания и опыты...

— Ну и что же? Я не понимаю, к чему ты все это говоришь, профессор? — спросил нетерпеливо Руделик.

Мы также не без удивления смотрели на историка, но не смутили его этим. Он продолжал:

— Никто из нас, конечно, никогда больше не отправится в галактические просторы... Значит, в нашей жизни ничего не изменилось. Все идет по-старому. Открытие Гообара ни в малейшей степени не окажет влияния на наши личные судьбы ни теперь, ни в будущем, не так ли?

После паузы, вызванной общим удивлением, Руделик воскликнул:

— Что ты говоришь, профессор! Неужели ты слеп и не заметил, что происходит на «Гее»?

— Конечно, заметил, потому я и хочу узнать причину подъема; ведь наша судьба не изменилась...

— Хорошее дело — не изменилась! — гневно прервал Руделик. — Ты говоришь, что наша судьба никак не изменилась, а я скажу тебе, что она изменилась полностью. Профессор! Разве тебя не было здесь с нами эти четыре года? Разве ты не чувствовал того страшного бремени ожидания, которое — хотя мы боролись с ним и сопротивлялись ему — возвращалось каждый раз под новой маской? И никакой надежды на будущее: достаточно было представить себе, что до звезд, расположенных немногим дальше Альфы Центавра, ракеты будут лететь по тридцати—сорока лет, что путешествие будет похоже на пожизненное заключение, что пространство будет отдавать Земле старцев или детей, не знающих, как выглядит настоящее голубое небо, что за пределы, скажем, Сириуса мы не вырвемся никогда, — достаточно было все это осознать, чтобы у человека опустились руки... А теперь мы знаем, что галактическое путешествие будет выглядеть совсем по-иному, что мы преградим путь всепоглощающему пространству, что оно не только не будет пожирать, уничтожать жизнь, превращая ее в ужасное многолетнее ожидание, но что люди вообще не будут его ощущать. Мало того! Путешествуя, скажем, из Евразии в Австралию, человек, может быть,

будет стареть больше, чем при путешествии с Земли к туманности Гончих Псов, поскольку на Земле мы не можем еще приостанавливать течение времени, как это будет возможно на межзвездном корабле!

— Все это очень красиво, — отстаивал свою точку зрения Тер-Хаар, — но ты все говоришь о будущих экспедициях. Хорошо, но ведь сейчас ты находишься не на палубе этого сверхпорогового звездного корабля, а на старомодной «Гее». Какая же тебе польза от этого открытия?

Руделик растерянно обвел нас взглядом, пошевелил губами, вздохнул, пожал плечами и ничего не ответил.

Вдруг Тер-Хаар рассмеялся. Не поддержанный никем, он смеялся один довольно долго, наконец между приступами смеха произнес:

— Нет... нет... Сейчас... Постойте..

Он закрыл глаза, смахнул с них слезу и сказал:

— Вы должны простить меня. Я совсем не хотел позабавиться за ваш счет. Это действительно очень серьезная и интересная проблема: как много из того, что составляет самую основу содержания нашей жизни, лежит, по сути дела, вне ее физических границ!

— Да! — сказал Нильс. — Но разве так будет всегда? Разве люди всегда будут умирать?

Наступила тишина, которую прервал голос Тембхары:

— Представь себе, Нильс, что ты соединил концами три прямых отрезка. Какая это будет фигура?

— Треугольник.

— Правильно. Когда мы соединяем три прямых, возникает треугольник, безотносительно к тому, хотим мы этого или нет. Если бы кто-нибудь приказал мне соединить эти отрезки и одновременно категорически потребовал, чтобы это не был треугольник, я как конструктор заявил бы, что эта задача неразрешима и останется неразрешимой всегда — и теперь и через миллиарды лет. Так вот, ответ на сказанное тобой зависит от того, необходима смерть для существования жизни или нет?

— Как может она быть необходима? Ведь смерть — это отрицание жизни.

— Индивидуума — да, но не вида. Если бы я хотел одним словом ответить на вопрос, что является движу-

щей силой биологической эволюции, я сказал бы: изменчивость. Если бы не изменчивость, первобытная плазма, возникшая в глубине палеозойского океана, прозябала бы в том же самом неизменном виде и до сегодняшнего дня, не породила бы невообразимого богатства растительных и животных форм и в конце концов — человека. А почему возможна эта изменчивость? Потому, что одни формы уступают место другим, что приходит на свет потомство, и из поколения в поколение происходят перемены — мелкие, трудно уловимые, но накопляющиеся в течение миллионов лет, которые дают начало новым видам и родам. А переведенное на наш обычный язык, это исчезновение родительских форм и возникновение последующих поколений, эта смена одних поколений другими носит название смерти. Без смерти не было бы изменчивости. Без изменчивости не было бы эволюции. Без эволюции не было бы человека. Вот ответ на твой вопрос.

— Ты доказал, что в основе творческой эволюции лежит смертность ее творений, — сказал после долгой паузы Нильс. — Но, если эволюция не может создать бессмертие, может быть, это сможет сделать человек?

Тембхара молчал.

— Ну, а если даже... — раздался голос в глубине комнаты. — Если даже...

Мы все повернулись туда. Говорил Амета.

— Что такое смерть? Напоминание о небытии? Вид того праха, в который мы превратимся? Сознание того, что, предпринимая борьбу против Земли и неба, против звезд, мы побеждаем мертвую материю лишь затем, чтобы превратиться в нее? Да. И еще знание того, как горение белка в наших телах, дающее начало музыке и наслаждениям, превращается в гниение? Да! Но в то же время смерть придает бесценную стоимость каждой секунде, каждому дыханию; она — приказ нам напрячь все силы, чтобы мы смогли добиться как можно большего и передать завоеванное следующим поколениям; напоминание об ответственности за каждое наше действие, потому что сделанного нельзя ни изменить, ни забыть за такое короткое время, как жизнь человека. Смерть учит нас любить жизнь, любить других людей, смертных, как и мы, исполненных мужества и страха, как и мы, в тоске стремящихся продлить свое физическое существо-

вание и строящих с любовью будущее, которого они не увидят. Ради бессмертия человеку понадобилось бы отказаться от самого ценного свойства — памяти: разве какой-либо мозг смог бы охватить весь гигантский объем воспоминаний, рожденных бесконечностью? Ему было бы нужно обладать холодной мудростью и безжалостным спокойствием богов, в которых верили древние. Но разве нашелся бы такой безумец, который захотел стать богом, в то время как мог быть человеком? Кто захотел бы жить вечно, если его смерть может дать жизнь другим, как смерть астронавигатора Сонгграма? Я не хочу жить вечно. Каждый удар моего сердца славит жизнь, и поэтому я говорю вам: я не позволю отнять у меня смерть!

Подходил к концу седьмой год путешествия; приближался момент, когда все наши ожидания, планы и надежды должны были осуществиться.

Пурпурный свет Проксимы становился все более ярким. В ручные телескопы видны были две планеты этого Красного Карлика — более отдаленная, по своим размерам превосходящая Юпитер, и более близкая, сходная с Марсом. Две другие составные части системы — солнца А и Б Центавра — обладали большими семьями планет. Оба они сияли на нашем небе ослепительно белым светом и были удалены друг от друга на расстояние в несколько дуговых минут. Сириус и Бетельгейзе светили слабее.

Хотя Красный Карлик увеличивался в размерах очень медленно, но мрак на смотровых палубах все же незаметно смягчался, слабел, приобретая чуть-чуть сероватый оттенок.

Однажды утром зрители стали что-то показывать друг другу: предметы и наши тела начали отбрасывать тень.

Когда расстояние, отделяющее нас от Красного Карлика, сократилось до шестисот миллиардов километров, послышался давно не повторявшийся звук предупредительных сигналов: «Гея» начала ежевечерне убавлять скорость. Мы искали и не находили в своей памяти гнетущего чувства, которое когда-то возбуждал этот сигнал: он звучал теперь, как фанфары победы. После шестнадца-

ти недель торможения наша ракета уменьшила скорость до четырех тысяч километров в секунду и уже приближалась к первой планете Красного Карлика. Ее орбита составляла угол в сорок градусов к направлению полета «Геи». Астронавигаторы умышленно не направляли корабль в плоскость обращения планет, поскольку можно было предполагать, что здесь, как и в нашей солнечной системе, скопляется метеоритная пыль, затрудняющая маневры.

Первую планету мы миновали на расстоянии четырехсот миллионов километров. Астрофизики и планетологи не отрываясь дежурили по целым суткам у своих наблюдательных инструментов. Мы не стали приближаться к планете — это был обледеневший скалистый шар, окруженный плотной корой замерзших газов.

На девятнадцатый день после прохождения орбиты первой планеты «Гея» пересекла плоскость обращения планет Карлика, однако мы не обнаружили космической пыли. Поздним вечером, когда я уже ложился спать, репродукторы предупредили, что обсерватория будет передавать чрезвычайное сообщение. Минуту спустя раздался голос Трегуба, сообщившего, что четверть часа назад «Гея» прошла сквозь полосу газа необычного химического состава и теперь маневрирует, стремясь возвратиться к этой полосе.

Я поспешил одеться и направился на смотровую палубу. Хотя уже пробило полночь, там было полно людей. Далеко внизу, под нашим левым бортом, плыл во мраке Красный Карлик, окруженный венцом огненных языков. Блеск звезды едва достигал одной двадцатитысячной солнечного; космическое пространство казалось наполненным кроваво-красной мглой. Наверху простиралась однообразная тьма.

Вдруг крик вырвался у всех присутствующих. «Гея» вошла в полосу газа, который от столкновения с оболочкой корабля стал светиться; в один миг ее поверхность была охвачена дрожащим бледным огнем, пламя разбрызгивалось и гасло далеко за кормой, и мы продолжали нестись в призрачном сиянии. Вскоре «Гея» вышла из этой полосы и, все продолжая снижать скорость, так что почти неподвижно повисла в пространстве, подняла нос (при этих маневрах, как всегда, казалось, будто пово-

рачиваются до тех пор неподвижные звезды) и вновь попала в полосу невидимого газа. Он был очень разрежен, и, когда корабль шел в этой полосе медленно, газ не светился; лишь когда наша скорость увеличилась до девятисот километров в секунду, ионизированные атомы при столкновении с броней нашего корабля начали вспыхивать, и на стенах смотровой палубы вновь затрепетали бледные языки света.

Между нами появился астрофизик, только что закончивший дежурство. Он рассказал, что газ, в котором мы движемся, был подвергнут анализу и оказался молекулярным кислородом. Это вызвало всеобщее изумление, так как в мировом пространстве скоплений свободного кислорода не встречается.

— Астронавигаторы полагают, — сказал астрофизик, — что мы попали в хвост какой-то исключительно своеобразной кометы, и намерены найти ее. Поэтому «Гея» проникла в глубь газовой полосы и идет, как бы вспарывая ее.

Эта полоса, как выявили несколько часов спустя автоматы, представляла собой кривую. Это подтверждало предположение, что она является газовым хвостом кометы или какого-то космического тела, слишком незначительного по размерам, чтобы мы могли его заметить. Мы гнались за убегающей от нас и все еще невидимой головой кометы двое суток. Лишь поздно вечером на третьи сутки во всех репродукторах вновь зазвучал голос Трегуба, сообщившего, что главный телетактор в девятнадцати миллионах километров от нас обнаружил голову кометы.

Люди хлынули в обсерваторию, однако голова кометы, казавшаяся во мраке еле различимой точкой, долгое время не увеличивалась в размерах. Вечером стало возможно измерить ее: длина головы кометы не превышала одного километра. Астронавигаторы пришли к выводу, что загадке кометы мы посвятили слишком много времени: она представляет большой интерес для астрофизиков, но отвлекает нас от главной цели путешествия, и поэтому нам необходимо лечь на прежний курс. Однако астрофизики вымолили еще одну ночь для погони за кометой; учитывая малую «населенность» пространства в этом районе, мы увеличили скорость до девятисот пяти-

десяти километров в секунду, и «Гея», озаряемая все более сильным пламенем пылающего кислорода, устремилась за головой кометы. В пять часов утра вновь выступил по радио Трегуб. С первых слов, прозвучавших в репродукторах, сердца всех усиленно забились, потому что голос этого всегда владеющего собой человека дрожал:

— Говорит Центральная обсерватория «Геи». Предполагаемая голова кометы является не космическим телом, а искусственным сооружением, подобным нашему звездному кораблю.

Трудно описать возбуждение, охватившее всех, кто был на палубах. Корабль продолжал лететь по прямой вдогонку за убегающей во мраке бледной искоркой. В обсерваториях возникла такая давка, что астрофизики в конце концов вынуждены были попросить часть любопытных уйти. Тогда, вооружившись наблюдательными приборами, какие только можно было достать, все столпились в головной части смотровой палубы левого борта, откуда уже можно было невооруженным глазом видеть точку, медленно двигавшуюся на неподвижном звездном фоне.

Когда разделявшее нас расстояние уменьшилось до тысячи километров, «Гея» направила передающие антенны в сторону чужого корабля и, запустив на полную мощность свои весьма сильные передатчики, послала запрос. Учитывая, что неизвестные существа могут не понять нас, мы непрерывно передавали пифагорову теорему об отношении сторон треугольника и другие простые геометрические чертежи, но наш зов, брошенный в пространство, оставался без ответа. Направленные на корабль приемники молчали. Тогда мы начали сигнализировать светом; из носовых сопел в черный мрак полетели зеленые и синие сигнальные атомные ракеты, которые, взрываясь, вспыхивали серебристым огнем; но чужой корабль продолжал молчать.

После полудня совет астронавигаторов решил послать к кораблю группу автоматов на легкой разведывательной ракете. Тягачи вытащили на стартовую площадку тупую четырнадцатитонную сигару; в нее вошли автоматы в матовых доспехах. Ракета скрылась в стартовом люке, за ней закрылись внутренние створки. Минуту спустя первый астронавигатор нажал кнопку на пюпит-

ре центральной кабины рулевого управления. Раздался глухой мелодический звук, похожий на бой гигантских часов; стальной корпус «Геи» вздрогнул; ракета, выстреленная из носового отверстия, отделилась от корабля, описала вокруг него петлю и, направляемая радиоволнами, понеслась к цели.

Мы пошли на смотровую палубу, чтобы следить оттуда за дальнейшим ходом событий. К сожалению, нам мало что удалось увидеть: над неизвестным кораблем сияли два солнца Центавра, затрудняя наблюдение своим ослепительным блеском. Полоса разреженного кислорода уже не светилась, так как все двигатели «Геи» были выключены, и мы превратились в спутник Красного Карлика. Павел Борель вручил мне бинокль, дающий стократное увеличение. Установив его в передней части галереи и прищуривая глаза от невыносимо яркого света, я увидел, как наша ракета, сверкая атомными выхлопами, разрезает мрак. Наконец она подошла к кораблю так близко, что слилась с ним в одно пятно. Выхлопы ее двигателей погасли; очевидно, она затормозила. Передатчики ракеты были непосредственно соединены с вещательной сетью «Геи», так что каждое сообщение, направленное автоматами, поступало к нам без промедления.

Первое известие пришло через одиннадцать минут с момента вылета ракеты. Оно гласило:

«Неизвестный корабль поврежден».

Через три минуты поступило новое сообщение:

«Стараемся войти внутрь, не повредив оболочки».

Потом наступило молчание. Астронавигаторы послали запрос, но он остался без ответа. Наши сердца замерли в тревоге. Вдруг послышалось одно слово: «Возвращаемся», и мы увидели, как засверкал пущенный двигатель.

Ракета, выполнив обычный маневр, подошла к приемному люку, магниты втянули ее, и она оказалась на первом ярусе пассажирского ракетодрома.

Мы спустились вниз. Двойные створки люка открылись, нос ракеты стал подниматься вслед за тянувшей ракету стальной рукой. За ним показался весь корпус. Механоавтоматы открыли сразу с четырех сторон створки выходных люков. Наступила тишина, в которой был слышен шум еще не выключенного охлаждающего насо-

са ракеты. В открытые люки вышли первые автоматы; они спустились на платформу. Гротриан задал им какой-то вопрос; ответа мы не услышали, до нас донесся лишь крик, вырвавшийся у тех, кто стоял рядом с ракетой. Несколько человек хором закричали сверху:

— Что они говорят?

Гротриан поднял внезапно побледневшее лицо:

— Они говорят, что там находятся люди.

МЕЖЗВЕЗДНЫЕ СИЛЫ АТЛАНТИДОВ

Спустя тридцать минут экипаж «Геи», собравшийся на галерее ракетодрома, смотрел, как Ланселот Гротриан, его ассистент Петр с Ганимеда, Тембхара, Тер-Хаар, инженеры Трелоар и Утенеут входят по трапу в поставленную на стартовую площадку ракету.

Вторую ракету, с инструментами и автоматами, должен был вести один Амета, но в последнюю минуту было решено, что этой группе может понадобиться врач, и выбор пал на меня.

Я стоял рядом с пилотом, и, с трудом преодолевая тяжесть снаряжения, предназначенного для вылазки в безвоздушное пространство, пытался держаться так же непринужденно, как Амета. Ажурная конструкция креплений, рельсы, идущие наклонно к стартовым люкам, корпуса ракет — все отливало нежно-серебристым цветом бериллия, чуть темнее серебра наших скафандров.

Когда закрылся входной люк, большой стальной поршень выдвинулся из стены и втолкнул ракету в стартовый колодец. Раздался приглушенный шум катапульты. Прошло двадцать секунд, прежде чем на сигнальном щите загорелась зеленая лампочка. Поршень отодвинулся и поставил на освободившиеся рельсы вторую ракету. Мы вошли в нее.

Я хотел жестом попрощаться с товарищами, собравшимися наверху, но там царило такое напряженное молчание, что я опустил наголовник шлема и забрался вслед за Аметой внутрь ракеты.

В носовой части ракеты было тесно. Едва я успел улечься рядом с пилотом и затянуть ремни, раздался сигнал, загорелись контрольные лампочки на панели руле-

вого управления, и ракета, которую толкала стальная лапа, вползла в глубь туннеля. Раздался грохот, я внезапно почувствовал, что мое тело стало тяжелее. В круглом иллюминаторе показалось черное небо. Мы летели.

Описывая уставную петлю вокруг «Геи», Амета включил двигатели на малую скорость. Лишь когда мы удалились от корабля, он традиционным движением обеих рук включил рукоятки ускорителей. Я не только услышал, но и ощутил всем телом, лежащем на пружинящей ткани, глубокий мелодичный тон, с каким атомные газы стали вырываться из дюз

Мне хотелось увидеть первую ракету, но для этого надо было посмотреть в иллюминатор тесной кабины. Несколько раз кроваво-красный свет заливал лицо Аметы, а на стеклах измерительной аппаратуры вспыхивали рубиновые искры: это при эволюциях ракеты в иллюминатор заглядывал Красный Карлик, освещая нас своими негреющими лучами Я приподнялся на локтях, но увидел лишь уходящие назад трепещущие языки пламени, которые вырывались из носовых отверстий: замедляя движение, мы выключили тормоза.

Подтянувшись повыше, я внезапно увидел неизвестный корабль. Он был похож на веретено с одинаково заостренными носовой и кормовой частью. Сквозь центр его корпуса я увидел далекую звезду. Вначале я подумал, что неизвестный корабль прозрачен, но сразу понял, что ошибся. Это был не космический снаряд, а примитивный искусственный спутник. То, что мне казалось заостренным корпусом, было в действительности окружавшим спутник кольцом, которое я видел сбоку.

Мнимый корабль увеличивался в размерах с неслыханной быстротой. Это была типичная для межзвездного пространства иллюзия. Амета вновь включил тормоза и произвел поворот. Таинственный корабль проплыл внизу под нами Он был похож на большое колесо со спицами, в центре которого находилась приплюснутая ступица. Он медленно вращался, его трубчатые спицы лениво передвигались по черному фону бездны, как бы перемалывая звезды. В центре сооружения на решетчатой башне возвышалась посадочная площадка. Мы еще описывали круги, а первая ракета уже спустилась вниз Она не осталась на посадочной площадке, а пошла ниже и, ритмически

мерцая огнями двигателей, выровняла свое движение с оборотами кольца корабля, повисла над ним, выбросила из тормозных отверстий короткое пламя, выдвинула магнитные причалы и закрепилась на корабле в том месте, где на его поверхности темнело неправильной формы пятно.

Амета слегка передвинул рычаги. Мы устремились вниз. Плоский диск посадочной площадки рос с огромной быстротой, закрыл небо: казалось, что мы, как пуля, пробьем его насквозь. Подойдя к нему, ракета подняла нос и взмыла вверх. Наша продолговатая тень как молния промелькнула по гофрированной металлической оболочке, озаренной мутно-красным светом Карлика. Теперь, когда мы вновь набрали высоту, я заметил надпись, пересекавшую посадочную площадку:

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ВОЕННЫХ РАКЕТ.

Амета описал петлю и прошел вокруг искусственного небесного тела. Мы находились в плоскости его окружности и двигались по все уменьшающейся спирали. Серебряное кольцо, то освещаемое Красным Карликом, то вновь покрываемое мраком, росло, пока не заполнило весь иллюминатор, закрыв собой черное, усыпанное звездами небо. По мере того как Амета тормозил, свет и тьма чередовались все реже.

В нескольких десятках метров за иллюминатором с быстротой молнии убегала назад металлическая обшивка искусственного небесного тела. На ней темнели какие-то неразборчивые знаки: из-за скорости они казались трепещущими полосами. Из носовых отверстий ракеты вырвался еще раз сноп пламени, и серебристая стена, летевшая навстречу нам, затормозила с такой силой, что эти полосы распались на буквы. Я прочитал:

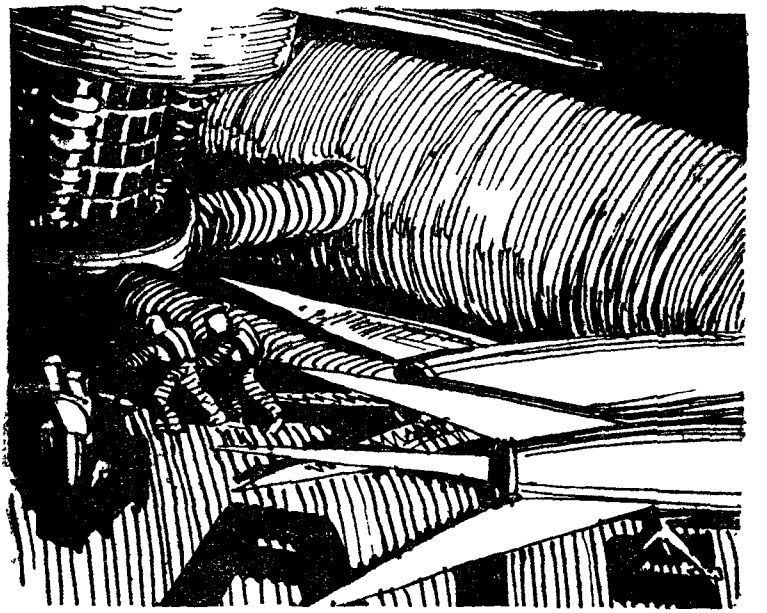
М. С. А. 6.

Амета в последний раз включил тормоза. В свете вылетающего из носовых отверстий бледного пламени можно было прочитать:

М-Е-Ж-З-В-Е-З-Д-Н-Ы-Е С-И-Л-Ы.

В окне промелькнула решетчатая башня и показались новые буквы:

А-Т-Л-А-Н-Т-И-Д-О-В.



Бортовая обшивка проплыла перед нами так медленно и близко, что мы ясно увидели длинные утолщения в местах спайки. Потом показался какой-то знак и снова начались буквы:

М. С. А. 6...

Надпись повторялась. Мы описали полный круг.

— Что значат эти слова? — спросил я у Аметы.

— Не знаю, — ответил он, не поворачивая головы.

Ракета вздрогнула. Мы остановились рядом с первой ракетой. То, что казалось пятном, в действительности было большим отверстием, пробитым в кольце. Товарищей я не видел, они, очевидно, уже вошли внутрь корабля. Амета открыл кормовой люк, выпустил механоавтоматы, отстегнул ремни и вышел наружу.

К поверхности кольца на временных кронштейнах был прикреплен канат. Мы изо всех сил ухватились за него: искусственный спутник, на который мы опустились, вращался, и возникающая центробежная сила легко мог-

ла отбросить нас в пустое пространство. Мы стояли на большом серебристом кольце. Оно медленно поворачивалось вместе с нами: создавалось такое впечатление, будто все сооружение неподвижно стоит под величественно колеблющейся черной звездной сферой. Далеко вверху двигался по орбите огненный шар Красного Карлика. Помост центральной посадочной площадки, приподнятый над уровнем кольца, отбрасывал длинную тень, по временам покрывавшую нас. Я хотел поискать глазами «Гею» — она должна была находиться в направлении звездного облака Стрельца, но Амета уже опустился в отверстие. Я последовал за ним.

Мы очутились в коридоре, проходившем внутри трубчатого кольца. Большое отверстие в нем несомненно пробил навылет какой-то метеорит. По краям этого отверстия стены коридора были сильно исковерканы. Разорванные листы обшивки были зазубрены, а пол сбит в складки, через которые приходилось перешагивать. Размеры деформации свидетельствовали о плохом качестве материала, из которого было построено сооружение.

Мы дошли до первых дверей. Их поверхность была покрыта выпуклыми наростами: впоследствии наши инженеры объяснили, что это так называемые заклепки, которыми когда-то скрепляли друг с другом броневые листы.

Двери были полуоткрыты.

Четыре глубоких штриха на их поверхности свидетельствовали о том, что высланные с «Геи» автоматы проникли внутрь корабля именно здесь. Узким, тесным проходом мы добрались до квадратной комнаты, в которую вели открытые двери. Амета первый прошел туда. Войдя вслед за ним, я увидел остальных товарищей.

Они стояли посреди длинного, довольно просторного помещения. все включили лампы своих скафандров, благодаря чему здесь было достаточно светло. В стенах виднелись маленькие шкафы, в глубине которых поблескивало стекло На двух рядах столов возвышались груды фарфоровых и стеклянных колб, реторт и другой химической посуды; под столами кучами валялись керамические осколки и пузырьки каплевидной формы. В одном углу виднелся застекленный вытяжной шкаф, в другом зияло квадратное отверстие. Кто-то из товарищей напра-

вил вглубь луч света; он отразился в огромных бутылях, наполненных коричневой застывшей массой. Я заметил с удивлением, что потолок, стены и пол этого помещения покрывает свинцовая оболочка. На осколке стекла, упавшем с груды обломков, виднелись какие-то буквы. Я хотел взять его в руки, но Гротриан закричал:

— Не трогать ничего! Идите прямо, вот сюда, — и показал нам проход между столами.

— Что это такое? — спросил я.

Утенеут манипулировал у механоавтомата.

— Это культуры микробов, — ответил Гротриан. — Они могли перенести низкую температуру.

— Но космическое излучение должно было давно убить их... возразил было я, но тут же умолк: мне сразу стало понятно назначение свинцовой обшивки.

Гротриан направил сноп света на синюю облицовку стен.

— Этот панцирь предохранял бактерии от воздействия космических лучей. Впрочем, мы сейчас все подвергнем стерилизации, — сказал он.

Механоавтомат поднял головку излучающего аппарата и выбросил сноп ультрафиолетовых лучей, смертельных для микроорганизмов. Астронавигатор приказал облучить и наши скафандры, после чего мы двинулись дальше.

Мрачный коридор, ведущий вниз, был погружен в абсолютную, всепоглощающую тишину пустоты, и наши шаги угасали без эха. Каждый шаг поднимал с пола клубы невесомой пыли, которая медленно оседала ленивыми волнами, покрывая нас до самых плеч, то искрясь серебром в лучах рефлекторов, то отливая кровавым отблеском в лучах Красного Карлика, падавших через иллюминаторы в потолке. Тогда шлемы идущих впереди меня людей вспыхивали рубиновым светом. Из полупрозрачных клубов пыли выплывали стены и предметы, покрытые сизым налетом. Помещения были тесны; казалось, это кольцо строили какие-то пигмеи, так загромождено было оно всякими перегородками и аппаратами, так низко надо было наклонять голову в дверях. Мы прошли через какой-то склад, заваленный стальными бутылями. Далее снова потянулся коридор. Он кончался дверями размером несколько побольше остальных. Тот, кто шел впереди, стер рукавицей белый налет с висевшей над ним таблицы; на ней было написано:

Добро пожаловать, ребята, во Вселенную атлантидов!

Гротриан толкнул створку двери и замер на пороге, преградив путь остальным. Я заглянул через его плечо внутрь помещения. Лучи наших ламп осветили высокую комнату, с обеих сторон заставленную конструкциями, которые я сначала принял за клетки. Это были многоэтажные койки. Тут же у ног Гротриана, обутых в серебристый металл, лежало что-то, похожее на полупустой мешок из зеленоватого брезента. Я вздрогнул.

Это был человек. Он лежал навзничь, с полусогнутыми ногами, прижав руки к телу. Его лицо скрывал шлем. Он был мертв уже много веков. Неужели это он так поразил Гротриана? Но астронавигатор смотрел не на него, а на противоположную стену. Там виднелось изображение нагой женщины. Она сидела на спине большой черепахи, заложив ногу за ногу, касаясь цветком своей обнаженной груди, и улыбалась. На ее ногах были странные башмаки с каблуком, имевшим форму острого клюва. Ногти были окровавлены. Красные губы, раздвинутые усмешкой, открывали очень белые зубы. В этой усмешке было что-то невыразимо скверное. Я отвернулся. Позади меня стоял Тер-Хаар. За стеклом шлема я увидел его лицо. Оно было сурово и бледно.

— Что это значит? — спросил я, невольно переходя на шепот.

Никто не ответил.

Гротриан перешагнул через труп и вошел внутрь комнаты. Мы двинулись за ним по узкому проходу между похожими на клетки койками. Астронавигатор безуспешно попытался открыть следующую дверь и вызвал механоавтомат, который коротким ударом раскрыл створки двери. От толчка прикрепленная к стене картина с обнаженной женщиной упала.

Пыль, мешавшая мне видеть того, кто шел впереди, густела, чем ниже мы спускались в каюты, лишенные окон. Лампы мерно колебались в такт нашим шагам, освещая трупы, над которыми висели картины, изображавшие женщин. В висках у меня стучала кровь, горло сжималось.

Однажды мне приснился сон, будто после долгой прогулки в темной, пустынной местности я встретил человека, который подошел ко мне и дружески подал руку. Вглядевшись поближе в его улыбавшееся, доброе лицо, я внезапно увидел, что это не человек. Внутри искусственно натянутой кожи находилось неизвестное существо, которое двигало ее изнутри; оно растягивало губы в добрую улыбку и наблюдало за мной через глазные отверстия холодным, тупым и одновременно торжествующим взглядом. И вот теперь, двигаясь в облаках пыли, представлявших собой замерзший в пустоте воздух, я вновь попал под действие такого же кошмара. Между беспорядочным скоплением предметов, которые освещали наши лампы, лежали, стояли на коленях, сидели замотанные в одеяла и ткани мумии, по двое, по трое, судорожно схватившись друг за друга. Их зубы блестели, их лица, засыпанные снежной пылью, были лишены человеческого выражения.

Такие катастрофы могли случаться несколько веков назад, это можно было понять. Но картины на стенах? На них были изображены обнаженные женщины, злобно, искоса смотревшие на нас из-под опущенных век. Их белые, тонкие пальцы заканчивались ногтями, похожими на капли крови. Неужели это тоже были люди?

В глухом молчании мы переходили из одной каюты в другую. Миновали камбуз, где на белом кафельном полу

валялись груды пустых банок и сухих костей, а из блестящих кранов свисали ледяные сосульки. Мы прошли в следующую секцию коридора. Еще одни двери. Перешагнув через порог, я увидел у противоположной стороны восемь высоких серебристых фигур: это были наши отражения в зеркале, закрывавшем всю стену. В комнате был хаос. Между разбросанными трехногими стульями, обитыми красной кожей, на замерзших лужах разноцветных напитков и бутылках лежали мумии. Ближайшая к ним прислонилась головой к бочке, из которой жидкость вытекла и превратилась в зеленоватый лед. Одной рукой мумия прикрывала лицо, другой сжимала короткую, оксидированную металлическую трубку. Зеркало было испещрено многочисленными отверстиями, окруженными волнистыми трещинами в стекле. В потолке зиял открытый люк. К нему вела лесенка. С ее нижней ступени, согнувшись почти пополам, свисали два тела. Я обернулся. Стену покрывала большая картина. На голубом фоне, среди пенистых белых облаков парили розовые тела женщин.

— Что это такое? — спросил я и не узнал собственного голоса.

— Это атлантиды, — ответил Тер-Хаар и, словно объяснив этими словами все, обошел меня, отстранил тела, свисающие с лестницы, и стал подниматься вверх.

Мумии опустились на бок. Головы их были обмотаны полосами, оторванными от одеял.

Чья-то сердобольная рука прикрыла их куском грубого полотна. Мы поднялись наверх и в полумраке опустились в тесный колодец, который вел в центральную камеру. Здесь надо было передвигаться, держась за тонкие металлические канаты, прикрепленные к стенам. Центробежная сила действовала все слабее. Коридор закрывали массивные бронированные двери; после того как была стерта тонкая полоса налета, мы увидели надпись, сделанную красными буквами:

АТОМНЫЙ ОТСЕК. ОПАСНОСТЬ РАДИАЦИИ!

Действовать режущими орудиями было бы слишком долго; поэтому Гротриан вызвал автоматы, снабженные горелкой. Голубое пламя вгрызлось в металлическую плиту. Сталь покраснела, вниз полетели чешуйки обуг-

лившегося лака; линия выреза слегка изгибалась. Наконец броня была прорезана по всей длине; оба автомата сначала нажали на нее, потом потянули к себе. Большой кусок стали медленно наклонился и открыл вход.

Гротриан вошел первым. В помещении было темно. Лучи рефлекторов блуждали по каким-то отсекам и нишам, невесомость затрудняла ориентировку. Благодаря магнитным присоскам мы могли ходить, но полностью заменить тяжесть эти присоски не могли. В пустом пространстве поднимались и медленно проплывали мимо нас какие-то крупные сосуды, похожие на пузатых рыб; от их полированной поверхности отражался свет наших фонарей. Лишь когда механоавтоматы собрали и закрепили эти летающие сосуды и включили мощный юпитер, мы увидели, что находимся в глубине сводчатой камеры. С потолка свисал кран, удерживавший почти четырехметровую ракету с грубыми стабилизаторами. Когда рефлектор в головке автомата описал круг, стало видно, что в темных нишах стоят грушевидные сосуды. Их было около тридцати. Узкие рельсы вели от каждой ниши к поворотному кругу под кран.

Гротриан спросил у Тер-Хаара:

— Бомбы, правда?

— Да, — ответил историк. — Урановые.

Гротриан вызвал механоавтомат и приказал ему просветить грушевидные сосуды рентгеновскими лучами. Мы зашли с другой стороны, чтобы взглянуть на флюоресцирующий под действием рентгеновских лучей экран. Я заметил, что под краном в полу имеется углубление, в котором находился открытый люк. Нагнувшись, я заглянул в зияющее отверстие и увидел мерцающие звезды.

Механоавтомат дал ток. На засверкавшем зеленоватым светом экране появилась тень внутренней конструкции сосуда. К ее центру концентрическими кругами сходились четырнадцать или шестнадцать труб (их тени могли покрыть одна другую). Вверху трубы соединялись кабелем. Утенеут нашел его на внешней поверхности сосуда. Там был маленький колпачок, открывающийся при помощи пружины; внутри него был контактный рычажок и больше ничего.

Гротриан запретил нам прикасаться к чему бы то ни было. Мы вышли через отверстие, проделанное автома-

тами в броне, и вернулись в большое помещение с зеркалом. Отсюда дорога вела по коридору в маленькую каюту, куда под потолком сходились пучки проводов в оболочках, покрытых инеем. На стенах виднелись мраморные распределительные щиты с рядами контактов; это была очень старая вакуумная вычислительная машина. Под щитами стояли трехногие стулья, на них, скорчившись, с наушниками на головах сидели четверо. Лица этих людей были скрыты масками. Четвертый свесился со стула, его шлем свалился с головы, и посеребренные осевшими кристаллами воздуха волосы касались пола.

Следующий отрезок коридора был устлан мягкой толстой дорожкой. Он вел к двери, на которой были мелкие серебряные буквы:

Главнокомандующий, генерал-лейтенант Джон Мак-Мерфи.

Я выполню свой долг.

Глазам открылась большая комната. Сквозь два круглых иллюминатора в потолке падал красноватый свет Карлика, смешавшийся теперь с белым светом наших ламп. В комнате стояли застекленные шкафы со старыми книгами, громоздкие кресла. На одной стене висела карта Земли в устаревшей проекции Меркатора; Евразию окружала жирная красная полоса. Поперек всего материка была надпись:

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ЗОНА

На остальной части света черными буквами было написано:

ЗОНА СВОБОДНОГО МИРА

В широком кресле за письменным столом сидел человек. Он, вероятно, был высокого роста. Его вытянутые ноги высовывались из-под стола. Голова была откинута назад, и острый кадык торчал, окруженный белым мехом воротника. Как и все члены экипажа, мумия была одета в кожаную куртку; уголки воротника были украшены четырьмя золотыми звездочками. Перед ней среди покрытых инеем бумаг стоял стакан, наполненный льдом. С правой стороны находился пустой кожаный футляр, а на книге, на которой золотыми буквами было написано: «Святая библия», лежал оксидированный предмет с короткой трубкой. Когда я подошел ближе, мне показа-

лось, что командир мертвого корабля улыбается. Я обошел вокруг письменного стола и заглянул в его темно-серое, покрытое инеем лицо. Оно не выражало ничего. Под судорожно приоткрытыми губами виднелись зубы, между которыми были какие-то сверкающие осколки. Я наклонился, невольно затаив дыхание, и увидел, что это куски стеклянной трубки. Кто-то положил мне руку на плечо. За мной стоял Тер-Хаар.

— Пойдем, — сказал он.

И я лишь теперь заметил, что мы одни в комнате.

С порога я еще раз оглянулся. Красный свет Карлика освещал лицо мумии как бы в бесплодной попытке оживить ее. Высохшая, сморщенная, она, казалось, не имела возраста, была всегда мертвой, словно в ней никогда не бежала живая кровь.

Мы вошли в пустое помещение. Под потолком тянулись пучки параллельных труб, у стен блестели бутыли, вделанные в металлические стояки. Здесь собрались все наши товарищи.

— Этот искусственный спутник, — сказал Гротриан, — покинул Землю больше одиннадцати веков назад. Атлантиды намеревались рассеивать с него бактерии и метать атомные снаряды. Чтобы лучше прицеливаться, они устроили в нем ракетное приспособление, позволявшее переходить с орбиты, более близкой к Земле, на другую, более отдаленную. Какая-то ошибка в расчетах привела к тому, что корабль сошел с намеченной орбиты. Так начался его полет в пространстве. Через несколько сот лет он попал в сферу притяжения Проксимы и стал одним из обращающихся вокруг нее тел.

Слушая рассказ Гротриана, я невольно представлял себе, как замкнутые в металлическом кольце люди падали в ледяную бездну, как медленно стыла в них кровь, как боролись они за жизнь и тепло.

С момента смерти последнего из них прошли сотни лет, а стальной корабль продолжал неутомимо кружиться вокруг остывающей звезды, неся на себе оледеневший экипаж.

— Они пожали то, что готовили другим. Хотя страдания, какие они перенесли перед смертью, не могут искупить попытки уничтожить человеческий род, тем не менее я считаю, что мы не должны ни углубляться в детали этой древней трагедии, ни тревожить останки людей. По-моему, мы должны уничтожить этот корабль. Не надо, чтобы кто-нибудь мог видеть то, что увидели мы. Поэтому решение необходимо принять безотлагательно. Тер-Хаар?

— Согласен с тобой.

— Утенеут?

— Присоединяюсь к твоему плану.

— Трелоар?

— Согласен.

— Амета?

— Я не уверен, что ты прав, — сказал пилот, — но не буду противоречить большинству. Не знаю, имеем ли мы право забывать обо всем этом.

— Мы не забудем, — возразил Тер-Хаар, — тем более что я соберу все документы и материалы, представляющие интерес для исторических исследований.

Казалось, что Амета хочет сказать еще что-то, поэтому Гротриан вопросительно посмотрел на него, но пилот сделал шаг назад и отвернулся. Астронавигатор посмотрел на меня — последнего из группы. Я молча кивнул головой. Тер-Хаар, взяв себе на помощь инженеров, отправился в каюту командующего. Гротриан вышел, чтобы связаться по радио с «Геей», а я двинулся вперед без определенной цели. Когда я еще раз проходил по коридору, меня вновь охватило чувство, будто я вижу кошмарный сон: жизнь не могла быть так страшна, как то, что мы видели. Я остановился, вслушиваясь в мертвую тишину; мне показалось, что я остался один. Я не боялся трупов: хуже было соседство ярких картин, где над голо-

вами покрытых инеем мумий улыбались обнаженные женщины.

Я пошел скорее, почти побежал, и увидел падающие из полуоткрытых дверей полосы света. Я остановился на пороге.

Это было просторное помещение. Против двери находилась высокая полукруглая ниша. В ней стоял резко выделявшийся на белом фоне черный деревянный крест. У ниши стояла коленопреклоненная, с лицом, прижатым к полу, мумия. Ее плечи прикрывала черная ткань. Эта мумия, похожая на замерзшую груду земли, отбрасывала на белую стену бесформенную тень. В глубине отсека стоял Петр с Ганимеда. Его нагрудная лампа ярко освещала крест. Петр, со скрещенными на груди руками, стройный, огромный, одетый в серебристый скафандр, долго смотрел на этот символ суеверия.

КРАСНЫЙ КАРЛИК

Гротриан оставил механоавтоматы в камере атомных бомб. Потом ракеты одна за другой взмыли и описали вокруг корабля положенный круг. Перед нашими глазами вновь проплыли черные буквы: «Межзвездные силы Атлантидов». Ракеты повернулись носом к «Гее», ускорили ход, и мы скоро очутились на ее палубе.

Многочисленные зрители, собравшиеся на ракетодроме, перешли на смотровую палубу, чтобы наблюдать оттуда за гибелью искусственного спутника Земли. Отправились наверх и мы. Через десять минут механоавтоматы сообщили, что установили взрывную радиоаппаратуру, после чего за ними была выслана ракета. Когда они вернулись на «Гею», в репродукторах раздался спокойный голос Тер-Акониана:

— Внимание... осталось четыре минуты... три минуты... полторы минуты... сорок секунд... пять секунд.

Сердца забились быстрее. Мы молча всматривались во мрак, где смутно виднелось кольцо корабля атлантидов.

— Внимание... нуль... — раздался голос первого астронавигатора.

Темноту прорезал ослепительный свет. Огромный шар

вспыхнул, погасив звезды, стал увеличиваться в объеме и бледнеть. В глазах еще мелькали яркие пятна, а в шестистах километрах от «Геи» уже расплывался грязно-белый клуб дыма.

Я считал, что с кошмарной встречей все покончено, но вечером Гротриан вызвал меня к себе; у него собрались все, кто был на искусственном спутнике.

Возвратясь на «Гею», мы в специально отведенной для этого камере сняли скафандры, после чего они были подвергнуты тщательному бактериологическому исследованию. Гротриан сказал нам, что анализ подтвердил стерильность скафандров.

По окончании своего сообщения он с минуту смотрел на нас, как бы не решив, говорить ли ему дальше.

— Я хотел бы сообщить вам один странный факт, — наконец сказал он. — Если вы помните, я один касался атомной бомбы — той, единственной, которую мы просвечивали рентгеновскими лучами. Как показал микрохимический анализ, на правой перчатке моего скафандра остался мельчайший след астрона...

Видя, что мы не понимаем всей важности его слов, Гротриан тихо продолжал:

— Мое внимание привлекло то обстоятельство, что при просвечивании бомбы на экране, еще до того, как автомат включил рентгеновскую трубку, появилась очень бледная тень конструкции. Эту слабую тень не могло вызвать собственное излучение помещенного в бомбе урана-235, поскольку он не выделяет достаточно жестких лучей, способных проникнуть сквозь стальную оболочку. Поэтому мне пришла в голову мысль, что бомба перед этим была подвергнута обработке порошком какого-то элемента, выделяющего гамма-лучи. Поэтому я собрал перчаткой немного пыли с его поверхности. Анализ показал следы астрона... Не подлежит сомнению, что искусственный спутник построен в XX веке, когда люди еще не знали астрона и не умели синтезировать его. Таким образом, атлантиды не могли иметь его на борту своего корабля. Впрочем, если бы даже это было и не так, астрон, жизнь которого измеряется десятками лет, распался бы за тысячелетие и нам не удалось бы его обнаружить. Астрон не встречается в межзвездном пространстве; его пыль осела на оболочке бомбы не очень давно, во всяком

случае не более шестидесяти лет назад. Следовательно...

Затаив дыхание мы вглядывались в лицо астронавигатора, который потер рукой лоб и осторожно продолжал:

— Перед нами здесь открывается поле для догадок, которые пока невозможно подтвердить и трудно уточнить, но самое простое логическое рассуждение сводится к следующему. На вопрос, для какой цели была опылена астроном поверхность бомбы, мы знаем лишь один ответ: астрон, выделяющий жесткие гамма-лучи, может с успехом заменить рентгеновские лучи. На второй вопрос — откуда пыль астрона могла оказаться на спутнике атлантидов, напрашивается ответ: астрон доставили туда существа, хотевшие ознакомиться с внутренней конструкцией атомных бомб. Поскольку живые люди до настоящего времени никогда не посещали этих районов Галактики, существа, которые проделали это, не были людьми...

— Значит, тут кто-то побывал до нас! — вырвалось у Аметы, который был взволнован не менее других.

— Это не бесспорно, но весьма правдоподобно, — сказал Гротриан. — Чтобы дать другое объяснение фактам, которые я привел вам, пришлось бы допустить крайне необычные стечения обстоятельств.

— Но ведь пол и стены спутника покрывал иней, на котором отпечатывался каждый наш шаг, — сказал я, — как же эти существа могли не оставить после себя ни малейших следов? Кроме того, насколько можно судить, там ничто не было сдвинуто с места. Между тем разве не ясно, что эти существа пожелали бы тщательно исследовать и мумии и конструкцию корабля?

— Я думал об этом, — сказал Гротриан. — Но эти существа, если они и производили исследования — а об этом свидетельствует присутствие астрона, — не оставили после себя никаких следов...

На мгновение я представил себе образ неведомых созданий, не подчиненных силе тяготения. Не прикасаясь ни к полу, ни к стенам, они двигались когда-то по тем же закоулкам искусственного спутника, по которым недавно проходили мы. Я почувствовал дрожь. Астронавигатор продолжал:

— Что же касается нетронутой поверхности инея, то надо вспомнить, что спутник обращался вокруг Проксимы по очень вытянутой эллиптической орбите, подобной орбите кометы. Когда он на своем пути приближался к Карлику — а, как показывают подсчеты, он находился от него в перигелии в сорока миллионах километров, — он начинал разогреваться, и тогда замерзший в резервуарах кислород превращался в газ и улетучивался, так как сосуды, в которых он хранился, не были плотно закрыты. Таким образом и возник тот своеобразный газовый хвост, благодаря которому мы вообще открыли существование спутника. Когда же, удаляясь от Карлика, он уходил во мрак, выделявшийся газ замерзал и, оседая, покрывал все инеем. Таким образом новые наслоения инея, образовавшиеся при последующих обращениях вокруг Проксимы, могли скрыть следы посещения. Мы взяли пробу этого инея, и исследование показало, что он действительно таял во время приближения к Карлику и вновь намерзал в афелии. Это происходило периодически при каждом обращении, которое длилось около двенадцати земных лет. Помимо того, неизвестные существа могли проникнуть в атомную камеру непосредственно через полуоткрытую створку бомбового люка; мне это представляется даже более вероятным, поскольку бронированные внутренние двери оставались неприкосновенными. Однако нельзя сказать с уверенностью, были ли створки бомбового люка отодвинуты человеческими руками, или нет.

— Как в таком случае они могли бы узнать, куда им нужно двигаться, и почему, не заходя в корабль, они сразу же направились в атомную камеру? — спросил я.

— Может быть, они раньше просветили снаружи весь корабль, — ответил Гротриан. — Я предпочитаю, впрочем, не углубляться в дальнейшие предположения, поскольку чем дальше, тем более шаткими они становятся и тем меньше фактов можно привлечь для их обоснования. Однако мысль о том, что до нас на этом корабле побывали какие-то живые существа—высокоразвитые, использующие технику излучения, как об этом свидетельствуют следы астрона,—кажется мне довольно правдоподобной.

— А откуда могли взяться эти существа? — спросил Тер-Хаар. — Есть у тебя какая-нибудь гипотеза на этот счет?

— Ничего не знаю. Может быть, они прибыли с ближайших систем, с одной из планет Проксимы, — впрочем, они, кажется, не населены — или с систем Центавра... Ничего определенного по этому вопросу сказать нельзя.

— Астронавигаторы знают обо всем? — спросил я.

— Конечно.

— Возможно, мы поторопились уничтожить этот спутник... — заметил Тер-Хаар. — Можно было бы провести более тщательные исследования...

— Сомневаюсь, что это дало бы нам что-нибудь. Впрочем, нет нужды говорить о том, чего нельзя вернуть. Это все, что я хотел вам сказать. Товарищам мы все сообщим немного поздней, когда приступим к исследованию планет. А теперь, как вам известно, мы направимся к Красному Карлику и подойдем к нему как можно ближе.

Красный Карлик давно уже интересовал астрономов. Эта слабая звезда, по своим размерам значительно уступающая Солнцу, с температурой около трех тысяч градусов, вспыхивает через определенные промежутки времени, многократно усиливая свое свечение. Астрофизики объясняют это изменением атомных процессов, происходящих внутри звезды. Профессор Трегуб как-то пошутил, что эти вспышки, возможно, являются результатом «экспериментальных работ существ, населяющих ближайшую планету. Они недовольны низкой температурой своего солнца, стремятся поднять ее и разгребают кочергой разогревающий его очаг».

По широкой кривой «Гея» неслась к Красному Карлику. Его багряный диск все увеличивался в размерах. Уже на восьмой день он стал приблизительно равен нашему Солнцу. На десятый на корабле пришлось включить гелиевые холодильники, так как температура поднялась очень высоко.

Все больше людей стало появляться на палубах, рассматривая сквозь темные стекла красное солнце. Мы пока не заметили никакой вспышки. Палубы были залиты

однообразным пурпурным светом, который с каждым днем становился все сильнее.

Меня самого этот полет интересовал мало. Я долго и безрезультатно думал над словами Гротриана. Наконец, однажды вечером я набрался храбрости и пошел к Трегубу. Мне хотелось узнать, что он скажет об этом. Астрофизик терпеливо выслушал меня и ответил:

— Мой дорогой товарищ! Я понимаю, почему ты пришел именно ко мне. Я обязан твоим визитом славе самого смелого из всех смельчаков, когда дело касается создания гипотез. Должен тебе объяснить, откуда берется эта слава. Я считаю, что науке для ускорения ее развития и уточнения понятий нужны споры. Мне неоднократно случалось оказываться в научных спорах неправым, но почти всегда — сознательно или бессознательно — мои оппоненты вынуждены были в ходе дискуссии дополнять и уточнять отдельные стороны той точки зрения, которую они защищали. Поэтому их теории становились более разработанными, более простыми и более точными. Это, конечно, не означает, что я стараюсь любой ценой быть в оппозиции, но я часто нахожусь в ней, и это связано для меня с большим риском. Впрочем, если я чего-нибудь да стою, то лишь потому, что не боюсь этого риска. Однако я думаю, что гипотезу, с которой ты пришел ко мне, дальше развивать нельзя. Каковы факты? Полуоткрытое отверстие бомбового люка да несколько микрограммов астрона на одной из бомб — вот и все. А ты хотел бы не только узнать внешний вид существ, которые якобы посетили спутник, но и услышать от меня что-нибудь об их психологии. Я не буду рассказывать сказки!

Волей-неволей я отказался от намерения решить эту задачу, но забыть ее совсем мне не удалось: загадочные существа преследовали меня во сне то в виде студенистых облаков, похожих на надутые ветром паруса, то в виде бронированных восьмигранников. Амета заметил, что мое воображение попросту создает комбинации известных мне образов, да иначе и быть не может: мы не в состоянии вообразить ничего, кроме того, что нам уже известно, или сочетать знакомые нам отдельные детали.

Через две недели после того, как мы свернули к Карлику, его диск закрыл десятую часть неба. Астрофизики почти не покидали своих обсерваторий.

На восемнадцатый день утром я вышел на палубу и почувствовал, как пышет сквозь стены жар. Диск красного солнца, казалось, стоял неподвижно. Его вращение можно было угадать лишь по величественному движению темных пятен, окруженных венцом пламени. Хотя холодильники работали на всю мощь, температура на корабле поднималась на одну пятую градуса в час, и к полудню термометры уже показывали тридцать два градуса по Цельсию. На смотровой палубе было трудно дышать: холодный ветер, который направляли туда вентиляторы, не мог побороть жару.

Небо над «Геей» в результате оптической иллюзии или действительного рассеивания лучей Карлика в межзвездной пыли, окрасилось в цвет застывшей крови. Алый мрак едва преодолевали самые яркие звезды. Астронавты приходили на палубу и сразу же уходили, залитые пóтом, задыхающиеся; они словно уносили в своих воспаленных глазах отражение огненных лучей.

Иногда красное солнце казалось огромной воронкой с загнутыми краями. Со дна воронки поднимались протуберанцы; одни так медленно, что изменения в их формах нельзя было уловить глазом; другие скачками, словно из хромосферы вздымались огненные гады. Дугообразная линия диска Карлика отделялась от темного неба колеблющимися языками пламени.

В этот день даже во внутренних помещениях температура достигла сорока градусов. Вечером в амбулаторию явился второй ассистент астронавигатора Пендергаста, молодой Канопос. Он жаловался на сильную боль в голове, ломоту в спине и общую слабость. Пульс у него был странно замедлен. Я назначил ему возбуждающее и поставил Ирьолу в известность о том, что, по моему мнению, болезнь Канопоса была вызвана резким повышением температуры на корабле. Я поместил больного в изолятор, где температура поддерживалась на уровне двадцати пяти градусов, — на палубах она за ночь поднялась до сорока четырех градусов.

На следующий день состояние Канопоса меня весьма встревожило. Температура повысилась, селезенка набух-

ла, общее самочувствие ухудшилось, анализ крови показал уменьшение количества лейкоцитов. Около полудня больной начал бредить.

Средства, примененные мной, не принесли улучшения, поэтому я вызвал на консилиум Шрея и Анну. Характер болезни был для нас непонятен. После консилиума я пошел к Ирьоле и категорически потребовал прекратить полет по направлению к солнцу. По плану мы должны лететь к Красному Карлику до тех пор, пока температура на корабле не достигнет пятидесяти шести градусов, а она пока не превышала сорока семи; несмотря на это, я продолжал настаивать на своем. Трегуб обратил мое внимание на то, что, помимо Канопоса, никто до сих пор не заболел, и спросил, совершенно ли я уверен в том, что заболевание Канопоса связано с повышением температуры на корабле. Хотя я и не был в этом уверен, но продолжал настаивать, и астронавигаторы решили уступить мне. В три часа пополудни «Гея» уменьшила скорость, произвела поворот, описав при этом дугу большого радиуса, и начала удаляться от Карлика со скоростью в пятьдесят километров в секунду.

Состояние больного ухудшалось. Я сидел около него до полуночи; он бредил, температура поднялась до сорока градусов, сердце начало слабеть, как бы под влиянием таинственного яда. Я провел две ночи на ногах и так устал, что почти не мог сопротивляться сну; в два часа меня сменила Анна. Я отправился к себе, чтобы поспать несколько часов, но в четыре часа раздался телефонный звонок.

Полусонный, услышав слова Анны: «Острая сердечная недостаточность, состояние угрожающее», — я вскочил с постели, набросил халат и побежал в больницу.

Больной был без сознания. Дыхание со свистом вырывалось из его запекшихся губ; все тело содрогалось от сухого мучительного кашля; стрелка пульсометра показывала свыше ста тридцати ударов. В ход была пущена кислородная аппаратура, уколы, поддерживающие кровообращение; я решил было применить искусственное сердце, но это было совершенно противопоказано из-за признаков общего отравления. Я разбудил Шрея, тот явился через несколько минут. Втроем мы еще раз пытались установить причину таинственного заболевания.

Было уже совершенно ясно, что оно не имеет ничего общего с тепловым ударом. Мы вновь произвели анализ крови на микробы (на «Гее» их совершенно не было, но мы считались с возможностью заноса болезнетворных микроорганизмов с искусственного спутника атлантидов), но он дал отрицательный результат.

Сделав все, что было возможно, я вышел на несколько минут на пустую — было около пяти часов утра — смотровую палубу. Был слышен глухой, монотонный шум работавших на полную мощность холодильников. Я шел задумавшись, не обращая внимания на вид за окнами; вдруг прямо в глаза мне ударил свет. Я остановился.

В первую минуту я увидел лишь красное пламя — не неподвижную, тяжелую массу раскаленной стали, а полужидкий, клочковатый океан хромосферы. На нем поднимались багровые леса, сквозь гущу которых пробивались протуберанцы; они разветвлялись, множились, росли, превращались в огненных чудовищ, горевших кровавым пламенем, в какие-то ужасные рожи — их светящиеся челюсти то открывались, то закрывались. Они существовали несколько минут, затем рассеивались, а на их месте со дна, как бы взбудораженного невидимым вихрем, всплывали новые. Иногда взрыву протуберанцев предшествовало появление двух вращающихся в разные стороны огненных столбов, более темных, чем окружающий океан. Кое-где поверхность начинала колебаться, потом внезапно разбухала и выбрасывала молнии, которые взлетали с ужасающей быстротой и затем становились слабее и бледнее; сквозь их сияние просвечивали нижние слои непрерывно колеблющейся хромосферы.

Это было неописуемое зрелище. После нескольких лет беспредельного мрака пустоты, в которой каменел от холода самый летучий газ, я видел теперь за хрупкой стеной «Геи» гигантский мир огня, в котором, казалось, распадался, таял наш корабль — ничтожная крупинка металла, повисшая над ослепительной бездной.

«Как безжалостна Вселенная! — подумал я. — Как мало в ней уголков, где могла бы зародиться и существовать жизнь; как слаба и беспомощна эта жизнь против огня и холода, этих двух полюсов бытия! И все же, —

думал я, — как много может совершить эта слабая жизнь!..»

Мои мысли вновь вернулись к больному, и внезапно у меня мелькнула ужасная догадка. Невзирая на раннюю пору, я немедленно отправился к Гротриану и спросил, были ли подвергнуты стерилизации по возвращении на «Гею» автоматы, побывавшие до нас на спутнике атлантидов.

Астронавигатор встревожился. Он немедленно позвонил Ирьоле. Минуту спустя мы получили ответ: автоматы подверглись стерилизации лишь после нашего возвращения на корабль; таким образом, они могли почти три часа соприкасаться с людьми.

— Но ведь вы утверждали, что заражение болезнетворными микробами исключено! — сказал Гротриан.

Я молчал. Гротриан подошел к аппарату и стал звонить специалистам; вскоре явились Тер-Хаар, Молетич и палеобиолог Ингвар. Астронавигатор коротко сообщил им факты.

Когда он закончил, внезапно вскочил с места Ингвар.

— Вирусы! — крикнул он. — А вы исследовали кровь на вирусы?

— Нет, — ответил я побледнев.

Мы не подумали о такой возможности. Это была роковая, но понятная ошибка: последние вирусы исчезли с Земли девятьсот лет назад.

Я попросил Гротриана узнать, сталкивался ли Канопос с автоматами до того, как они подверглись стерилизации, и вернулся в больницу.

Больной продолжал оставаться без сознания. Одышка усиливалась, веки и пальцы посинели, пульс упал до пятидесяти ударов в минуту. Анна, отчаявшись, беспрерывно давала кислород. Я взял кровь из локтевой вены и передал ее автоматам-анализаторам. Я вынужден был дать им точную инструкцию, как действовать: они не были приспособлены для выполнения подобных исследований. В крови больного были обнаружены мелкие тельца диаметром в две десятитысячных миллиметра. Уже поверхностное исследование показало, что это болезнетворные микроорганизмы. Наш товарищ был заражен вирусами, принесенными автоматами с искусственного

спутника. Еще раз я разбудил Шрея, чтобы сообщить ему об этом. Он немедленно явился в больницу вместе с Ингваром и еще одним палеобиологом — специалистом по древней микрофлоре. По материалам трионовой библиотеки мы быстро определили микроорганизмы: это были вирусы так называемой мраморной болезни, страшной инфекции, свирепствовавшей на Земле более тысячи лет назад.

Мы были в аналитической лаборатории, когда нас вызвала Анна.

— Агония, — сказала она.

Наш товарищ умирал. Пульс был уже неразличим, лицо сделалось пепельно-серым, дыхание с трудом вырывалось из горла. Мы снова произвели переливание крови, пробовали разгрузить сердце, но все было напрасно. Тогда, выполняя высшую обязанность врача, мы попытались вернуть ему на несколько минут сознание, чтобы он мог выразить последнюю волю, но нам и этого не удалось. Отравленный ядами мозг потерял господство над телом. В десять часов шесть минут его дыхание прекратилось.

Это был первый случай смерти от болезни на нашем корабле. Мы вышли из больницы, подавленные понесенным поражением; если бы мы раньше распознали причину болезни, нам, вероятно, удалось бы ее побороть. Теперь следовало подготовиться к возможной вспышке эпидемии. Гротриан сообщил нам, что Канопос действительно соприкасался с автоматами; именно он привел их в лабораторию астронавигаторов, где их ответы были зафиксированы на трионах. Автоматы заразились культурой вируса, проходя через обитые свинцом лаборатории искусственного спутника. Они не приняли необходимых мер предосторожности — их конструкторы не предусмотрели подобного случая.

Мы изолировали всех, кто соприкасался с Канопосом в последние дни. Опасность заразы была очень велика: наш организм, не привыкший в земных условиях к борьбе с болезнетворными микробами, оказывал им весьма слабое сопротивление. В то время как биологи и химики анализировали белковую структуру вируса, я обследовал всех подозрительных. Кровь одиннадцати человек содержала опасные микроорганизмы. Синтетизаторы получи-

ли приказ изготовить вещество, убийственное для вируса, но безопасное для человека; приведенные в действие вечером, они уже к полуночи дали первую порцию лекарства. На следующий день мы снабдили этим препаратом весь экипаж «Геи». Опасность эпидемии была подавлена в зародыше.

Вечером на смотровой палубе я встретил Тер-Хаара и Нильса Ирьолу.

Нильс спрашивал меня о последних минутах Канопоса, который был его другом.

— Подумайте, — сказал Тер-Хаар, когда я закончил свой рассказ, — они поразили свою последнюю жертву тогда, когда последняя пылинка от них уже рассеялась в пространстве...

Мы молчали. Позади, за кормой «Геи», горел огненный Карлик. Багряный свет лежал на потолке палубы, на лицах людей, отражался в их глазах...

ПЛАНЕТА ПЕСЧАНЫХ БУРЬ

«Гея» летела к двум солнцам-близнецам Центавра. Солнце А имеет планетную систему, состоящую из двух групп — внешней и внутренней, очень похожую на планетную систему Земли. Солнце Б не имеет планет в собственном значении этого слова: его окружает огромный рой астероидов и метеоритов; самые крупные из них почти равны по величине Земле и Луне. Астрофизики назвали это солнце «свалкой двойной системы». Оно как бы втянуло в свою орбиту осколки, оставшиеся после образования планетной семьи Телемаха.

В эти дни, наполненные событиями, планетологи почти не покидали обсерватории. В нашей солнечной системе давно было измерено и взвешено все, что хоть немного напоминало планету, и они могли лишь уточнять результаты исследований своих предшественников. Теперь их просто захлестывал поток новых фактов: куда бы они ни обернулись — к большим ли солнцам Центавра или к Красному Карлику, — всюду сияли неисследованные планеты. Поэтому нет ничего удивительного в том, что им приходилось работать без передышки; они и питались и дремали у своих телескопов.

Все же мне удалось поймать Бореля в безлюдном саду; он забежал туда, по его словам, «одной ногой, чтобы освежить голову ароматом цветов». Мы присели на камнях над ручьем, и Борель под большим секретом сообщил мне об открытии, которое он только что сделал. Вторая по порядку планета солнца А, по размерам несколько меньшая, чем Земля, вращается вокруг оси в течение трех четвертей земных суток. Я терпеливо ждал дальнейших разъяснений, но Борель не торопился с ними и, лишь заметив мое спокойствие, изумленно сказал:

— Как, неужели ты не понимаешь? Ведь Меркурий совершенно не вращается вокруг оси, а вращение Венеры очень замедленно. Быстрое вначале вращение этих планет на протяжении миллионов лет тормозилось приливным трением, вызванным притяжением Солнца. Так вот, ближайшая планета в системе А Центавра обращена к этой звезде всегда одной и той же стороной, как Меркурий; другая же, по своему положению соответствующая Венере, имеет период вращения в тридцать раз более короткий, чем у Венеры...

— Что это значит?

— Вмешательство внеастрономического фактора.

— Что же это за фактор?

— Живые создания, населяющие планету, — ответил Борель. — При этом создания, по меньшей мере равные нам, а может быть, и превосходящие нас по уровню развития: мы-то ведь пока еще не пытались воздействовать на скорость вращения Земли.

— Что? — воскликнул я. — Ты считаешь, что они регулируют?..

— Да. У этой планеты нет луны; подсчеты показывают, что она должна совершать один оборот вокруг своей оси в двадцать или в восемнадцать суток. Теоретически более короткий срок обращения исключается, значит... Мы должны приготовиться к встрече с действительно разумными существами.

Я спросил его, почему после такого важного открытия мы теряем время на погоню за второй планетой Карлика.

— За восемь лет нашего путешествия, — объяснил мне Борель, — двигатели «Геи» превратили в энергию не-

сколько десятков тысяч тонн горючего. Следует пополнить как можно скорей его запасы. Теоретически безразлично, каким веществом — жидкостью ли, газом или минералом — приводить в движение корабль: но астронавигаторы требуют, чтобы материал, который пойдет на пополнение запасов топлива, можно было получить в значительном количестве и переправить на «Гею» легко и быстро. Надо надеяться, что вторая планета Карлика, окруженная весьма редкой, безоблачной атмосферой и покрытая песчаными пустынями, будет полностью отвечать этим требованиям.

— Когда древний садовник терпеливо выращивал плоды на ветвях своих деревьев, то еще прежде, чем их коснулась чья-нибудь рука, он мог сказать: я сделал свое дело.

Так сказал Амета. Он стоял с Ирьолой на передней смотровой палубе, залитой красным светом стоявшего высоко над нами Карлика.

— О чем вы говорите? — спросил я подходя. — Кто этот садовник и что значит твоя метафора, пилот?

— Мы говорим о том, что, если бы даже мы были вынуждены сейчас повернуть к Земле, мы знали бы, что наша экспедиция так или иначе выполнила свою задачу, — ответил за Амету инженер.

— Ах, значит, это мы — садовники, а там — созревший плод?—Я показал туда, где пылал огненный диск.— Если речь идет обо мне, то я предпочитал бы не возвращаться, особенно теперь, когда мы приближаемся к цели!

— Ни у кого такого намерения нет, — возразил Ирьола. — Мы ведем разговор на всякие возвышенные темы, потому что сегодня Амете исполнилось пятьдесят лет.

— Полвека! — воскликнул я невольно. — А ты с каждым днем все молодеешь! Как это тебе удается?

Амета ответил·

— Мы уже давно отправили на Землю основную формулу теории Гообара. Этот пучок радиосигналов сейчас несется в пространстве и дойдет до Земли через два года. Пусть черти нас заберут — разве это не великолепно?

— Картина чертей, которые забирают нас, не кажется мне великолепной, но, если она тебе необходима ко дню рождения, пусть будет так, я согласен, — возразил я. — Инженер, — обратился я к Ирьоле, — почему ничего не делается на корабле? Почему не готовятся к высадке?

— Мы все выполнили ночью. Нам предстоит пройти еще около тридцати тысяч километров, но это расстояние мы будем идти не меньше часа, так как движемся весьма медленно: мы приближаемся к пределу Роша...

— И первым полетит Амета? — спросил я.

— Конечно, Амета, — отозвался, словно эхо, пилот.

А инженер добавил, улыбаясь:

— Лететь должен был Зорин, но он уступил свое право Амете в виде подарка ко дню рождения.

— Я надеюсь все же, что у всех нас будет возможность поразмять кости на настоящей твердой земле? Ты подумай только, восемь лет чувствовать металл под ногами... Может быть, астронавигаторы смилуются над нами?

— Смотрите, — негромко сказал Амета.

Бурую поверхность планеты прорезали трещины. Все на ней казалось неподвижным, мертвым; но, всматриваясь внимательно в плоские равнины, можно было заметить, как по ним медленно движутся сероватые пятна; это было очень похоже на пыльные бури.

Палуба наполнилась людьми; «Гея» двигалась все медленнее, как бы размышляя, опуститься ли ей на поверхность планеты или нет.

— Надо собираться, — сказал Амега и улыбнулся.

Я заметил, что у него совсем седые виски. Свет Карлика покрыл их яркой рубиновой краской.

— Надо собираться, — повторил он. — Я отправляюсь в другой мир, но не прощаюсь: скоро вернусь!

Амета находился в разведывательном полете три часа, после чего сообщил:

«Маленькая, пустынная планета типа Марса. Никаких следов органической жизни; большие каменистые и песчаные пустыни; одинокие утесы, горные цирки и погасшие вулканы. Атмосфера раз в двадцать менее плотная, чем на Земле, без следов кислорода и водяных паров. Разница температур между дневным и ночным по-

лушарием доходит до ста десяти градусов. Вдоль терминатора — границы света и тени — проходит зона бурь, движущихся со скоростью вращения планеты. В центральной горной системе субтропической зоны южного полушария большая правильная впадина, обнажающая глубокие слои коры; вероятно, кристаллический базальтовый щит. От этого района на несколько сот километров расходятся широкие пояса раздробленных вулканических скал»

Планетохимики дали заключение, что, хотя энергетическая ценность базальта и родственных ему минералов значительно уступает ценности тяжелых земных элементов, которые служили нам до сего времени горючим, однако простота добычи и транспортировки компенсирует эту разницу. Было решено, что «Гея» на пять-шесть дней ляжет в дрейф над этим районом, и грузовые ракеты наполнят ее резервуары размельченными минералами

Всю ночь в лабораториях производился анализ фотосъемок, привезенных Аметой. «Гея» дрейфовала на высоте около двухсот километров, далеко за пределами разреженной атмосферы. Выйдя утром на палубу, я стал свидетелем прекрасного зрелища. Наш корабль выходил из конуса тени, который отбрасывало ночное полушарие планеты. Наверху гигантского полукруга, закрывавшего звездное небо, появилась кроваво-красная черта; потом на однообразном черно-буром небе показался красный край Карлика. Когда его отвесные лучи пронизали атмосферу, она вспыхнула, как бы озаренная бенгальскими огнями Кое-где кровавые волны пересекались прозрачными полосами; диск планеты до самого горизонта засверкал багрянцем, переходящим в розовый оттенок. Это зрелище не исчезало до тех пор, пока Красный Карлик не поднялся, а бегущая ему навстречу «Гея» не оказалась над дневным полушарием планеты.

В двенадцать часов «Гея» легла в дрейф над указанным Аметой местом и выслала разведывательную группу тектоников и планетохимиков. Внизу, затянутые полосами редкого тумана, неясно вырисовывались извилистые горные системы. Над ними возвышалась вершина, напоминавшая гигантский лунный кратер диаметром в четыреста километров. На северо-востоке в стене крате-

ра было отверстие, словно много веков назад здесь ударил гигантский молот, вдребезги разбил скалы и разбросал далеко по пустыне камни, которые длинными белесыми полосами разбежались во все стороны. Вся эта местность с большой высоты казалась морской звездой, приплюснутой к поверхности шара.

Когда ракеты скрылись из глаз, мы взялись за бинокли. В поле зрения, по которому все время проплывали красноватые облака, появились серебристые искры, приближавшиеся к планете. Первая ракета нацелила на пустынную равнину атомные лучи, которые оставляли за собой раскаленную розовую полосу. Расплавленный песок превратился в стекловидную массу, своеобразную естественную дорожку, на которой могли приземлиться следующие ракеты. Исследователи должны были взять образцы скальных пород и определить места, где минералы отличаются максимальным содержанием тяжелых элементов. Через три часа они вызвали по радио с аэродромов «Геи» грузовые ракеты с экскаваторами, дробилками и погрузчиками Разведывательная группа уже могла вернуться на корабль, но продолжала дальнейшие исследования. После полудня ученые обратились к астронавигаторам с просьбой выслать в их распоряжение гусеничные тракторы. Пользуясь случаем, я присоединился к экипажу ракеты, которая везла на планету машины.

Эта ракета, значительно более тяжелая, чем пассажирские, которыми пользовались разведчики, не могла приземлиться на дорожке из искусственной стекловидной массы. Пилот Уль Вефа резко затормозил над песчаными холмами, но ракета не успела потерять скорость и врезалась в них с такой силой, что несколько десятков секунд из-под носа ракеты поднимались лохматые песчаные волны. Едва прекратился гром торможения, как наступившую тишину заполнил шум вихря. За окнами пролетали красные облака.

Мы находились в самой нижней точке чашевидной впадины, окруженной со всех сторон амфитеатром скал. Ракеты-разведчики стояли в километре от нас; вихри песка засыпали их со всех сторон — вокруг ракет уже возвышались полукруглые песчаные сугробы. Гусеничные тракторы по сходням были спущены вниз. Вместе

с другими астронавтами я влез на один из них, и мы двинулись к основной площадке.

Я надеялся, что чужие горы хоть немного похожи на пейзажи родной Земли, столь памятные с юности: вершины скал, великое молчание, рождающее чувство бесконечности, — не той черной, необъятной бесконечности, которая таилась за тонкой оболочкой атмосферы, а светлой, голубой, земной. Но с машины, которая содрогалась от рывков мотора и подпрыгивала на выбоинах, передо мной открывалось неровное, серое, словно засыпанное пеплом, слившееся с небом пространство... Позади нас в клубах пыли мутно тлел Красный Карлик. Машина, задыхаясь и хрипя от усилий, взобралась на широкую стекловидную полосу, созданную ракетами, перебралась через нее, размалывая ее гусеницами, и свалилась по другую сторону в летучий серовато-белый песок. С вершин окрестных холмов слетали песчаные смерчи. Наконец гусеничный трактор остановился около ракеты-базы. Мы спрыгнули. Пыль была выше колен; низовой ветер поднимал ее и загонял во все поры скафандров. До ракеты надо было пройти меньше ста метров, но я облился по́том, пока преодолел это расстояние.

Ракета стояла на голом обломке скалы, возвышавшемся, как остров, среди подвижных песков. Вокруг простиралась пустыня. В просторной кабине ракеты десять астронавтов склонились над столом, покрытым картами, фотоснимками и осколками минералов, и что-то обсуждали. Оказывается, моих товарищей заинтересовали очертания горных массивов, и они собирались провести пробное зондирование почвы. Мы направились к ожидавшим нас гусеничным машинам.

Я взобрался на башню. Машина тронулась с места, вздымая гейзеры песка. Она двигалась медленно, переваливаясь и по временам увязая до половины бортов. Это колыхание и песчаные волны создавали впечатление, будто мы движемся по морю.

На западе возвышались обрывистые горные хребты, пересеченные ущельями, вглубь которых проникали языки наносов. Эта картина естественной эрозии сменялась неописуемым хаосом. Разрушенные склоны отваливались гигантскими ломтями; в обнажениях виднелись огромные грушевидные валуны, словно в разломы впился расплав-

ленный камень и застыл там. Вертикальные обрывы были оплавлены и сияли фиолетовым светом. Весь массив горной цепи спадал тремя огромными уступами до самого дна равнины, вновь поднимаясь у рыжей черты горизонта.

Наши машины все чаще сворачивали в сторону, чтобы обойти полузасыпанные песком базальтовые обломки; наконец мы остановились у площадки, сплошь усыпанной каменными глыбами, которые не смогли преодолеть на машинах. Дальше мы шли или, вернее, пробирались пешком. Я присоединился к ученым, но их однообразная работа — зондирование скал ультразвуковыми аппаратами, исследование рентгеновскими лучами горных пород, взятие проб — продвигалась так медленно, что я вернулся к машине. Сидя в теплой кабине, я беседовал с Уль Вефой, пока не заговорило радио; это метеотехники «Геи» предупреждали нас о приближении песчаной бури. Надо было собрать изыскателей, которые разбрелись далеко по всей площадке. Вскоре мы вернулись к базовой ракете.

Красное солнце заходило. Облака над нами как бы уплотнились, небо приобрело однообразно-ржавую окраску, напоминавшую коптящее пламя лампы, на которое смотришь сквозь грязное стекло. Кровавый, негреющий диск Красного Карлика висел в расселине между черными вершинами и тучами. Все вокруг тонуло в красноватой, сгущавшейся мгле; пурпурные тона переходили в багрово-фиолетовые. Тяжело качающиеся машины с людьми напоминали чудовищ, вышедших из морских глубин. Багряный диск коснулся горизонта, и в нем возникло углубление, словно раскаленный шар расплавил скалы. Карлик скрылся; над вершинами гор продолжали сверкать его протуберанцы, похожие на медленно сплетающихся красных змей; наконец исчезли и они. Наступил абсолютный мрак. Казалось, мы зажмурили глаза. Вдали послышался нарастающий вой: это шла ночь, а вместе с ней песчаная буря. Мы укрылись в ракете.

Долго я прислушивался к спору ученых; они предполагали, что расселину в горной цепи пробил большой метеорит, двигавшийся по траектории, почти параллельной поверхности планеты.

За ночь я дважды просыпался, видел товарищей, склонившихся над картами, и вновь засыпал. Кажется,

они так и не сомкнули глаз до рассвета. Утром температура воздуха опустилась до минус восьмидесяти семи градусов. Все ракеты были доверху засыпаны песком; их откопали лишь вызванные по радио автоматы. Грузовые ракеты продолжали перевозить на «Гею» измельченный базальт, а изыскатели вновь направились на площадку, к месту космического катаклизма.

Я остался один и сквозь стеклянную перегородку смотрел, как в другой, меньшей кабине два координатора руководили работами изыскателей. На больших экранах была изображена окружающая местность. Там, где находились люди, на экране светились лампочки. Десятки этих светлых точек медленно ползали, останавливались, двигались назад: люди взбирались на недоступные скалы и спускались в глубокие ущелья. Вдруг я заметил, что все светящиеся точки начали двигаться в одном направлении; они образовали мелькающее кольцо, потом собрались вместе и начали шевелиться, как рой светлячков. Оба координатора оживились; находившийся в кабине, кроме них, планетолог Борель поминутно вглядывался то в один, то в другой экран, говорил с координаторами, потом подошел к аппарату прямой связи с «Геей». Координаторы встали и наклонились над экранами. На их лицах отразилось такое возбуждение, что я хотел войти в кабину; но на боковом пульте загорелись три лампочки, две зеленые и одна белая, означающие, что с «Геи» прибывает пассажирская ракета (грузовые, двигавшиеся беспрерывно, были выключены из сети сигнализации). Минут через десять я встретил прилетевшего астронавигатора Тер-Акониана. Он спросил, что открыли ученые и почему так волновались координаторы.

— Сейчас они будут здесь, — сказал Борель Тер-Акониану, — и мы все узнаем из первых рук.

Послышался отдаленный прерывистый гул моторов, работающих на высоких оборотах; он приближался, потом прервался громким вздохом, и через минуту в кабину вошли люди в запыленных, грязных скафандрах, неся большой металлический ящик, который они поставили на стол. От усталости они едва держались на ногах. Отбросив назад шлемы, астронавты садились или, вернее, падали в кресла.

Слово взял один из тектоников. Оказалось, что они

совершенно случайно совершили важное открытие. Гусеничная машина внезапно провалилась под почву; расширив отверстие, разведчики увидели что-то похожее на подземную галерею, круто спускавшуюся вниз.

— А эта галерея естественного происхождения? — спросил Тер-Акониан.

— Мы не вполне уверены в этом, — ответил тектоник.

Он провел перчаткой по лицу и оставил на нем темную полосу. Подойдя к столу, на котором лежал принесенный ящик, он сказал:

— Мы отрыли часть галереи, но работа продвигается медленно, так как мы не хотим применять сильно действующие средства. Галерея ведет дальше... В ней, приблизительно в ста пятидесяти метрах под землей, мы нашли вот это...

Он откинул металлическую крышку. На мягкой подстилке лежала темная, пористая, как бы запекшаяся бесформенная масса величиной с человеческую голову.

— Органическая материя? — спросил в наступившей тишине Тер-Акониан.

— Следы ее, — ответил тектоник. — Небольшое количество углерода. Изотопный анализ дает возможность определить возраст этой массы в пределах тысячи двухсот — тысячи четырехсот лет. Структура в основном бесформенная, общий химический состав не дает никаких указаний. Кроме того, это тело подверглось воздействию высокой температуры, вероятно, в момент падения метеорита.

— Что говорят биологи? — спросил Тер-Акониан.

— То же, что и мы: углерод, органического происхождения, ничего больше сказать нельзя.

— А дальнейшие исследования?

— Пока что мы прошли еще пятьсот метров галереи. Там не встречается никаких следов подобной материи. Дальше обрыв, и галерея кончается.

— Что же вы думаете?

— На планете никогда не зарождалась жизнь, значит, эти останки — внепланетного происхождения.

— На основании чего вы так полагаете?

— Во всех слоях, вплоть до вулканических скал, отсутствуют следы действия воды, нет осадочных пород. Жизнь, состоящая из белковых структур, не может воз-

никнуть без воды; углерод этот органического происхождения, таким образом... — И он развел руками.

— Ну? — нетерпеливо прервал его Тер-Акониан.

— Гипотезы... ничего, кроме гипотез, — сказал неохотно тектоник. — Галерея может представлять собой следы прежних горных разработок.

— А это — останки живого существа?

— Да.

Глаза присутствующих были прикованы к темной массе. Эта минута была потрясающей. Мы преодолели миллиарды километров, проносились равнодушно мимо скоплений раскаленной и остывшей материи, мимо солнц и каменных глыб, летевших в межзвездном пространстве, и вот эта крупинка, случайно открытая на безымянной, мертвой планете, ускорила биение наших сердец. Я чувствовал мощную связь, более древнюю, чем человеческий разум и чем сам человек, объединяющую все живое, великую тоску по созданиям, так же как и мы борющимся с равнодушной бесконечностью мира. Это она приказала нам увидеть жизнь в черных останках — жизнь неизвестную, непонятную и в то же время такую близкую, словно в этом существе было нечто от нашей крови.

Поиски, проводившиеся беспрерывно в течение двух следующих дней, не дали никаких результатов. На четвертый день к вечеру резервуары «Геи» были наполнены, наступил час отлета. Изыскатели неохотно покидали места раскопок, но астронавигаторы по радио торопили их. Была ночь. Надвигалась буря. Ураган с воем и скрежетом хлестал по ракетам струями песка, словно сотнями стальных игл вонзаясь в их броню. Стартовать было нелегко: надо было сразу развить большую скорость.

Базовая ракета, на палубе которой мы находились, отправилась последней, и я видел, как взлетали наши товарищи.

Огненные колонны одна за другой поднимались в небо, разрезали ночь, вырывая из мрака куски освещенного таинственным светом пейзажа: кипящий песок, отвесные скалы и толпы теней, разлетающихся по пустыне, как стаи черных птиц. Огненные трассы шли выше и выше, совершенно отвесно, становились тонкими, как раскаленные добела иглы. Когда затих громовой гул

раскаленных воздушных масс, мы услышали шум аппаратов зажигания нашей ракеты; послышались предупредительные сигналы, я лег навзничь и перестал видеть все, что делалось за окнами.

В ту ночь «Гея» вышла из зоны притяжения Красного Карлика и, ускоряя движение, понеслась к большим солнцам Центавра.

ТОВАРИЩ ГООБАРА

Я видел многих сотрудников Гообара только вместе с ним и, вероятно, поэтому считал их людьми не очень интересными. Однажды вечером я убедился в своей ошибке.

Когда я пришел в лабораторию историков, там еще не было никого. Я сел на стул в первом ряду. Большие люстры не были включены. Казалось, что этот пустой зал с темными картинами, едва различимыми на стенах, озарен светом пасмурного дня.

Астронавты теперь проводили вечера в лабораториях, изучая материалы, полученные на планете Красного Карлика, и разрабатывая планы будущих исследовательских экспедиций в системе Центавра. К историкам заходили немногие. Сегодня вместо лекции Молетича стихийно завязалась дружеская беседа. Тембхара рассмешил нас рассказом о том, как автоматы, принадлежавшие двум ученым противоположных взглядов, оставленные в лаборатории, проспорили целую ночь, пока наконец один из них не убедил другого, и, когда хозяин утром пришел на работу, его автомат из верного союзника превратился в заядлого противника.

Молетич предложил нам показать и объяснить несколько произведений древних художников. Мы согласились. Свет в зале был выключен, и на экранах во всем богатстве красок возникли полотна древних голландских и итальянских мастеров. Через час лампы вновь загорелись, и мы пошли к выходу, обмениваясь впечатлениями.

— Знаете, что всего больше поражает меня в этих картинах? — сказал Руделик. — Одиночество их создателей. Оно проявляется под различными масками: сухого,

холодного равнодушия, презрения, сочувствия, а иногда вырывается горьким криком, как у Гойи .

— Прежде искусство воздействовало не только любовью, но и ненавистью, — заметил я. — Теперь не так.

— И не только искусство, — бросил Молетич.

— Но эти люди на картинах, — продолжал Руделик, — они смеются и плачут, как мы... Да, если бы я не был биологом, то стал бы художником.

— А талант? — спросил кто-то.

— Ну, Тембхара помог бы мне своими автоматами, — сказал со смехом Руделик.

Мы шли к дверям, и лишь ассистент Гообара Жмур продолжал одиноко сидеть в пустой аудитории, положив руки на спинку стоявшего впереди кресла В дверях мы остановились не хотелось оставлять товарища одного в полутемном зале. Он повернулся к нам.

— Вы ждете меня? — спросил он. — Если не торопитесь, я расскажу вам одну поучительную историю .. Она связана с тем, что мы сегодня видели

Мы вернулись Он попросил еще убавить свет и начал рассказывать. Мы почти не различали его лица.

Математические способности у него проявились уже в детстве. Окончив школу, он приступил к самостоятельным научным исследованиям и вскоре опубликовал работы, принесшие ему известность. В несколько месяцев решал он задачи, над которыми другие бились безуспешно долгие годы. Он мог заниматься одновременно двумя и даже тремя самыми трудными проблемами. Наделенный огромной, острой, схватывавшей на лету интуицией, он начинал новую тему, привлекавшую его внимание, указывал направление, в котором надлежало идти, но едва вырисовывался первый контур решения, как оно переставало его интересовать, и он предоставлял дальнейшую разработку проблемы автоматам Все, за что он брался, казалось ему недостаточно трудным, малоинтересным. Товарищи называли его «коллекционером твердых орешков» и обвиняли в чрезмерной самоуверенности Задетые его высокомерием, они подсунули ему одну идею. Он поднял брошенную перчатку, признав, что это как раз будет ему по силам.

До сих пор в его комнате не было ничего, кроме письменного стола, кресла, электромозга и подручных анали-

заторов. Единственным исключением являлся гиацинт, росший под окном в серебряном конусообразном горшке. Теперь стены комнаты стали сверкать красками. С трионовых экранов исчезли чертежи и математические формулы, толстые тома и рукописи. В их холодной серебристой глубине стали появляться изумительные произведения искусства. фарфоровые блюда, на которых концентрические круги малиновых и золотых лепестков вращались в разные стороны; хрусталь, в гранях которого пылали прозрачные костры; древние ткани с вышитыми на них цветами, сверкающими красками, в которых серебро было смешано с кровью, огнем и фиалками; греческие вазы, по окружности которых бежал хоровод белых теней.

Каждый такой предмет Жмур относил к определенному классу символов. Потом он производил детальные исследования. На вспомогательных пультах возникали проекции и разрезы предметов в целом, гиперболоиды, взаимопроникающие конусы, шарообразные чаши, многогранники, политопы, торы, подвергнутые деформациям высшего порядка.

Вытравленные на металле, стекле, кристаллах ряды фигур превращались в однообразные шеренги сложнейших чертежей, связанных цепями цифр, в кривые линии, из которых возникали очертания древних ваз.

Потом наступила очередь картин.

На трионовых экранах появлялись высокие небеса Гоббемы, кипящие линии Гойи; комнаты Вермеера, наполненные невесомым воздухом; полные жизни нагие фигуры Тициана, порожденные золотистым полумраком, застывшие в полувздохе люди Рембрандта. Сидя целыми ночами у экранов, со взглядом, устремленным на гибкие фигуры ангелов и людей и на фыркающих, облитых пеной коней, он исследовал оптическими аппаратами сочетания фигур, оси перспективы, золотистые пятна охры и чернь эбенового дерева, киноварь и индиго, сепию и кармин; плоскости, покрытые венецианской и индийской красками, силу света и тьмы; анализировал косинусы углов, границы отбрасываемой тени. Но чем дальше он шел в этом направлении, тем более сильное сопротивление приходилось ему преодолевать Каждая картина обладала не одним математическим скелетом, а бесконеч-

ным их множеством. Границы образов, соотношение пятен, пропорции человеческих тел, разъятых на части и проанализированных большим аналитическим аппаратом, упорно хранили свои тайны. Он ошибался, открывая случайные и мелкие зависимости в бесценных полотнах. А ему нужно было произвести математический анализ основных факторов, создающих красоту, выразить их одной всеохватывающей формулой, такой сжатой, чтобы она объясняла искусство, как гравитационная формула материи охватывает структуру всей Вселенной.

Измучившись, он искал отдыха в далеких экскурсиях. Часто, проходя по аллеям парка, он обнаруживал в изгибах черных стволов геометрические кривые и немедленно начинал выводить их функциональные формулы. До поздней ночи он просиживал у аппаратов, вслушиваясь в их глухой, монотонный гул, в шум циркулировавших с головокружительной быстротой токов. Иногда его сознание сужалось, как сжатый мраком серый круг, в котором бушевал хаос красок, линий и образов, и он засыпал, положив голову на руки под большим экраном, где все медленнее появлялись сверкавшие ледяным блеском зеленые кривые.

И вот наступил час, когда он написал на белой карточке формулу, выведенную им после сотен бессонных ночей, — прямую и очевидную, как неизбежность.

Ее следовало проверить. Он подошел к автомату, дал ему инструкции и формулы, а потом терпеливо стал слушать, как в шорохе едва заметно вспыхивающих ламп рождается первое произведение искусства, которое не будет созданием человеческих рук. Наконец из отверстия автомата показался большой лист бумаги. Он схватил его и поднес к свету. Лист был заполнен сложным, ритмически повторяющимся рисунком. От бесконечного множества узоров рябило в глазах; каждый из них распадался на сотни мельчайших деталей, и на этом фоне, созданном железной логикой формул, в центре листа было завершение этой мертворожденной композиции: пустой, идеально белый круг.

Не веря своим глазам, математик пересмотрел все сочленения автомата, проверил правильность программы, порядок и очередность выполнения операций. Он пытался наугад разобраться в деталях произведенного ана-

лиза, забирался в математические дебри, с невероятным усилием пытаясь свести их воедино.

Ошибки не было.

Он погасил лампу и подошел к окну. Тяжелая белая луна висела высоко в небе. Кровь глухо билась в висках. Он стоял, закрыв глаза, пытаясь остудить разгоряченный лоб холодным металлом рамы, а в его мозгу мелькали бесконечные вереницы назойливых алгебраических знаков. Наконец он обернулся, сделал шаг вперед и замер. В углу у стены светился трионовый экран. Там стояла вызванная несколько дней назад скульптура — голова Нефертити.

В его распоряжении были все методы топологии — единственной области математики, исследующей качество; великая теория групп; все капканы расчетов, которые он расставлял, стремясь свести искусство к формулам, как сетка кристалла сводится к пространственным отношениям. Законам математики, думал он, подчинена каждая мельчайшая частица материи: камень и звезда, крыло птицы и плавник рыбы, пространство и время. Разве могло что-нибудь ускользнуть из-под власти этого могучего оружия?

Однако на столе, заставленном аппаратами, заваленном таблицами логарифмов, спокойно стояла гостья из другого мира — эта скульптура. Ее глаза смотрели так серьезно, будто исполнялись все надежды, которые она когда-нибудь питала. Дуги, которыми ее шея переходила в плечи, были похожи на две внезапные паузы великой симфонии. Под тяжелым головным убором фараонов виднелось узкое лицо со страстными губами, застывшими в молчании. И все это было лишь каменной глыбой, которую сорок пять веков назад обтесал египетский ремесленник.

Он подошел к письменному столу, включил лампу, затмившую лунный свет, и долго смотрел на Нефертити, наконец выпрямился, взял в руки творение автомата, разорвал его, сложил, рванул еще и еще... Белые клочки разлетелись в воздухе, как опадающий цвет яблони. Он хотел было выйти, но в дверях остановился и вернулся назад. Подойдя к главному электромозгу, он нажал аннигилятор. Зажглись лампы, послышался мягкий электронный гул. Он стоял, внимательно слушая, как в шуме,

похожем на шорох листьев, стирается с металлических *барабанов памяти вся гигантская теория, созданная* его многомесячным трудом, как мыслящий механизм навсегда забывает о его горьком опыте.

ПАДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ

За четыре месяца пути мы удалились от Красного Карлика на триста миллиардов километров, и эта звезда красной искрой сияла теперь за кормой. «Гея» мчалась полным ходом, направляясь к двойной системе Центавра, и нам вторично пришлось быть свидетелями *неуловимо медленного превращения* звезд в солнца.

В свободное время я продолжал изучать палеобиологию, которая, как показал недавний опыт, могла оказаться нам необходимой Однажды вечером, погуляв немного по саду, чтобы размяться, я направился к Борелям. Дома был лишь их шестилетний сын. Он объяснил, что папа не приходил с утра, и просил меня остаться поиграть с ним, но я ушел: если Борель не пришел к обеду, это кое-что значило. Я отправился на верхний ярус.

В обсерватории было так темно, что я долгое время, ничего не видя, стоял на пороге. Постепенно взгляд при-

вык к темноте, и я различил экраны телетакторов, отсвечивавших серебристой, как бы собранной в огромных линзах звездной пылью. Обычно здесь всегда было людно, теперь же у экранов не было никого. Астрофизики столпились около аппарата, стоявшего в углу комнаты. Была полная тишина, и я невольно стал на цыпочки. Казалось, все вслушивались в какой-то звук, которого я не слышал. У пульта радиотелескопа стоял Трегуб; он держал обе руки на рычагах и медленно их поворачивал. Большой диск перед ним то угасал, то вспыхивал ярче, и тогда голова астрофизика выступала на фиолетовом фоне черной тенью. Я уже хотел шепотом спросить, в чем причина всеобщего молчания, когда мой слух уловил очень слабый шелест, словно кто-то сыпал мак на натянутое полотно. Трегуб продолжал двигать рычаги радиотелескопа, и шорох перешел в густую, звонкую барабанную дробь. Когда звук достиг максимальной силы, профессор опустил руки и подошел к репродуктору. Люди наклонили головы, чтобы лучше слышать. Однообразные звуки в конце концов стали надоедать мне, и я шепотом спросил у стоявшего рядом, что это такое.

— Сигналы локатора, — так же тихо ответил он.

— Наши сигналы?

— Нет, не наши.

— Значит, с Земли?

— Нет, не с Земли.

Изумленный, думая, что он шутит, я пытался разглядеть в темноте его лицо. Оно оставалось серьезным.

— Откуда же эти сигналы? — спросил я, забыв, что говорить нужно тихо, и мой голос раздался как гром в царящей тишине.

— Оттуда, — ответил Трегуб и показал на главный экран.

На пересечении фосфоресцирующих линий еле мерцала точка, отдаленная на несколько дуговых минут от солнца А Центавра, сиявшего ярким пятном в левом верхнем квадрате экрана.

— Это сигналы со второй планеты А Центавра... — добавил мой сосед.

Вглядываясь в темный экран и слушая, как однообразно стучит пульс локатора в репродукторах, я попытался вспомнить все, что знал о системе Центавра. Пла-

нете, с которой поступали сигналы, по своему положению соответствовала в нашей солнечной системе Венера; это была Белая Планета, вращением которой так интересовались астрономы.

Еще утром, находясь на смотровой палубе, я заметил, что «Гея» производит непонятные эволюции: звезды медленно перемещались. Теперь я задумался над этим.

— Давно ли вы услышали эти сигналы? — спросил я.

— Сегодня утром, — ответил Борель.

— Имеют ли они какое-нибудь отношение к нам? — спросил я и, прежде чем палеонтолог ответил, почувствовал, как замерло у меня сердце, потому что я угадал этот ответ.

— Да. Направленный пучок волн очень узок. Мы пытались, маневрируя, выйти из него, но он каждый раз вновь ловил нас.

Значит, нас ждали на этой Белой Планете, едва видимой среди искрящихся скоплений звезд! Предположение сменилось уверенностью, и, как бы в ответ на тысячи вопросов, роящихся в моей голове, в репродукторах слышалось пронзительное тиканье, похожее на торопливые слова на неизвестном языке: «Так, так, так, так...»

Электромагнитные волны пробили во мраке узкий туннель длиной в несколько миллиардов километров, нашли «Гею» и возвращались туда, откуда они были высланы, неся отраженное изображение посланца Земли.

Мы двигались к Белой Планете шесть недель. Двойные солнца Центавра, затмевая ближайшие звезды, росли и отдалялись друг от друга. Солнце А уже казалось огромным огненным шаром, по которому пробегали ясно видимые в гелиографах пятна. Но наша цель по-прежнему оставалась искрой, сверкающей во мраке, хотя ее движение уже можно было обнаружить за несколько часов — так быстро меняла она свое положение среди звезд.

Мы попытались завязать с ней радиосвязь; автоматы несколько дней подряд посылали последовательно

повторявшиеся ритмические сигналы, но в ответ мы не получали ничего, кроме сигналов локаторов, звучавших в прежнем ритме и усиливавшихся по мере нашего приближения к планете. А расстояние, разделявшее нас, сокращалось очень быстро: «Гея» мчалась со скоростью тридцати тысяч километров в секунду — идти с такой скоростью в пространстве, где встречалось много планет, было рискованно, но нас подгоняло огромное нетерпение. Мертвый металл атомных двигателей словно загорался возбуждением людей, и за кормой росли и растягивались во мраке столбы ядерного пламени. На сорок третьи сутки с того памятного дня, когда мы впервые перехватили сигналы локаторов, «Гея» оказалась над планетой.

Огромный, закрытый густыми тучами белый диск закрывал небо. Пронзительное тиканье локатора стало таким сильным, что простое электронное приспособление, присоединенное к внешней оболочке корабля, позволяло услышать его без помощи усилителя.

Но, кроме этого, никаких других сигналов к нам не поступало.

Постепенно замедляя ход, наша ракета приближалась к Белой Планете по суживающейся спирали. Все люди, стоявшие в молчании на палубах, с бьющимся сердцем смотрели вниз и говорили себе: вот мы у цели.

Белоснежный океан облаков мешал нам видеть планету, которая словно хотела скрыть от нас свои тайны. Мы могли изменить метеорологические условия: разогнать на большом пространстве тучи или превратить их в дождь при помощи лучистой энергии, но астронавигаторы не хотели прибегать ни к одному из этих средств. Поэтому мы ограничились тем, что продолжали через регулярные промежутки времени пытаться договориться по радио. Когда все это не принесло никаких результатов, мы сбросили на парашютах модели различных аппаратов, машин и технических приспособлений, произведенных людьми. Тучи поглотили наших посланцев и вновь сомкнулись над ними, но это не внесло изменений в монотонные сигналы локатора, которые говорили о том, что живые, разумные существа наблюдают за нами, однако по непонятной причине хранят молчание и не отвечают на наши призывы.

Вот «Гея» спустилась до границы атмосферы, и в разрыве между тучами показалась поверхность планеты. Мы увидели равнину, покрытую голубовато-синими пятнами, широко раскинувшиеся сооружения, похожие на огромных расплющенных пауков; а дальше — необъятное пространство смолисто-черного цвета, отсвечивавшее яркими бликами. По палубам пронесся возглас: «Море!» До самого горизонта, исчезая под нависшими тучами, разливались волны, отражавшие лучи солнца. «Гея» снова убавила скорость, но внизу медленно сомкнулись тучи, похожие на заснеженные горные хребты.

На третий день наших полетов вокруг планеты астронавигаторы решили направить вниз разведывательную группу. Должны были лететь пилотируемые людьми одноместные ракеты; они могли приземлиться на пересеченной местности и даже среди строений и жилых домов. С ними должен был идти большой корабль, управляемый на расстоянии, на котором находилась телевизионная аппаратура; мы называли его нашими «глазами». Пилоты должны были спуститься ниже туч, произвести предварительные наблюдения и решить в зависимости от обстоятельств, приземлиться им или вернуться на «Гею».

Днем в кабине рулевого управления собрались почти все обитатели «Геи». Мы стояли в полумраке, на стенах горели экраны, похожие на окна, распахнутые над освещенным полушарием планеты. В боковом экране, соединенном с нижним ярусом, было видно, как пилоты в серебристых доспехах спускаются на ракетодром, как надевают шлемы и, сгибаясь под тяжестью скафандров, входят, наклоняя головы, в свои ракеты. Потом рычаги втолкнули металлические веретена в глубь стартовых колодцев, и наступила тишина.

Тер-Аконian положил руку на пульт. Глухой вибрирующий звук разнесся по всему кораблю, как удар большого колокола. Первая управляемая по радио ракета вырвалась в пространство. Минуту стояла тишина, затем вновь послышался глухой удар.

Пять управляемых пилотами ракет, выпущенных одновременно через носовые стартовые колодцы, удалялись от «Геи». Вновь беззвучно зашевелились рычаги, и новые ракеты двинулись по рельсам. Так продолжалось

до тех пор, пока последняя пятерка ракет не покинула «Гею».

Теперь наше внимание было сосредоточено на центральном экране. На нем до самого горизонта простиралось волнистое море облаков. Тридцать одна ракета описала круг около корабля, сверкнула на солнце серебристыми боками и начала спускаться вниз, образовав висящую в пространстве, медленно вращающуюся спиральную лестницу.

Три астронавигатора, поднявшись на трибуну, всматривались в главный экран. Позади них находилось шесть аппаратов двухсторонней связи. У стереоскопических экранов сидели техники с наушниками. Каждый из них контролировал движение пяти ракет, похожих на экране на светящиеся линзы, на которых были написаны имена пилотов.

В микрофонах были слышны отдельные слова. Полет проходил благополучно. Двигаясь в развернутом строю, ракеты, похожие на черные иглы, все больше удалялись от нас.

Я пристально вглядывался в экран и чувствовал за спиной взгляды стоявших неподвижно товарищей. Посредине белого облачного моря, залитого солнечным светом, открылось более темное отверстие. Первая пятерка ракет неслась к нему; впереди них шла управляемая по радио большая ракета. У края отверстия возвышалось кучевое облако, сверкавшее на солнце жидким серебром, а в тени окрашенное в цвет размытого водой сланца. Стая ракет врезалась в него, пробила туманную гору и вырвалась с другой стороны. Ракеты понеслись дальше, как бы сидя на собственных тенях. Ведущая большая ракета уже исчезла из поля зрения, и первая стайка одноместных ракет входила в тучи. Мгновение их металлические хребты темнели над белой пеной, словно рыбьи спины в горном потоке, потом тень одной из них еще раз промелькнула на фоне плоской тучи, и они исчезли.

Вниз пошла следующая пятерка. Вдруг ветвистая молния пронизала тучи. Первые пять ракет вспыхнули, как метеоры. Моторы их еще работали, но на экранах уже начали темнеть имена пилотов: БОРЕЛЬ, СЕНТ, АНТОНИАДИ, ИНГВАР, УТЕНЕУТ. То, что секунду

назад было стремительными ракетами, несущими живых людей, осветило клубы туч блеском раскаленного металла, словно огненная рука начертала путь пяти падающих звезд.

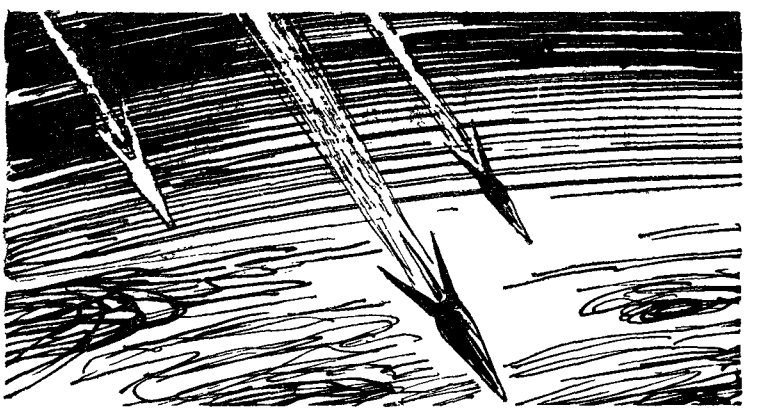
С момента первой вспышки до конца катастрофы прошло не более двух секунд. Мы стояли, как пораженные громом; тишину нарушало лишь доносившееся из репродукторов тиканье сигнала локатора, посланного с планеты. К ней уже приближалась другая стайка ракет. Техники-связисты послали ей приказ немедленно повернуть обратно, но ракеты не были в состоянии уменьшить скорость в течение малой доли секунды. Прежде чем пилоты сумеют затормозить их, они войдут в смертоносную зону. У центрального пульта находились два астронавигатора — Гротриан и Пендергаст.

Незначительное движение их руки — и «Гея» выбросит из себя каскад антипротонов, равный по силе солнечному протуберанцу. Молниеносный удар, движущийся со скоростью света, опередит ракеты. Восемьсот триллионов эргов энергии пробьют, как лист бумаги, атмосферу планеты и обрушатся на ее поверхность. От этого удара ничто не может защитить. Все существующее будет превращено в пламя, а энергия распада расплавит кору планеты, неизвестные обитатели которой уничтожили наших товарищей.

Гротриан и Пендергаст одновременно протянули ру-

ки к выключателю. Обе руки на секунду повисли в воздухе. Астронавигаторы посмотрели друг другу в глаза и отвели руки назад.

Выключатель продолжал оставаться на мертвой точке. Пилоты пяти следующих ракет включили тормоза, и по огромным клубам пламени видно было, какие отчаянные усилия они прилагают, чтобы уменьшить скорость. Но одна за другой ракеты попадали в смертоносную зону и вспыхивали. Гибели избежала лишь последняя ра-



кета этой пятерки: ее пилот нечеловеческим усилием сорвал все предохранители и взмыл отвесно вверх с такой страшной быстротой, что исчез из наших глаз.

В тучах пылали четыре факела, четыре новые звезды падали вниз, и в мрачной бездне уже рассеивался огненный след их полета.

«Гея» начала медленно разворачиваться и отводить нос от диска планеты; магнит втянул сквозь кормовые люки вернувшиеся ракеты. На экране внутреннего телевизора был виден ангар ракетодрома; длинные носы ракет показывались из стальной глотки, а на щите автомата-приемника вспыхивали цифры «17»... «18»... «19» После двадцатой ракеты наступил длительный перерыв Из входных люков прибывших ракет, подтянутых на запасные пути, выходили пилоты и, вместо того чтобы от-

правиться в верхние помещения, присоединялись к собравшимся на ракетодроме. На автомате вспыхнула цифра «21», и кран перетащил на освободившиеся пути большую ракету, из которой не вышел никто: это была управляемая по радио ракета, на борту которой находились телевизионные «глаза». Несколько минут царила мертвая тишина. Рычаги подъемников лежали неподвижно в гнездах, потом диск сигнального щита как бы с трудом перевернулся еще раз, на нем показалась цифра «22», и в открытом люке появилась последняя уцелевшая ракета. Вход в нее не открылся сам. Поворотный механизм входного люка ухватили своими клещами механоавтоматы.

Ослепительно сиял операционный зал. Шестеро астронавтов внесли на руках тело, плотно завернутое в резиновый кокон, и положили его на обогреваемую фарфоровую плиту.

Резцы инструментов вонзились в эластичную массу резины. В разрезах сверкнул скафандр. Хрустнули спирали арматуры. Спустя несколько секунд мы увидели лицо Аметы.

Когда он сорвал ограничители и на страшной скорости повернул ракету, его кровь, отяжелевшая, как свинец, разрывая ткани, прилила к внутренностям и ногам. Он представлял собой одну трепещущую рану: уцелели лишь голова и руки, белые, без кровинки.

С первого взгляда я понял, что спасти его нельзя. Можно было либо сократить, либо продлить агонию. Мы немедленно приступили к работе. Были включены искусственные легкие и сердце, перевязаны все доступные для такой опе́рации лопнувшие сосуды, через которые двигалась кровь, пущены в ход аппараты для переливания крови. Мы отбрасывали залитые кровью инструменты и брали новые, обмениваясь лишь отрывистыми словами. Зона поражения расширялась, шок охватывал жизненно важные органы. Речь шла уже не о спасении Аметы — это было невозможно, — а о том, чтобы привести его в чувство на несколько минут или хотя бы на одну долгую минуту, в течение которой он мог бы выразить свою последнюю волю.

Поршни в прозрачных шприцах доходили до дна.

Возбуждающая жидкость, нагнетаемая аппаратурой искусственного кровообращения, омывала трепещущее сердце. Дрожь пронизала тело Аметы, казалось, вот-вот он откроет глаза, но лишь глубже стали тени вокруг них, да громче заработал пульсометр — усиливалось кислородное голодание организма.

— Он в сознании, — сказал Шрей.

Низко склонившись над умирающим, мы затаили дыхание.

По неподвижному, как маска, лицу, начали пробегать судороги. Губы раскрылись, обнажив сжатые изо всех сил, обведенные кровавой каймой зубы. Амета был

в сознании, но боль оборванных нервов с такой страшной силой отражалась в его мозгу, что он напрягал все силы, чтобы подавить готовый вырваться крик.

Он уже не мог говорить.

Последний укол. Стеклянная ампула с тонким звоном упала на пол и разбилась. Не отводя взгляда от умирающего, Шрей сделал шаг назад. Мы с Анной последовали его примеру и, опустив окровавленные руки, стояли неподвижно, как бы показывая, что все возможное сделано.

У стены стояло несколько десятков человек. Выделялись серебристые скафандры пилотов, которые приехали сюда прямо с ракетодрома. У одного из них, Зорина, шлем не был отвинчен, а лишь отброшен от скафандра назад, словно необычайное крыло. Зорин вдруг отвернулся и выбежал. Минуты две мы стояли неподвижно, тишину прерывало только хриплое дыхание, вырывавшееся из груди Аметы, и чуть слышный звон, издаваемый искусственным сердцем. Вдруг двери раскрылись от сильного толчка, вошел Зорин, который так и не успел снять скафандр. Он нес в руках дугообразный штурвал, вынутый из ракеты Аметы. Зорин подошел к операционному столу, поднял сначала одну, затем другую руку Аметы, бессильно висевшие по сторонам, и охватил его пальцами штурвал. С нечеловеческим усилием умирающий приподнял голову; пальцы, трепещущие в руках Зорина, попытались повернуть штурвал.

Веки Аметы дрогнули, розовая пена выступила из его рта, раздался булькающий хриплый шепот·

— Большие ракеты . дойдут... места.. видел... вы дальше... на больших ракетах... телевизоры .. на больших...

Он судорожно прижал штурвал к груди, его руки как бы попытались направить ракету вверх, вздрогнули и успокоились навсегда.

Люди, стоявшие вокруг, стали расходиться. Я видел фарфоровый угол операционного стола с засохшими брызгами крови, пустой, разрезанный скафандр, брошенный на пол к ногам Шрея, его судорожно сжавшееся, чужое, как бы увиденное в первый раз лицо и освещенную боковым рефлектором Анну, все еще продолжавшую чего-то ждать.

Пульсометр продолжал работать, нагнетая кровь в глубь мертвого тела. Я хотел выключить его и сделал шаг вперед, но что-то преградило мне путь. Меня остановил взгляд Зорина, слепой от страшной боли.

ЦВЕТЫ ЗЕМЛИ

Целую ночь «Гея» удалялась от планеты. В восемь часов утра репродукторы передали, что совет астронавигаторов созывает экипаж на собрание.

Большой зал наполнился людьми. В нем стоял низкий, глухой гул. На трибуну у стены поднялся Тер-Акониан и сказал:

— Слово имеет профессор Гообар.

Гообар, слегка наклонившись вперед, смотрел на нас. В наступившей тишине прозвучал его голос:

— Я изложу гипотезу, которая должна объяснить случившееся и определить наши дальнейшие шаги. Вчерашние трагические события на первый взгляд свидетельствуют о том, что обитатели Белой Планеты — кровожадные существа, руководствующиеся в своих поступках непонятными людям законами. Именно так думают многие из вас. Этот взгляд я считаю ошибочным. Мы знаем очень мало об этих существах, но не подлежит сомнению одно: они разумны. Если же оценивать их действия, исходя из этого ошибочного взгляда, они представляются бессмысленными. К планете приближается из глубин Космоса снаряд; ракеты, которые он посылает, подвергаются уничтожению. Почему? С какой целью? Вначале я считал, что у нас слишком мало данных, чтобы восстановить целиком ход событий, то есть действия не только наши, но и действия другой стороны. Однако дело обстоит не так.

Он помолчал несколько мгновений.

— Разберем последние события. В верхних слоях атмосферы было создано силовое поле, которое уничтожило девять ракет. Ракета, на которой находились телевизоры и которая первой прошла зону уничтожения, уцелела. Почему? Все, что происходило до и после этого—непрекращающийся контроль за нашими движениями, молчание в ответ на наши призывы, строго рассчитанные

меры по уничтожению наших ракет, — все это заставило меня отбросить мысль о случайности как о причине того, почему уцелела первая ракета. Дело обстоит так: с точки зрения неизвестных существ девять ракет заслуживали уничтожения, а одну ракету можно было пощадить. Значит, причина должна лежать в разнице между погибшими и уцелевшей ракетой... Так вот, — продолжал Гообар в мертвой тишине, — тот факт, что большая ракета уцелела, показался мне исключительно странным, потому что эти ракеты похожи друг на друга. Разница состоит в том, и это невольно приходит на ум, что уцелевшая ракета не имела на борту людей. Таким образом, всплыло уже раз отброшенное предположение, что неизвестные существа стремились уничтожить пилотов. Откуда, однако, они могли знать, что на борту первой ракеты не было людей? Как я слышал, шли разговоры о каких-то способах просвечивания наших ракет на большом расстоянии. Это совершенно исключено. Ракеты покрыты оболочкой, непроницаемой для космических лучей; излучение, достаточно жесткое, чтобы проникнуть сквозь оболочку, одновременно должно было бы уничтожить ракету. Таким образом, гипотезу просвечивания ракет и вытекающий из нее вывод о «кровожадности» неизвестных существ следует еще раз отвергнуть.

Возвращаемся к исходному пункту. Какая разница между девятью уничтоженными и одной уцелевшей ракетой? По конструкции, по внешнему виду, по техническим деталям они одинаковы. Разница лишь одна: уцелевшая ракета почти в три раза больше уничтоженных. Следовательно, события развертывались так. К планете приближается группа ракет. У неизвестных существ возникает план: малые ракеты уничтожить, на большую не нападать. Почему? Этого я не мог понять. Что знают они о нас такого, что вынуждало бы их прибегать к подобным действиям? Что знают они о нас вообще? Они знают одно: к планете приближается корабль. Они узнали об этом шесть недель назад, когда их локатор обнаружил «Гею». Но тут я впервые задумался: почему локатор поймал «Гею» именно тогда?

Нащупавший нас конус лучей локатора был очень узок. «А что, подумал я, — если прибегнуть к математике?» И задал профессору Трегубу вопрос: как широк

был этот конус в момент, когда он нас нащупал? Оказалось, что мы оба — и он и я — думаем об одном и том же. Он не только ответил на мой вопрос, но и добавил, что, достигнув Красного Карлика, этот конус расширился бы так, что охватил бы пространство диаметром в восемьдесят миллионов километров. Теперь вам понятно?.. Этот пучок лучей послан не случайно. Те, кто направил его, полагали, что какой-то корабль движется в этом районе. Почему они так думали? Не подали ли мы им какой-нибудь знак того, что мы приближаемся, настолько мощный, что они заметили его за миллиард километров, настолько быстрый, что он перегнал «Гею»? Такой знак, такой сигнал мы им действительно послали. Это был взрыв мертвого спутника атлантидов.

В зале воцарилась напряженная тишина.

— Я провел следующий простой расчет, — продолжал ученый. — Взрыв сорока урановых бомб создал вспышку, затмившую на определенные доли секунды солнечное сияние. Свет от вспышки спустя три месяца достиг Белой Планеты и был там замечен. Я задал себе вопрос: где должен был нас встретить локаторный импульс, если предположить, что он был отправлен с планеты немедленно после обнаружения вспышки? Подсчеты говорят: он должен был встретить «Гею» на расстоянии пятнадцати световых дней от планеты. Эти подсчеты с изумительной точностью совпадают с тем, что произошло в действительности. Такое совпадение не может быть случайным.

Но почему они привели в действие свои локаторы, как только увидели вспышку? Ответ напрашивается сам собой: потому, что они знали, чем она вызвана. Они знали, что в системе Красного Карлика движется мертвый корабль с атомным грузом и что вспышка вызвана взрывом этого груза. Безусловно, существа, достигшие такой высокой степени технического развития, контролируют всю свою систему и в свое время обнаружили искусственный спутник атлантидов. Если дело обстояло именно так, то именно они просветили атомные снаряды астроном и узнали, что их самовоспламенение невозможно. Таким образом вспышка дала знать, что в их систему прибыл неизвестный корабль и что он уничтожил спутник. Чтобы проверить это предположение, они выслали пучок элек-

тромагнитных лучей и, обнаружив корабль, стали при помощи этого пучка контролировать его движение. Вот что я могу сказать о том, как мы известили обитателей планеты о нашем прибытии.

Теперь разрешите мне перевернуть всю проблему и вместо существ, населяющих планету, подставить людей. Предположим, что на этом закрытом облаками шаре живут люди. В один прекрасный день они узнают от своих астрономов, что в их солнечную систему прибыл какой-то неизвестный корабль. Этот корабль идет из того района неба, откуда однажды прибыл другой корабль, с мертвыми людьми и грузом атомных снарядов. Далее. Новый корабль взорвал старый. Что это за существа, думают люди, которые взрывают встреченную старую колымагу, тратят силы и время на уничтожение гроба с окаменевшим экипажем? Это неясно, это подозрительно. За этими существами надо внимательно следить. И они высылают локатором конус лучей, достаточно широкий, чтобы охватить им почти всю систему Красного Карлика. Прежде чем лучи, двигающиеся со скоростью света, достигли неизвестного корабля, проходит несколько недель. Когда отраженное кораблем эхо возвращается, люди узнают, что этот корабль с огромной скоростью несется к их планете. Тогда люди — ведь мы на место неизвестных существ поставили людей — решают ждать.

Наконец корабль доходит до планеты и высылает тридцать малых ракет. Вы считаете, что люди, населяющие Белую Планету, никогда их не видели, не правда ли? Но припомните фотографии, доставленные с мертвого спутника атлантидов. Каким образом атлантиды намеревались метать атомные снаряды? При помощи небольших, четырех-пятиметровых ракет. И вот на небе Белой Планеты появляются тридцать малых ракет, которые ведет одна большая. Не следует ли предположить, что эта большая ракета представляет собой корабль с экипажем, который должен спуститься ниже туч, высмотреть цели и обрушить на них тридцать урановых снарядов? Что сделать, чтобы избежать губительного нападения? Надо обезвредить бомбы. Как? Обитатели планеты в свое время посетили мертвый спутник, просветили при помощи астрона бомбы и знают их конструкцию..

Для того чтобы взорвать бомбы, надо создать соот-

ветствующее энергетическое поле в верхних слоях атмосферы... «Но, — продолжают рассуждать люди, — поступим так лишь с бомбами. На большой корабль с экипажем мы нападать не будем. Пусть неизвестные пришельцы видят, что мы не хотим ни бороться с ними, ни уничтожать их». И весь этот план они проводят в жизнь .. Как видите, — продолжал Гообар, — если на место неизвестных существ поставить людей, окажется, что люди стали бы действовать так же, как действуют неизвестные существа. Значит, эти существа должны быть поразительно похожи на людей. Значит, уже во время первой космической экспедиции, выбрав в качестве ее цели ближайшую к нам звезду, познакомившись лишь с одной из миллиона планетарных систем Галактики, мы сразу обнаруживаем существа, похожие на человека. Я прилагаю основы человеческой логики, когда разбираю поступки неизвестных существ не потому, что эта логика самая точная, а потому, что она неизбежна. Чтобы господствовать над материальными силами Вселенной, человек на протяжении тысячелетий должен был выработать именно такие методы индуктивного и дедуктивного суждения, методы, вытекающие из простых рефлексов любой живой материи. Существа, которые стали бы воздавать звездам почести, вместо того чтобы исследовать их внутреннее строение, недалеко ушли бы вперед в своем развитии... Поэтому, если обитатели Белой Планеты создали высокую цивилизацию — а в этом нет сомнений, — то их разум должен руководствоваться законами логики, подобной нашей.

Но как могло случиться, что мы узнали все это только теперь, не приняли никаких мер предосторожности, ничего не предусмотрели и с поразительным легкомыслием допустили ошибку, приведшую к столь трагическим последствиям? Я отвечаю: причина заключается в нашей трусости. Встреча с мертвым спутником была делом случая, но то, что произошло потом, не имеет ничего общего со случайностью. Не случайно, что мы с такой поспешностью уничтожили его. В основе наших действий лежало предвзятое мнение, что акт уничтожения спутника — исключительно наше, человеческое, земное дело, что никто не должен обратить на это внимания, а раз не должен, то и не обратит. Подобное фальшивое, алогичное

рассуждение возникло из желания лишить этот окаменевший памятник какой бы то ни было связи с нашим прошлым. Мы так стремились ликвидировать это воспоминание, что хотели стереть в нашей памяти и встречу с мертвым кораблем и уничтожение его, будто эти события *никогда не имели места*. За отсутствие мужества, за поспешное уничтожение спутника атлантидов мы вынуждены были заплатить жизнью наших товарищей. Мы не хотели ничего знать о тех людях, — но ведь они все-таки были людьми! От прошлого нельзя отмахнуться. Нельзя вычеркнуть из него даже то, что чуждо, враждебно нам. Мы можем из его наследства выбирать то, что нам нужно, но надо иметь мужество помнить всю историю человечества как часть истории планеты. Этот страшный урок важен и для нас, и для будущих поколений.

В заключение скажу несколько слов об общественном строе Белой Планеты. Мы мало знаем о нем, но то, что *мы знаем, весьма важно*. Локаторный сигнал, который контролировал наши движения, носил непрерывный характер, хотя планета вращается; следовательно, его посылали передатчики единой системы, опоясывающей всю планету, и, по мере того как одни скрывались за горизонтом, они передавали свои обязанности следующим. Локаторная сеть носит общепланетарный характер, работает на всю планету в целом: с точки зрения технической, ее обитатели объединены так же, как и мы. Объединение на основе техники, естественно, связано с общественным объединением. Таким образом, не имея ни намерения, ни права решать вопрос о наших дальнейших шагах, я хотел бы выразить убеждение, что мы должны предпринять попытку договориться с жителями планеты. Приведет ли эта попытка сразу к успеху, неизвестно. Мы в течение многих столетий были защищены от неизвестности, от неведомого и грозного, от битв и поражений, и мы забыли, что цивилизация никогда не возникла бы, если бы ради нее наши предки не были готовы на подвиг.

Теперь мы, в свою очередь, стоим на пороге новой эпохи. Наступил переломный момент. Он требует от нас многого, чего никто никогда не требовал на Земле, и мы должны сделать это. Таковы законы истории. Человече-

ство не может остановиться на своем пути. Этот великий шаг вперед должен быть сделан, потому что мы внутренне согласны с его необходимостью, которая уже для следующих поколений будет новой, высшей свободой.

Едва Гообар закончил свою речь, на трибуну поднялся Тер-Акониан и, приблизив к глазам лист бумаги, начал читать:

— «Совет астронавигаторов — экипажу корабля.

В ближайшие годы человечество начнет трансгалактические полеты. Будущие экспедиции должны иметь опорные базы на промежуточных космических станциях, созданных на небесных телах, находящихся вблизи солнечной системы. Положение системы Центавра делает ее естественной базой таких станций для экспедиций в направлении Южного полюса Галактики, а также Магеллановых Облаков. Учитывая это, совет астронавигаторов постановил:

1. Продолжать попытки снестись с Белой Планетой.

2. *Попытки эти могут закончиться гибелью корабля.* Их продолжит следующая экспедиция, но космическая станция будет построена в таком случае на четверть века позднее. Этого нельзя допустить. Прежде чем «Гея» предпримет попытку установить связь с Белой Планетой, мы выберем самую подходящую из планет созвездия Центавра для постройки на ней промежуточной космической станции. Оставленные на ней машины начнут строительные работы под контролем одного человека. Совет астронавигаторов решает оставить на этой планете пилота и специалиста по кибернетике Зорина, поскольку он обладает всесторонним образованием и имеет значительный опыт в строительстве звездоплавательных станций».

Когда астронавигатор кончил читать и посмотрел на собравшихся, я заметил, что сидевшая внизу Анна встала и вышла в боковые двери. На трибуну поднялся Зорин. Шум, послышавшийся в амфитеатре при последних словах Тер-Акониана, замер. По законам межпланетных сообщений, человек не может остаться на звездоплавательной станции один: с ним должен быть хотя бы один товарищ. В соответствии с обычаем, Зорин должен был указать его теперь. В зале стояла чуткая тишина, словно пилот, обводя глазами море голов, совершал именно те-

перь свой выбор, хотя мы знали, что он уже сделал его и лишь ищет того, кого предназначил себе в спутники. Вдруг сердце мое забилось. Напрасно я говорил себе, что это невозможно, что это бессмыслица: кто я для Зорина? Один из членов экипажа, человек почти чужой; другое дело, если бы это был Амета...

Сидевшие в зале еле заметно поднимали головы, встречаясь взглядом с пилотом и еле заметно опускали их, когда он отводил глаза. Вдруг пилот посмотрел на меня; его взгляд был так напряжен, что, не отдавая себе отчета в этом, я встал.

— Ты согласен? — долетел до меня как бы издали голос первого астронавигатора.

— Согласен, — ответил я.

По залу прошел глухой шум.

Зорин и Гообар беседовали с астронавигаторами; люди уходили или окружали трибуну. Выйдя в пустой и тихий коридор, я не чувствовал ничего — ни подъема, ни гордости, ни радости. Я очутился в фойе. Передо мной была скульптура Соледад — белый юноша, стоящий на пьедестале. Позади было восемь лет — и каких лет! Насколько старше я стал теперь, чем был в момент отлета. А этот белый юноша совсем не изменился: он по-прежнему всматривался в будущее. Я окинул взглядом скульптуру и подошел к ней, как бы прощаясь. Мое сердце сжалось: я вспомнил об Анне. Куда она могла пойти?

Ближайший лифт привез меня в сад. Я увидел Анну издали: она сидела в траве, густо поросшей незабудками. Амета очень любил цветы. Он неохотно ставил их в вазы. «Если хочешь быть с цветами, — говорил он, — ступай к ним». Широко раскинув руки, Анна прикасалась к цветам, как слепая. Я остановился позади нее.

— Это ты... — негромко проговорила она.

Я стал на колени рядом с ней и поцеловал ее маленькую ладонь, ощущая под пальцами в тех местах, которые часто соприкасались с инструментами, небольшие мозоли.

— Ты был на собрании до конца? — спросила она.

— Да.

— Зорин?

— Да.

— И ты?

— Да...

Она умолкла.

— Ты это услышала дома? — спросил я.

— Нет.

— Как же ты узнала?

Она подняла голову:

— Я так думала... А ты не думал?

— Нет, — сказал я, удивленный.

Она улыбнулась:

— Ты всегда догадываешься последним...

С ее лицом творилось что-то недоброе: я видел, как она старалась улыбнуться, потом отвернулась. Больше мы не говорили ни о чем.

Ночью я проснулся и сразу вспомнил все, что случилось. Светил синий ночник и сквозь стекло ширмы на подушку падало несколько мелких голубых пятен, похожих на листочки незабудок. Анна лежала на спине, закинув голову, ее густые темные волосы оттеняли лицо. Она всматривалась в одну точку на потолке. Я закрыл глаза, но уже не мог заснуть. Вдруг она сказала:

— Ты вернешься?

Я приподнялся.

— Любимая...

Она посмотрела на меня, ее глаза были рядом со мной.

— Знаешь, я не могу теперь поверить, что было такое время, когда я не знала тебя... Это чувство так велико, что у него нет начала... поэтому я не могу себе представить, что может быть...

Она не докончила. Я не спрашивал ни о чем. Мои объятия становились все теснее. Она вздохнула и тихо прошептала:

— Они все же были очень счастливы...

— Кто, дорогая?

— Древние.

— Ты так думаешь?

— Да. Они верили в вечность...

Три месяца «Гея» двигалась в системе Центавра. Как искры, возникали планеты. Они росли и заслоняли собой небо. Пилоты спускались с галереи цепочкой серебряных фигур и исчезали в люках ракет.

Сколько раз повторялись расставания и возвращения! Крепкие рукопожатия, грохот включенных двигателей, удар невидимого колокола стартовой катапульты, тишина после отлета, губы, которые шевелятся беззвучно, пересчитывая вернувшиеся из полета ракеты, почерневшие от жара, который охватывал их в густой атмосфере встречных планет...

С Зориным я виделся в эти дни редко. Он вместе с другими конструкторами работал над проектом космической станции; первоначальный набросок проекта был сделан год назад, и теперь весь коллектив Тембхары корпел над его детальной технической разработкой. Зная, как опасно для ума безделье, и желая быть не только товарищем, но и помощником Зорина, я изучал радиотехнику и восстанавливал знания по кибернетике, полученные еще в юношеские годы. Я не отрывался от трионов, даже когда мы описывали круг около очередной планеты, не спускался ни на одну из них, но друзья Аметы не забывали обо мне. Уль Вефа первый принес и молча высыпал на мой стол груду искрящихся разноцветным огнем вулканических минералов с планеты, которую ему пришлось посетить. Теупане привез мне в другой раз осколок лавы с окаменевшим трехпалым оттиском. Растущее число экспонатов этой единственной в мире коллекции свидетельствовало об успехах нашего путешествия.

Мы не посылали ракет на две планеты: одна из них была совершенно пустынной, высокая температура другой не позволила людям даже на короткое время задержаться на ее поверхности. Однако произведенные сквозь слои горячих облаков снимки обнаружили на ней движение, носившее какой-то загадочный характер. Из высланных в разведку огнеупорных автоматов обратно вернулось меньше половины. Их сообщения были неясны: нельзя было понять, являлись ли большие членистоногие создания, ползавшие по остывавшим вулканическим скалам, машинами, уцелевшими после какой-то катастрофы, или же небелковыми формами жизни. Напрасно астробиологи настаивали на необходимости произвести точные исследования: все было отложено на будущее время, и «Гея» направилась в дальнейший путь.

Мимо новой планеты мы прошли ночью, на неболь-

шом расстоянии. Корабль наполнился тонким, проникающим в самые отдаленные уголки свистом холодильных установок, в которых циркулировал жидкий гелий. В черном звездном небе, подобно бурой прорехе, зиял серп планеты. Увеличительные стекла показывали поверхность, покрытую группами трещин, похожих на черных пауков; планета переживала период горообразования, сквозь огромные разломы ее коры вырывались реки тускло пылающей лавы.

Систему солнца А замыкали остывшие планеты типа Нептуна. Удалившись на миллиард километров от их орбит, мы попали в сферу солнца Б. Зона его притяжения была свободна от планет. Разбросанные на огромном пространстве, здесь кружили лишь большие и малые астероиды, остатки планеты, распавшейся тысячи веков назад. По решению совета астронавигаторов, промежуточную трансгалактическую станцию собирались создать на одном из этих лишенных атмосферы обрывистых каменных осколков. В пространстве носились сотни таких тел, поэтому возможность выбора была большой. Но облюбованный планетоид должен был отвечать многим требованиям. Его орбита должна была возможно больше приближаться к кругу, чтобы он не слишком далеко удалялся от солнца и не слишком близко подходил к нему. Она не должна пересекать орбиты других тел, чтобы не подвергаться опасности серьезных столкновений; и должна проходить вдали от больших метеоритных потоков, встречающихся на периферии «мусорной свалки двойной системы».

Поиски места для создания трансгалактической станции продолжались месяц. Обсерватории работали день и ночь. Телетакторы и радароскопы неустанно обследовали пространство. В результате этой «охоты» выбор астронавигаторов пал на астероид диаметром около четырехсот километров, обладающий вследствие этого силой тяготения хотя и незначительной, но достаточной для того, чтобы человек мог передвигаться по нему без опасения улететь в пространство.

Мы приближались к астероиду, и этот осколок, казалось, начинал нам подмигивать острым, кошачьим глазом: он или очень быстро вращался вокруг оси, или был очень неправильной формы. Своими удлиненными очер-

таниями он напоминал скорее висящий во мраке горный хребет, чем планету.

«Гея» две недели летала вокруг него. Тектоники подтвердили, что плотность скалы достаточна и обеспечивает ее устойчивость на протяжении ближайших тысячелетий. Началась переброска на поверхность астероида машин, строительных материалов и запасов продовольствия.

Автоматы-строители быстро вгрызлись в скалу и вырыли в ней два круглых углубления. В одном из них поместилась бронекамера сферической формы с резервуарами воздуха, в другом — атомный склад, который должен был снабжать нас электрической энергией и теплом.

День за днем грузовые ракеты перевозили на астероид сырье и части сборной конструкции: из нее предстояло построить передающую и локаторную станции; остальной груз был сложен непосредственно между скалами.

Мы коротко и просто попрощались с товарищами и сказали близким слова, которые говорятся перед недолгой разлукой. Когда мы с Зорипым, одетые в скафандры с откинутыми назад шлемами, спускались на первый путь, где стояла готовая к старту ракета, из-за колонны выбежала девочка и, держа обеими руками огромный букет белой сирени, остановилась перед нами. Девочка была маленькая, лет четырех, с косичкой, похожей на мышиный хвостик, и густым румянцем на щеках. Она с трудом подняла букет и вручила его Зорину.

— На, — сказала она, — а когда вернешься, опять будешь рассказывать сказки?

— Конечно, буду, — ответил Зорин. — Тебя как зовут?

— Магда.

— Кто дал тебе эти цветы?

— Никто, я сама взяла!

Она облегченно вздохнула, довольная, что все так хорошо удалось, и со всех ног пустилась бежать, заметив приближающихся астронавигаторов.

Тер-Акониан, Пендергаст и Ирьола, не сказав ни слова, пожали нам руки. Зорин первый протиснулся в узкое входное отверстие ракеты и протянул руку за букетом, который я ему осторожно подал. Следом за ним опустил

ноги во входное отверстие и я. Забравшись по пояс внутрь ракеты, я увидел женщину, которая стояла на балконе второго яруса. Это была Калларла. И я вдруг догадался о том, чего не знал до сих пор: Калларла ждала ребенка. Ее фигура сохраняла девичьи очертания, но я угадал это по какому-то ее жесту, по глазам, по такому выражению лица, словно она прислушивалась не к окружающему ее, а к собственному телу, внутри которого ощущались первые движения нового человека.

МАГЕЛЛАНОВЫ ОБЛАКА

Букет сирени стоял на окне в стеклянной колбе. Сидя за столом, я видел, как автоматы бурили в скале десятки отверстий, образующих концентрические круги. Потом они закладывали взрывные заряды и удалялись. Взрыва не было слышно. Скала, раздробленная на куски, взлетала вверх, стреляя дымом и камнями. В безвоздушном пространстве дым тяжело падал вниз. Почва дрожала, ветки сирени роняли мелкие крестообразные цветы. Автоматы выбирались из-за укрытий, спускались в воронку, укладывали слоями металлические полосы. Затем в поле зрения появлялся еще один автомат. Он выдвигал головку на длинном рычаге и вращал ею, до смешного похожий на металлического жирафа, который вертит головой на длинной шее и ищет листьев. Вспыхивал сине-стальной свет. Расплавленный атомным излучением металл, равномерно растекшийся по поверхности воронки, застывал. Автоматы ходили по его шероховатой поверхности и полировали ее, пока она не начинала сверкать живым серебром.

Другие закладывали заряды где-то вдали, рыли котлованы под мачту антенны. Почва чуть заметно дрожала. Все больше белых цветов опадало с веток.

На пятый день Зорин сказал:

— Жаль, что у нас нет печи... такой древней, в которой горел обыкновенный огонь, понимаешь? Мы сожгли бы ветки. Ты помнишь запах дыма от очага?

— Помню.

Когда в полдень, надев скафандр, он выходил во второй раз, чтобы проверить, как продвигается работа, он

взял эти ветки с собой. Через час он вернулся. Ветки были заткнуты за пояс. Я это заметил, но не сказал ничего.

Он перехватил мой взгляд.

— Я не мог оставить их, — объяснил он. — Тут сплошной камень. Если бы было хоть немного земли...

— Хорошо, что ты принес их, — сказал я. — У сирени такая мягкая сердцевина, ее легко можно строгать. Когда я был ребенком, я часто играл с ней.

Ветки вернулись в пустой сосуд и остались в нем. До конца.

Автоматы работали круглые сутки. День или ночь — для них было все равно. А для нас — нет. Трудно было привыкнуть к новому чередованию периодов сна и бодрствования. Астероид вращался так быстро, что через каждые три часа подставлял нашу скалистую равнину под яркие лучи солнца. Ночью обычно светило солнце А, находившееся в двадцати пяти астрономических единицах от астероида и сиявшее гораздо ярче, чем Луна в полнолуние. Днем скалы становились похожи на глыбы раскаленного металла, ночью фосфоресцировали сильным холодным, как лед, блеском. Скорость вращения астероида была так велика, что, глядя в окно, можно было заметить, как удлиняются и растут черные, всепоглощающие тени космического пространства. Когда тень покрывала часть какого-нибудь автомата, казалось, будто его перерубили пополам.

Каждый вечер в миниатюрном мезонине нашего «дома» мы садились за приемники и внимательно прислушивались к глухому шуму в репродукторе. Вдруг в хаосе звуков, похожих на темные волны, появлялись веселые звуки позывных «Геи». Установив временные мачты передатчика, мы каждый вечер поддерживали с кораблем телевизионную связь. Мы видели товарищей, обменивались с ними информацией, рассказывали о том, как продвигается работа; иногда Зорин просил помочь ему в расчетах.

«Гея» летела к Белой Планете; от цели ее отделяли еще две недели пути. За это время мы хотели закончить основные работы по закладке фундамента большого атомного склада, который должен был возникнуть на месте нашего временного.

Как только на астероиде рассветало, мы вставали, обходили разбросанные на площади в несколько квадратных километров места, где шла работа, а потом, не заходя в бронекамеру (мы говорили «домой»), отправлялись на прогулку, ежедневно меняя маршрут.

Приютившая нас скала была скорее карикатурой на планету, чем планетой в миниатюре. Она имела уродливые очертания: я вспомнил, что издали она напоминала плавающий в межзвездном пространстве выветрившийся горный хребет. Во время прогулки наш горизонт то расширялся на несколько километров, то внезапно сужался. На северо-востоке, в тридцати километрах от нашего «дома», плоская равнина заканчивалась обрывом, за которым до самого горизонта тянулась странная чаща — застывший каменный лес. Это не было следствием естественной эрозии, действия воды, ветра и силы тяжести. Это просто был какой-то паноптикум чудовищных, невообразимых форм: окаменевшие булавы и огромные зубчатые осколки, груды вертикальных каменных столбов, ожидающих лишь неосторожного движения, чтобы медленно и лениво, как в ночном кошмаре, сползти вниз. Взобравшись на выступ, господствующий над окружающей местностью, мы видели лес скелетов, простиравшийся под звездным небом и отделенный от него полосой яркого света. Над этим мертвым пейзажем всегда одинаково двигалось солнце. В зависимости от того, находились ли мы в зоне, освещенной солнцем, где почва нагревалась до ста градусов, или попадали в тень, автоматические климатические устройства

скафандра неустанно переключались из одного крайнего положения в другое.

Зорин несколько напоминал своим поведением климат астероида: он то часами молчал, то произносил длинные монологи. Постороннему наша совместная жизнь могла показаться не очень приятной, но это было бы неправдой. Зорин был очень милым собеседником только с чужими; со мной он вел себя точно так, как раньше с Аметой. Его манера внезапно замолкать и задумываться, как бы впадая в летаргический сон, что-то проворчать в ответ, бросить полслова радовала меня. Хотя мы никогда не говорили об Амете, даже не произносили его имени, он каким-то удивительным образом так ощутимо присутствовал среди нас, что часто, когда на прогулке мы открывали местечко, еще более фантастическое, чем другие, я хотел оглянуться, чтобы посмотреть, разделяет ли маленький пилот наши ощущения.

Дней через десять после прибытия на астероид мы сидели на скалистой вершине. Солнце, окруженное яркими космами протуберанцев, висело на западе; второе солнце — солнце А — приближалось к нему в виде маленького ослепительного диска. Мы вышли наружу, потому что хотели увидеть высчитанное заранее затмение одного солнца другим. Когда маленький диск почти прикоснулся к большому, оба выбросили в направлении друг друга огненные щупальца, которые сразу же слились вместе; образовалось странное грушевидное тело, испускающее яркий стальной блеск; потом меньшая, продолговатая часть груши — солнце А — начала медленно скрываться за большей. Сила света не менялась.

Мы долго сидели молча, наконец я попросил Зорина:

— Расскажи какую-нибудь сказку.

Мне показалось, что он не расслышал. Но, помолчав довольно долго, он ответил:

— Я расскажу тебе не сказку, а о сказках. Слышал ли ты о серных гигантах?

— Что-то не припоминаю.

— Ты не мог не слышать. Лет двести назад начали строить первые автоматические ракеты. Они были очень велики — до сорока тысяч тонн весом. В расчетах была допущена какая-то ошибка, и эти уроды роковым образом нагревались до нескольких сот градусов. Их пере-

стали строить, а несколько десятков готовых ракет направили на линию Титан — Земля. Они должны были перевозить серу. Уже во время первого рейса несколько ракет взорвалось. Прессованная сера превращалась в газ и разрывала ракету, как детский шарик. Эти ракеты доставили много хлопот: вернуть на Землю их было невозможно, посылать туда людей нельзя, автоматы тоже жаль — такая дрянь каждую минуту может взорваться. В конце концов повернули всю эскадру по радио и послали к черту: пусть летят за пределы нашей системы, всей Вселенной серой не загадят. Прошел год, ракеты перестали отвечать на радиосигналы, и работники звездоплавательных станций вздохнули спокойно. Но через тридцать лет — бах! — первая катастрофа, за ней вторая.

Эти проклятые ракеты вовсе не собирались улетать от Земли. Они оказались в сфере притяжения Юпитера, который, конечно, расправился с ними по-своему, заставив лететь по какой-то незамкнутой орбите типа параболы. С этого времени они обращаются так: на несколько лет удаляются от Солнца, сидят в афелии и возвращаются вновь. Когда они залетают далеко от Солнца, сера на холоде остается твердой. Когда они возвращаются, уже где-то около орбиты Марса начинают нагреваться, а на траверсе Земли лопаются, как мыльные пузыри. Представляешь себе? Двадцать тысяч тонн серы превращаются в сжатый газ. Ракета взрывается, возникает газовая туча диаметром около ста тысяч километров, которая рассеивается через несколько недель. Но, если недалеко проходит какой-нибудь астероид, он увлекает такую тучу и тянет ее за собой целыми месяцами.

Возникает сферическая масса сернистого тумана или вернее, пыли, потому что газ кристаллизуется в пустоте: снаружи что-то похожее на пушистую оболочку, а внутри — твердое каменное ядро. Туман этот обнаружить в пространстве крайне трудно: летишь и, пока его заметишь, уже сидишь у него в середине, как в кастрюле. Свет не проходит, луч локатора увязает, как в тесте, ничего не видно — ни звезд, ни сигналов — никакой ориентировки, того и гляди врежешься в ядро. Надо сразу выключать двигатели и при помощи гравиметров искать астероид, поворачивать прочь от него, включать сразу максимальное ускорение и удирать. Это, конечно,

легко сказать, а когда влезешь в такой суп, невольно теряешь голову. Хуже всего, однако, с автоматами: подумай сам, ведь на планетах нет и не может быть естественных «сернистых атмосфер», так что ни один пилот-автомат не приспособлен к таким чудесам.

Короче говоря, с Марса на Землю возвращались из экскурсии тридцать детей. Их ракета попала в такой вот сернистый туман, окружающий астероид, который, впрочем — и это очень важно, — был невелик: диаметром не превышал двадцати километров. Пилот-автомат прежде всего попытался маневрировать, а под конец предпринял единственно правильный шаг: выключил двигатели. Этим он избежал катастрофы; притягиваемая астероидом ракета начала снижаться, но, понятно, крайне медленно — такое «падение» может длиться целые недели. Дети отправились с Марса одни: учительнице нужно было выйти на первой звездоплавательной станции.

— Как, а предупредительные сигналы? — спросил я.

— Не знаю, почему все это случилось. Предупредительные сигналы, вероятно, были, но не очень ясные. Бывает такое — теперь реже, чем раньше, но бывает. Это был как раз такой случай, который происходит «раз в сто тысяч лет». Так вот, когда локаторная связь стала отказывать, пилот-автомат выключил двигатели. Трудно описать, что происходило в это время. Тревога подняла на ноги все Северное полушарие; санитарные ракеты волнами шли с Луны, с Марса, с Земли — около шестисот ракет. Впервые за тридцать лет во второй зоне Марса было на несколько часов прекращено все грузовое движение.

Но, прежде чем спасательные ракеты прибыли на место, там уже оказался один человек. Это был пилот Института скоростных полетов, который проводил испытание ракеты, рассчитанной на очень высокие скорости. Горючее у него было на исходе, и он уже возвращался на базу, как вдруг услышал радиосигнал: он сошел с курса, а так как его ракета развивала громадную скорость, то уже через четверть часа оказалась в тумане. Некоторое время он кружил, пока наконец не услышал детский плач. Конечно, этот плач передавался по радио из ракеты. Радио работало на очень длинных волнах, и он не мог определить направление, зато мог разговаривать с

детьми. Он немедленно выключил двигатели и, в свою очередь, начал снижаться по направлению к астероиду.

— А почему он не стал искать эту ракету?

— Гм! А ты не пробовал искать в океане потонувшую иглу? Туман охватывал пространство в двести миллиардов кубических километров, и ты мог бы искать всю жизнь и не найти ничего. А снижаясь, в конце концов он мог приблизиться к ней на пятнадцать — двадцать километров, потому что, повторяю, астероид был очень мал. Так он снижался с выключенными двигателями и разговаривал с детьми. У них было всего вдоволь: продовольствия, воздуха, воды, но они боялись, и он до самой ночи рассказывал им сказки. Когда они уснули, он продолжал бодрствовать, а рано утром снова начал рассказывать. Испытательный полет продолжается обычно часа два. У него было с собой лишь несколько укрепляющих таблеток и немного кофе, которым он время от времени смачивал горло, чтобы не потерять голос. Ты представляешь себе? Это была не обычная ракета, а машина Института скоростных полетов, пилот лежал в пневматическом гамаке, весь обвязанный с головы до ног, в темноте, с микрофоном, прижатым к шее, и рассказывал сказки. Первые спасательные ракеты прилетели лишь на следующий день, но прошло еще несколько часов, пока они нашли его и детей.

— Этим пилотом был ты?

— Нет, Амета.

— Амета?

— Да.

— И он тебе рассказывал про это? — недоверчиво спросил я; это было так не похоже на Амету.

— Нет.

— Откуда же ты знаешь все подробности?

— Пора идти, солнце заходит. Надо еще пройтись по шестому участку... Откуда я знаю всю эту историю? Да я сам был одним из этих детей...

Когда мы проверили, как подвигается работа, и возвращались в наш бронированный «дом», край солнечного диска, похожий на линялый гребень из лучей, опускался за горизонт. Все пространство вдруг охватил беспросветный, непроницаемый мрак и мы шли, погрузившись в него сначала по колено, потом по пояс и, нако-

нец, по шею. Лишь самые высокие вершины скал сияли над морем тьмы, которая гасила их одну за другой. Зорин, молчавший всю дорогу, остановился у входа и неожиданно сказал:

— Нашлись люди, которые стали говорить, что он поступил безрассудно, неосторожно. Он им ответил: «В океане, в известковых раковинах живут крохотные создания; за семьсот миллионов лет они совершенно не изменились. Вот они — самые осторожные создания на свете».

Подсчеты, необходимые для строительных работ, нам производил электронный мозг. Вечером Зорин садился за стол и начинал с ним разговаривать. Электронный мозг был небольшой и очень узко специализированный и, естественно, не мог равняться с мощными генеральными автоматами «Геи». Поэтому Зорину часто приходилось долго ждать, пока автомат выполнит задание, и он прозвал машину «дурнем». Эта кличка со временем приобрела любовный оттенок. Несколько вечеров подряд Зорин, занятый проверкой хода строительных работ, не анализировал данных астролокаторной разведки, сообщавшей обо всем, что происходит вокруг осколка скалы, на котором мы совершали путешествие в пустоте. Когда он наконец взялся за них, то сразу помрачнел и передал «дурню» ряд цифр. Тот, как обычно, затянул анализ, и, не дождавшись ответа, мы ушли спать. Ночью Зорин встал и подошел к автомату. Вернувшись, он принялся свистеть; это было у него признаком очень плохого настроения. Я не спрашивал ничего, зная, что у него каждая мысль должна улежаться.

— Знаешь, — сказал он под конец, — кажется, мы попадем в кашу.

На языке пилотов «каша» обозначает метеоритный поток. Сообщение Зорина меня не очень взволновало.

— Ну и что ж? — возразил я. — Ведь и наш дом, и атомный склад, и ангар автоматов рассчитаны с достаточным запасом прочности; как-нибудь переживем несколько часов. Но странно, неужели астронавигаторы ошиблись?..

Зорин ничего не ответил, лишь перед самым уходом обронил:

— Это не обычные метеориты, понимаешь? Они из другой системы.

Зорин пошел к автоматам, которые продолжали работать, и у меня оставалось не меньше часа, чтобы поразмыслить над тем, что он сказал. Как известно, здесь бывают два типа метеоритов: одни возникают в данной системе, движутся по замкнутой кривой, и скорость их по отношению к нашей маленькой планете не может превысить нескольких километров в секунду. «Чужие» же метеориты, рои каменных и железных скал, мчащихся по параболам, могут по отношению к телам любой системы развивать огромные скорости, доходящие до ста километров в секунду. Кажется, наш локатор уловил отражение именно такого потока.

Два дня мы не вспоминали об этом, только Зорин все позже засиживался по ночам над пленками радароскопов и все чаще поглаживал волосы с таким усердием, будто хотел снять свой собственный скальп. Автоматы оборудовали дополнительными щитами наше помещение и крышу атомного склада, который находился в полукилометре от «дома» и представлял собой металлический цилиндр, на три четверти углубленный в скалу.

Предположение Зорина превратилось в уверенность. Фотопластинки уловили на одном участке неба крохотное туманное пятнышко, будто кто-то запачкал снимок; там двигалась туча тел, столь мелких, что ее составные элементы нельзя было различить и она казалась единым целым. Но сквозь нее просвечивали звезды; значит, это было не единое тело, а рой маленьких осколков.

— Может быть, это пылевая туча? — сказал Зорин, когда мы обсуждали, сообщить ли на «Гею» о наших опасениях.

Мы решили, что сообщать не стоит, поскольку товарищи помочь нам не могут, а будут лишь без пользы волноваться. Весь следующий день работа продолжалась как обычно; закладка второго котлована под склад приближалась к концу, ангар автоматов был прикрыт дополнительной броней. Мы не могли лишь защитить временную мачту радиостанции, которая поднималась на сорок пять метров над уровнем равнины и удерживалась системой стальных канатов, растянутых якорями.

Ночью меня разбудил гром, такой сильный, словно над моей головой ударили в набат. Кровать прыгала как живая. Я сел, опустил ноги и босыми ступнями ощутил, как дрожит мелкой дрожью пол. Спросонок у меня мелькнула мысль, что наш астероид — пробудившееся живое чудовище, каменная кожа которого начинает шевелиться. Почва заколыхалась еще сильнее.

— Слышишь? — спросил я впотьмах.

Ответа не было, но я знал, что Зорин не спит.

Через четверть часа взошло солнце и ярко осветило окрестность. Скалистая равнина взрывалась одновременно в десятках мест до самого горизонта. Не было слышно ни звука, только белые брызги камней видчелись то ближе, то дальше да время от времени почва колебалась, как палуба корабля, который борется с бурей. Невидимые во время полета метеориты отскакивали от скал, вращаясь с головокружительной быстротой. Мы молчали, а за окнами по-прежнему падал каменный дождь. Скалы дымились, песчаные фонтаны то взлетали, то опадали, иногда отзывались тонким звоном осколки, ударявшиеся о наши стены; и вновь наступала тишина, которую внезапно прерывал металлический грохот, будто взрывался и валился нам на голову потолок: это шальной осколок попадал в верхнее покрытие бронекамеры.

Через три часа солнце зашло. Метеориты падали реже и слабее; планета прикрывала нас от главного потока.

Мы еще не знали, каков путь этого потока и как далеко он простирается. Приходилось ждать. Наступил день, и почва опять заколебалась. Нам пришлось вновь испытать мощные удары, блиндаж отражал их, издавая тяжкий звук; казалось, что стальные стены прогибаются и уступают бесчисленным ужасным ударам. Ночью каменный град хотя и ослабел, но все же был так густ, что нечего было и думать о том, чтобы выйти из бронекамеры. А ведь град только начался.

В нечеловеческом сверкании раскаленных солнцем скал и в ледовом мраке ночи бушевал камнепад. Под его ударами почва дрожала, как живое существо, стены тряслись, лихорадочная дрожь расползалась по предметам, пронизывала наши тела. Мы были в тюрьме.

Связь с атомным складом и ангаром автоматов пока не была нарушена. Когда на следующую ночь бомбарди-

ровка ослабела, мы вызвали автоматы и приказали приступить к работе. Они вышли, но приблизительно через час один из них рухнул, разбитый прямым попаданием; его панцирь разлетелся, как стеклянный. Другие заколебались, прервали работу и вернулись в ангар: начали действовать предохранительные устройства. Утром мы увидели разбитый автомат: он лежал на расстоянии трехсот с лишним метров от бронекамеры, вдавленный в песок черными осколками.

Мы рассчитывали, что астероид скоро выйдет из потока и адский обстрел прекратится, поэтому ни о чем не сообщали нашим товарищам.

Радиостанция находилась на верхнем этаже бронекамеры и сквозь иллюминатор, расположенный в центре купола, обычно было видно черное небо. Теперь автоматическое приспособление закрыло его стальной крышкой. Здесь, наверху, мы беседовали с товарищами. Мы держали связь ночью, когда метеоритов было меньше; прямое попадание в камеру было маловероятным, и нам удавалось скрыть события. Мы молчали главным образом потому, что «Гее» оставалось лишь пять дней пути до Белой Планеты и все внимание товарищей было сосредоточено на проблеме сношений с ее обитателями. Разговаривая с друзьями, мы слышали легкий, ни на мгновение не прекращавшийся шорох — это космическая пыль сползала с покатой поверхности крыши и все более толстым слоем покрывала стены; наш бронированный дом был под конец наполовину засыпан этим звездным песком.

На следующий вечер радиоприем значительно ухудшился. По окончании беседы с «Геей» мы обнаружили, что главный рефлектор антенны сбит с места и продырявлен в нескольких местах.

— Работа стоит уже три дня, — заметил я, — а теперь нам грозит потеря связи.

— Автоматы починят антенну.

— Ты уверен, что они пойдут?

— Да.

Зорин подошел к пульту управления и вызвал по радио автоматы. Стояла уже ночь, метеориты падали реже. Он послушал и выключил микрофон.

— Идут? — спросил я.

Он стоял посреди комнаты, широко расставив ноги, как борец, прищурившись наблюдающий за противником, и молчал.

— Что мы будем делать? — спросил я.

— Будем думать. А пока — споем.

Мы пели почти час. То он, то я вспоминали всё новые песни. Мимоходом он заметил:

— Предохранительное устройство можно выключить, понимаешь?

— Да, но только не на расстоянии, — возразил я.

Мы продолжали петь. По временам Зорин прислушивался. Наконец он встал и огляделся в поисках скафандра.

— Ты хочешь идти туда?

Он молча кивнул головой, влезая в головное отверстие серебристого скафандра. Затем он подтянул скафандр кверху за воротник и проворчал:

— Хорошо, что у нас нет предохранителей...

— Подождем немного, — начал я, будучи не в силах помешать ему.

— Нет. Может остановиться работа; надо починить антенну. — Он проверил застежки на плечах, поднял с полу шлем, взял его под мышку и направился к двери.

«Будто его и не было, — мелькнуло у меня в голове. Чувство беспомощности исчезло. Меня охватило холодное бешенство. — Я, пожалуй, немного похож на него», — подумал я, торопливо надевая скафандр. Когда я, застегивая ремни, вышел в шлюз, он стоял у двери. Услышав мои шаги, он обернулся, не снимая руки с затвора. Я сделал вид, что не замечаю этого, закрыл внутреннюю дверь и подошел вплотную к нему.

Так мы стояли в слабом свете лампы — две серебристые фигуры на фоне темных стен.

— Что это значит? — спросил он наконец.

— Я иду с тобой.

— Это бессмыслица.

— Я этого не думаю.

— Послушай, что ты делаешь?

— А что ты делаешь?

Он постоял не шевелясь и вдруг рассмеялся по-своему, почти беззвучно. Взял меня за руку; я упирался, предчувствуя, что он начнет меня разубеждать.

— Послушай, — понизил он голос, — ты помнишь, зачем нас высадили здесь?

— Помню.

— «Гея» может не вернуться.

— Я знаю об этом.

— Кто-то должен остаться и построить станцию.

— Согласен, но почему должен идти ты, а не я?

— Потому, что я лучше тебя справлюсь с этим делом.

На это я не мог ничего возразить. Он снова повернулся ко мне.

— Ты пойдешь, — сказал он, — если мне не удастся. Хорошо?

— Хорошо, — ответил я. — Буду поддерживать с тобой связь по радио.

Он молча повернул рычаги. Раздалось шипение воздуха, всасываемого внутрь камеры; стрелка манометра лениво приближалась к крайней черте, несколько раз качнулась около нее и остановилась у края шкалы Зорин толкнул большие рычаги выходной двери. Она не открылась... Он выругался и нажал сильнее. Я помог ему. Дверь медленно поддалась. Через щель к нашим ногам хлынул сыпучий песок. Его струя все увеличивалась. Наконец дверь открылась. У выхода образовалась глубокая воронка. Бронекамеру окружали высокие песчаные холмы. Залитая холодным светом далекого солнца А Центавра, равнина была мертва и тиха: она была похожа на мозаику, выложенную из угля и серебра и неравномерно потрескавшуюся. Зорин поднял правую руку и исчез из глаз. Я выглянул в открытую дверь: он шел, утопая в песке почти до колен. Я огляделся, стараясь увидеть вдали сводчатую крышу атомного склада, рядом с которым помещался ангар автоматов, и вздрогнул. В темноте сверкнула короткая вспышка, за ней — послабее — другая, третья, четвертая. Это были метеориты. Энергия удара воспламеняла их. Я стоял неподвижно, горизонт сверкал. Зорин был уже таким маленьким, что я мог бы закрыть его фигуру вытянутым пальцем.

— Как ты там? — спросил я в микрофон, чтобы сказать что-нибудь.

— Как в сиропе, — ответил он сразу же.

Я умолк. Вспышки появлялись то в одном, то в другом месте: казалось, какие-то невидимые существа подают друг другу световые сигналы. Вдруг я сообразил, что стою под открытым небом. Это было бессмысленно: если уж подвергаться опасности, надо было идти с Зориным. Я вошел в шлюз и потерял его из виду. Подняв руку, я оперся о притолоку: так можно было следить за циферблатом и смотреть на горизонт, видневшийся в полуоткрытую дверь. Вспышки продолжались. Секундная стрелка передвигалась по циферблату, как напрягающее силы насекомое. Я ждал.

«Еще три минуты», — подсчитал я в уме и громко спросил:

— Идешь?

— Иду.

Я задавал этот вопрос несколько раз и получал на него однообразный ответ. Вдруг я увидел вдали две вспышки и услышал слабый стон.

— Зорин!

— Ничего, ничего, — ответил он сдавленным голосом.

Я вздохнул облегченно: метеорит не попал в него, иначе он погиб бы на месте.

«Идешь?» — хотел спросить я, но у меня перехватило дыхание. В наушниках слышался страшный треск.

— Пусти же... — невнятно бормотал Зорин, — зачем ты держишь? Ну...

— С кем ты говоришь? — спросил я, чувствуя, как волосы поднимаются у меня дыбом.

Он не отвечал. Было слышно его срывающееся дыхание, будто он силился поднять что-то. Одним прыжком я выскочил наружу. Равнина, залитая холодным светом, была мертва и пуста. Я сообразил, что Зорин находился где-то в трехстах пятидесяти — четырехстах метрах, но видел лишь зубчатые скалы, холмы, длинные тени и больше ничего.

— Зорин! — закричал я так, что у меня зазвенело в ушах.

— Иду, иду, — отвечал он все тем же сдавленным голосом.

Песок в одном месте зашевелился, серебристая фигура вынырнула из него, выпрямилась и медленно двинулась вперед.

«Он упал, — подумал я. — С кем же он говорил?»

Решив задать этот вопрос поздней, я вернулся внутрь шлюза. Вдруг в наушниках послышался голос Зорина:

— Я дошел.

Он бормотал что-то, видимо копаясь в песке, засыпавшем вход в ангар.

— Начинаю действовать, — минуту спустя сказал он.

Работа затянулась дольше, чем я предполагал: полчаса по секундомеру, а если судить по напряжению моих нервов — целую вечность. Наконец он сказал:

— Кончено. Теперь они будут послушны, как кролики. Возвращаюсь.

Мне показалось, что вспышки участились, — впрочем,

может быть, только показалось. Несколько раз под ногами вздрогнула почва. Эта дрожь, на которую мы в камере не обращали внимания, заставила мое сердце учащенно забиться. Зорин возвращался страшно медленно, но в наушниках слышалось тяжелое дыхание, словно он бежал. Теряя терпение, я несколько раз в волнении выходил за дверь. Белый диск солнца А Центавра приближался к скалистому горизонту. Ночь подходила к концу. Вскоре метеоритный дождь должен был усилиться.

— Что ты медлишь? — закричал я наконец.

Он ничего не ответил, но дышал по-прежнему тяжело. Я не мог понять причины этого — ходьба не могла так измотать его.

Вдруг он появился в двери и поспешно, но как-то неуверенно вошел в шлюз. Закрыв за собой дверь, он сказал:

— Войди внутрь.

— Я подожду... — начал я.

Но он резко прервал:

— Войди внутрь! Я приду сейчас.

Я подчинился. Сняв скафандр в шлюзе, он через минуту вошел в кабину. Медленно подошел к столу, над которым висела лампа, поднял руки к глазам, растопырил пальцы и что-то пробормотал. Его широкая спина была как-то неестественно согнута.

— Что с тобой?.. — прошептал я.

Он оперся о ручку кресла.

— Плохо вижу, — глухо ответил он.

— Почему? Метеорит?

— Нет. Я упал.

— И что же?

— Споткнулся о разбитый автомат...

— Говори же!

— Кажется, у него резервуар, понимаешь... атомное сердце было расплющено.

— И ты упал на него? — в ужасе закричал я.

Он кивнул головой.

— Присоски, понимаешь... магнитные присоски сапог приросли к металлу, и я никак не мог освободиться...

Ко мне возвращалось спокойствие. Ум был охвачен страшным холодом, но в голове стало яснее. Я знал: надо действовать немедленно.

Метеорит ударил в наш автомат с такой точностью, что атомное сердце было разбито, и Зорин, споткнувшись, упал всем телом на его обломки, излучающие мощную радиацию.

— Что ты чувствуешь? — я сделал шаг к нему.

— Не приближайся... — сказал он, отступив на шаг.

— Зорин!

— Я могу убить тебя. Надень защитный панцирь.

Я бросился во вторую кабину и надел тяжелый металлический костюм. Застегнуть его на груди я не смог: у меня тряслись руки. Когда я вернулся, Зорин полулежал на кресле.

— Что ты чувствуешь? — повторил я.

— Собственно, ничего... — Он говорил, как крайне усталый человек, делая небольшие паузы. — Когда я упал, сразу... увидел фиолетовый туман, пульсирующее облако... у меня помутилось в глазах... Там, у автоматов, я действовал почти вслепую...

— А меня ты видишь? — спросил я, приближаясь к нему.

— Как в тумане...

Я понимал, что это значит. Жидкость, наполняющая глазные яблоки, под влиянием радиации стала флюоресцировать. На столе, в двух метрах лежал индикатор излучения; он предостерегающе вспыхивал; все тело Зорина было радиоактивным. Он получил страшную дозу облучения.

— У тебя что-нибудь болит?

— Нет, только слабость... и тошнота...

Я взял его за плечи.

— Иди ложись.

Он тяжело оперся на меня и двинулся к кровати. Уложив его и накрыв одеялом, я стал рыться в запасах лекарств. Вдруг он пробормотал:

— Глупо...

Когда немного погодя я подошел к нему, он начал говорить о каких-то сигналах, автоматах и о «Гее»; я пощупал пульс — у него была высокая температура. Я, глупец, подумал, что он бредит, и не обратил внимания на его слова. Вдруг он совсем потерял сознание. Я потратил несколько часов, чтобы самым тщательным образом исследовать его. Анализы показали, что пораженный кост-

ный мозг перестал вырабатывать красные кровяные шарики. У меня было шесть ампул консервированной крови, я сделал ему переливание, но это было каплей в море.

Поглощенный мыслями о том, как спасти товарища, я совсем забыл о разговоре с «Геей». Я рылся в учебниках, ища спасения от лучевой болезни. Чем больше я читал, тем яснее становилось, что Зорин обречен. Перед самым рассветом, склонившись перед трионовым экраном, я забылся.

Проснулся я от невыносимого железного грохота: метеориты рвались на крыше бронекамеры. Было совсем светло. Зорин не приходил в себя. Я был около него до вечера. Затем я отправился наверх. Прием был так плох, что я улавливал лишь бессвязные обрывки голосов.

«Ничего, — подумал я, — вызову автоматы, они придут и починят антенну».

Подойдя к пульту управления, я понял, что автоматы не придут: их можно было вызвать лишь по радио, а оно не действовало. Надо было вызвать их накануне, сразу же после того, как вернулся Зорин; тогда еще передатчик с грехом пополам работал. В суматохе я забыл обо всем. У меня подкосились ноги, но, овладев собой, я направился в шлюз. Когда я проходил через комнату, Зорин окликнул меня: он уже был в сознании.

— Поговорил?.. — спросил он. — Какие известия?

Я не мог сказать ему правду. В конце концов, завтра радио будет налажено. По уловленным мной обрывкам, восполняя пробелы догадкой, я восстановил все услышанное мной. Зорин сразу уснул, и я тихо проскользнул в шлюз.

Я уже надел скафандр, опустил шлем и положил руку на запор, как вдруг меня поразила мысль: а что будет, если я погибну? Зорин останется один, беспомощный, недвижимый и слепой.

Я постоял с минуту как вкопанный, потом тихо снял скафандр и вернулся в комнату.

Так было и на следующий день. А на третий радио умолкло совсем, и мне пришлось целиком выдумать разговор.

Это продолжалось с тех пор каждый вечер. Я вынужден был поступать так потому, что он засыпал лишь после разговора со мной. Когда я задал вопрос, почему он не вернулся сразу, как только это случилось с ним, он ответил:

— А ты бы вернулся? — и посмотрел так, что я понял все.

Он знал с первого мгновения, что надежды нет, и сказал себе: «Дважды не умирают». И, ничего не видя, он ощупью выключил предохранители автоматов. Он не хотел, чтобы я давал ему свою кровь, но я брал ее у себя тайно и говорил, что привез с собой запас крови. Четыре дня я переливал ему кровь и наконец сам стал едва держаться на ногах. Я боялся упасть в обморок, принимал без меры всякие возбуждающие средства.

Каждый раз, поднимаясь наверх, я думал, что не смогу больше обманывать умирающего. Это невыносимо, думал я, сегодня скажу ему, что антенна разрушена, и, однако, внизу, видя, как он поворачивает невидящие глаза, прислушиваясь к моим шагам, как страстно ждет моего прихода, как дрожит его недавно такое сильное и ловкое тело, я не мог решиться и к старой лжи прибавлял новую.

Восемь вечеров подряд я рассказывал ему, как «Гея» приближается к планете, как навстречу ей вылетели большие корабли странной формы, как неизвестные существа договорились с нашими товарищами благодаря автоматам-переводчикам. Я рассказывал ему это, а метеоритный поток усиливался, словно бездна обрушила на нас все скрытые в Космосе мертвые реки железа и камня. Стены и наши тела пронизывала дрожь. А я под это содрогание рассказывал Зорину о высокой культуре неизвестных существ, о том, какое потрясение они испытали, когда, исследовав обломки уничтоженных ракет «Геи», поняли свою ошибку.

Зорина теперь не лихорадило — его организм был слишком ослаблен. Я знал, что спасти его невозможно. По всем данным, он должен был умереть спустя два дня после случившегося с ним, но он продолжал жить, и я так и не знаю, что больше поддерживало его: моя кровь или моя ложь. Пожалуй, последнее: он так изменялся, когда я брал его за руку и начинал рассказывать. Я чув-

ствовал, как наполняется и крепнет его пульс, как вздрагивают мускулы большого тела и как с последним словом они вновь коченеют.

На седьмой вечер Зорин мог лишь пить. Я готовил на плитке питательный бульон. Вдруг меня поразила мысль: после того как он умрет, я смогу выйти и починить антенну...

Я вздрогнул, словно человек, лежавший за моей спиной, мог видеть меня насквозь и прочитать эту мысль. Неимоверным усилием воли я попытался загнать ее во мрак, из которого она выползла, но, несмотря на мои усилия, она продолжала звучать.

Я подал Зорину приготовленный бульон. Он спросил, почему я задерживаюсь около него; тогда я отправился наверх и склонился над мертвой аппаратурой, время от времени проверяя, плотно ли закрыты двери. Просидев двадцать страшных минут, я спустился вниз и начал рассказывать очередную историю о неизвестных существах, об их великолепной культуре, о том, что в дальнейшем уже не наша маленькая станция, а мощный локатор Белой Планеты будет вести ракеты, совершающие трансгалактический полет с Земли в направлении Магеллановых Облаков.

Вечером на восьмые сутки почва стала содрогаться реже. Мы выходили из потока метеоритов. Через час после захода солнца наступила полная тишина. Несмотря на это, я не мог выйти из камеры, так тяжело было состояние Зорина. Он лежал с закрытыми глазами и каменным лицом и больше ни о чем не спрашивал. Время от времени я осторожно брал его за руку. Его большое сердце продолжало бороться. Поздно ночью он вдруг сказал:

— Сказки... помнишь?

— Помню.

— Дети не хотели... печальных, и Амета приделывал к ним веселые... концы...

Я вздрогнул. Что он хотел сказать?

Дыхание неправильными толчками поднимало его широкую грудь.

Вдруг он прошептал:

— Лодки... такие лодки...

— Ты что говоришь? — наклонился я над ним.
— Из бересты... Я вырежу маленькую... дай...
— Тут... тут нет бересты.
— Да... но ветки... сирень... дай...

Я бросился к столу. Там в стеклянной колбе стоял пучок сухих веток. Когда я вернулся, Зорин был мертв.

Я накрыл его лицо, вышел в шлюз, надел скафандр, взял инструменты и пошел к ангару автоматов. Вместе с ними три часа спустя я закладывал новые сегменты рефлектора антенны, выпрямлял мачту, сваривал ее, натягивал канаты. Все это я делал словно в каком-то странном сне.

Это был сон — слишком реальный, но все-таки сон, потому что в глубине сознания я чувствовал глубокое убеждение в том, что, если очень сильно захотеть, я проснусь.

Вернувшись, я поднялся наверх, на радиостанцию, и включил ток. В репродукторах послышался глухой шум.

Вдруг небольшую кабину наполнили громкие слова, произнесенные сильным, чистым голосом:

— ...и передадим четырежды координаты. Завтра утром в шесть часов по местному времени «Гея» ложится на ваш курс и прибудет к астероиду через двенадцать дней. Мы очень обеспокоены вашим молчанием. Будем вызывать вас круглые сутки. Говорит Ирьола с борта «Геи» на шестой день после установления связи с Белой Планетой. А сейчас будет говорить Анна Руис.

Репродуктор щелкнул и на мгновение умолк. Я вскочил, рванул дверь и сбежал вниз с отчаянным криком:

— Я не лгал, Зорин! Я не лгал! Это все правда! Это правда!

Я упал ничком и зарыдал. Что-то стучалось в мое сознание, звало, просило, умоляло... Я очнулся. Это была Анна. Голос Анны.

Я хотел бежать наверх, но не смел оставить Зорина одного. Я медленно попятился к лестнице, продолжая

смотреть в его застывшее лицо. Лишь когда Анна назвала меня по имени, я отвернулся от него. Ее голос доносился все ближе. Поднимаясь по лестнице, я взглянул вверх и в открытом иллюминаторе увидел Южный Крест, а дальше — бледное пятно: там сияли холодным ровным светом Магеллановы Облака.

ПРИМЕЧАНИЯ

Станислав Лем в своей книге употребляет целый ряд несуществующих, им самим придуманных слов В русском переводе они заменены привычными для нас терминами, вошедшими в обиходный язык Он также вводит целый ряд фантастических понятий и вкладывает в привычные термины свое собственное содержание. Все это требует дополнительного разъяснения

Автоматы. — Как считает писатель, в будущем обществе все промышленное производство, сельское хозяйство, строительство и транспорт будут полностью автоматизированы

Всеми машинами будут управлять автоматы — «мыслящие» роботы с электронным мозгом, отдаленные потомки современных электронно-счетных машин

Автоматы, самостоятельно составляющие для себя программу, «самоусовершенствующиеся», Лем называет гироматами

Астронавтика (от латинских слов «астра» — звезда, «навис» — корабль, навигация — плавание, вождение кораблей). — В настоящее время это слово широко применяется для обозначения самих межпланетных и межзвездных полетов и как название науки о вождении космических кораблей. У нас часто употребляется русская форма этого термина — з в е з д о п л а в а н и е

От этого слова Лем производит ряд терминов:

а с т р о н а в т — путешественник по космическому пространству;

а с т р о н а в и г а т о р — водитель межпланетных и звездных кораблей (В оригинале Лем употребляет слово «астрогатор»).

Пылевое облако — межпланетное пространство, заполненное пылью, собирающейся в облака. Возможен или нет захват пылевых частиц движущимся телом, об этом до сих пор еще спорят ученые. Но, во всяком случае, вероятность такого захвата ничтожно мала. Допущение Лема несомненно имеет фантастический характер.

Световой порог. — Лем использует в своем романе это научное понятие несколько условно. Скорость, сколь бы она ни была велика, сама по себе не действует на живые организмы. Вредно только ускорение — изменение скорости. Однако распространяются ли эти законы на скорости, близкие к световым, мы пока не знаем. Изучены закономерности лишь для движения элементарных частиц — микрочастиц. А макротела с такими скоростями в природе нами не наблюдались. Неизвестно также влияние длительного ускорения (ежедневно, на протяжении нескольких лет, как в романе) на человека.

Субсветовые скорости — скорости, близкие к световым. При таких скоростях начинают значительно изменяться привычные для нас представления, так как вступают в силу эффекты принципа относительности. В частности, чем быстрее движется тело, тем медленнее течет для него время. А если это межзвездный корабль, — то и для его экипажа. На этом основано необыкновенное открытие Гообара, позволяющее людям достигать не только близких и дальних звезд, но и других звездных систем — Галактик. При всей его внешней фантастичности оно давно известно современным ученым.

Свет от звезды Альфа Центавра летит до Земли четыре года три месяца и двадцать дней. Но если межзвездный корабль разовьет скорость в девять десятых скорости света, то для его экипажа путешествие продлится всего сто пятьдесят семь дней, а при скорости в девяносто девять сотых — всего две недели. (Все это, конечно, без учета начального разгона и конечного торможения.) При этом люди на звездном корабле вовсе не будут находиться в состоянии транса — время для них будет течь как обычно, лишь пространство в направлении их движения будет казаться укороченным. На Земле же и в том и другом случае все равно пройдет больше четырех лет. Подсчитано, что при однократном ускорении, вполне безвредном для человеческого организма, до ближайшей Галактики можно долететь за сорок лет. Так будут считать пассажиры космического корабля, на Земле же за это время пройдет десять тысяч лет. При трехкратном же ускорении, которое человек вполне может вынести, это время сокращается до пятнадцати лет.

Трионы — фантастические кристаллы, на которых при помощи электромагнитных колебаний можно записывать звук и изображение. Отдаленные потомки наших полупроводников.

Цербер — гипотетическая планета за орбитой Плутона. Некоторые ученые предполагают ее существование, но фактически она еще не открыта. Названа Лемом по имени Цербера, трехглавого пса царя подземного мира Плутона.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Станислав Лем. *Кирилл Андреев* 5
Вступление 13
Дом 16
Молодость 25
Марафонский бег 43
Прощание с Землей 57
«Гея» 75
Парк в пустоте 94
Гость из пространства 114
Пилот Амета 135
Трионы 143
Золотой гейзер 160
Девятая симфония Бетховена 169
Совет астронавигаторов 177
Бал 186
Звездная Анна 211
Петр с Ганимеда 223
Бунт 236
Коммунисты 250

Гообар, один из нас 255
Статуя астронавигатора 259
Начало эпохи : : 275
Межзвездные силы атлантидов 292
Красный Карлик 305
Планета песчаных бурь 316
Товарищ Гообара 327
Падающие звезды 332
Цветы Земли 343
Магеллановы Облака 355